



Волга

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

3-4 (521)

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Александр Скидан. «земля-земля». <i>Стихи</i>	3
Андрей Бычков. Чингачгук. <i>Рассказ</i>	7
Данила Давыдов. «как удивился помощный зверок...» и др. <i>стихи</i>	15
Максим Эрштейн. Шаромыжники. <i>Рассказ</i>	23
Татьяна Щербина. «Человечество превратится в любимых котиков...» и др. <i>стихи</i>	28
Максим Симбирев. Кузинатра. <i>Рассказ</i>	34
Василий Карасев. «рогоз энрофа открылся и...» и др. <i>стихи</i>	45
Олег Погасий. Твои слезы. <i>Рассказ</i>	57
Дана Курская. «Духов двор» и др. <i>стихи</i>	60
Алексей Мошков. «Мёртвая зыбь» и др. <i>стихи</i>	65
Сергей Степанов. Брошкин. <i>Рассказ</i>	72
Сергей Солоух. Новые шесть штук. <i>Стихи</i>	80

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Борис Дышленко. Рассказы и пьеса. <i>Вступление Елены Тюленевой</i>	83
--	----

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. Во всяких приключениях.....	107
---	-----

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Сергей Солоух. Втапоры спазаранушку.....	172
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Николай Подосокорский. Любовь к тайне, жажда чуда <i>О кн.: Артур Мейсен. Кошмарная строка</i>	178
Михаил Бешимов. В свете абсолютного другого <i>О кн.: Анна Горенко. Королевская шкура имеля</i>	179
Алексей Мошков. Как Маргарита становится Мастером, оставаясь Маргаритой <i>О кн.: Дана Курская. Путеводитель по краю, или Как стать ведьмой, чтобы родные не вызвали санитаров</i>	183
Кирилл Ямщиков. Подбирая определение <i>О кн.: Елена Долгопят. Черты лица</i>	186
Леонид Ожигов. Стать птицей, снегом или деревом <i>О кн.: Надя Делаланд. Фигуры и тропы</i>	189

Александр СКИДАН

земля-земля

*

провел сегодня на караванной улице два часа
но не в доме кино на послании к человеку
а в другом доме на послании человека на

человека много

даже когда его меньше единицы
которая делится на два
которые не делятся на двоих
что сидят в малом зале дома кино
или в доме немалых знаний
где тоже включают свет когда заканчивается сеанс
и выходят на улицу покурить

здесь на караванной все рядом
рукой подать
до человека
до меньше сигареты которой больше
которой много больше
человека до

vinissimo prostovino косуля дом кино
мама рома порядок слов
переставлен

21.10.2025

*

куйбышевского района г-да ленинграда нет
а куйбышевский районный суд есть
это странно
но только на первый взгляд
не менее странно чем сказать
смерти нет

Александр Скидан родился в Ленинграде в 1965 году. Автор более десятка книг, в том числе сборника стихов «В самое вот самое сюда» (2024) и книги «Человек кончающий. Эссе о реальном искусстве» (2025). Переводил современную американскую поэзию и прозу, теоретические работы по литературе и искусству. Лауреат Премии Андрея Белого (2006), стипендиат Фонда Иосифа Бродского (2018). Стихи переводились на множество языков и включены в различные антологии. В 2008 году в США в издательстве Ugly Duckling Presse вышла двуязычная книга «Red Shifting». Редактор отдела «Практика» журнала «Новое литературное обозрение». Живет в Санкт-Петербурге.

или дух есть кость
как сказал философ
или как сказал другой философ с одного переулка
куйбышевского района
бей в кость
так я и передвигался
перебежками после продленки
когда пересекал границы районов
которых нет
есть только куйбышевский районный суд
состязательность сторон как принцип
уголовного судопроизводства
уголовный процесс как одна из форм
судопроизводства и отраслей процессуального права
судопроизводство есть
юриспруденция есть
право есть
районный суд есть
а куйбышевского района нет
ранца оттягивающего плечо нет
мешка со сменкой
ригельного ключа в мокром от страха кулаке
заточки философа нет
смерти нет

23.10.2025

*

как жить вместе спрашивает барт
хороший вопрос
как б...ть жить вместе
в коллеж де франс
и даже так жить-вместе
чтобы не фаланстер не казарма не коммуналка
не коммуна свидетелей чарли мэнсона
не республика сало
не гулаг
не сектор газа
не ужин с миттераном
не случайный мусоровоз
не империя пустых знаков

в чем выход, брат?

в киновии-без-настоятеля
без одинаковой для всех одежды и пищи
без раздельного имущества
без регламента

о хай-фай отче наш о саунд-чек о чека
как называет это звукоосниматель игла звукооснимателя
головка иглы

черный творог винила мы жуем тебя ночью
мы жуем тебя утром и в полдень жуем вечерами
жуем и жуем
в том саунд-чеке живет чернозем новороссии
не кончай мы танцуем

он требует глубже месите там тесно не будет
в каждом гаджете сведены все ваши дела
все яблоки все золотые шары весь плей-лист коллективного
семантического ореола
как называет это звукоосниматель игла звукооснимателя
головка иглы

черный творог отче наш мы жуем тебя ночью
мы жуем тебя утром и в полдень жуем вечерами
жуем и жуем
и помещаемся на кончике иглы как созвездье
гончих псов которых спускает с альбома хаски
наш ротный
спускает когда стемнеет в винил

мы месим воздушный винил там тесно не будет
отче с которого сведены все наши дела
все позывные все треки все конstellляции
как называет это наш ротный игла звукооснимателя
головка земли
головка земля-воздух воздух-земля земля-земля воздух-
воздух воздушшек зёма земля и воля земля

06.12.2025

Андрей БЫЧКОВ

ЧИНГАЧГУК

Рассказ

Резкое ускорение рвало волосы с рельс. Было страшно в лесу. Было страшно с грибами. Лукошко вылезало у Федора из рук. Жилистые руки его несли лукошко. Товарный паровоз с тендером на крыше, оборудованный фуражкой, медленно надвигался через лес.

– Эге-гей! – крикнули в кабине.

Федор снял зимнюю шапку, поклонился, надел, снова снял.

Фарами позднего паровоза осветило лицо Федора.

Делать было нечего.

Залезать? Куда? Мимо берез в паровоз!

В кабине уже жевали, бутерброды и так далее. Бессмысленное *итакдалее* раскладывалось, как итальянские педали, складывалось. Вделанные в бутерброды с помощью челюстей и зубов рты – вращались и жевали. Может быть, кому-то захотелось поцеловать ртом женщину? Но уже подавали жирный грязный суп. Над кабиной проплывал дым, в руках Федора белело лукошко... Федор знал, что он не справится с разговором. Заржавленные рельсы возвращали в лес. Луна вспарывала озеро. И озеро было как фуражированный купаж.

Федор был уже в кабине. Паровоз с белогвардейцами сиял. Цари мира, белогвардейцы расселись на короточках и сидели на глазастых антрацитах, как на слепых поленьях.

Белогвардейцы топили жарко, до слез, бросали в жерло. Белый важный полковник жевал, рассматривал Федора в линзу. Под ногтями было черное золото. Федор знал, как наизусть, что надо вывернуться заново, вывернуться заполночь, наизнанку, как в карман, где можно снова залечь на лицевой стороне удовольствия и успокоиться. Но мысль, открытая косервантным ножом, уже лезла, как из банки. Слепые, глупые шпроты смысла, как глисты, которые выедают мир, что шпроты объясняют мир... Глухо залаял кот – мур, мур, аф... И на все цветенье лета – не было ответа.

– Пора вылезать, – сказал белогубый полковник, застегивая патронный шов на плече ружья.

Матриот с четырьмя просторными дирижаблями уже теснился коваными сапогами в метеородах шпор, спускался по узкой лестнице.

Матриот был патриот.

«Не оглядывайся», – сказал сам в себе Федор.

Полковник спустился по боку паровоза. Лес был уже как гулкий собор с трубами деревьев. Приветливые, с консерваторией озера, дубы и осины медленно заводили прояснение бликов, что он, Федор, никогда не мог поделывать ничего. Отражение колодезной судьбы было зыбко и прекрасно. Осознание, как осознание белых грибов, как будто лето снова вернулось за земляникой. Запах в душистых волосах, ласковый пушистый зверек, когда кто-то выстрелит в затылок. И Луна

Андрей Бычков родился в 1954 году в Москве. Окончил физический факультет МГУ (кандидат физико-математических наук) и Высшие сценарные курсы. Автор двадцати трех книг прозы и эссеистики (в России и на Западе). Книги и отдельные рассказы выходили в переводах на английский, французский, сербский, испанский, венгерский, китайский и немецкий языки. Лауреат Премии Андрея Белого (2025). В «Волге» опубликован роман «Графоман» (1994). Живет в Москве, занимается преподавательской деятельностью.

– раскалывающая надвое – Луна. Полковник, однако, отдал ему кобуру от ружья и разделся сам. Голый, с пистолетом типа маузер или винчестер, полковник вдруг радостно подпрыгнул и, поджав ноги, завис, как неподвижный фонарь под козырьком, в позе носорога. Снизу глазастый антрацит в бликах, как на куче-мале в тендере, как будто подпирал его уже в дыме воздуха, выходящего из окорачивающей трубы. Заржавленный от рассвета крик в горле Федора застревал, что выстрел седой почему-то не раздавался, не наступал.

Лукошко было уже полно. Поцелуи на соснах впечатывались, как босые детские. И круглая птица уже облетала тендер по квадратной дороге. Сложно заглядывала она то в одно окно, а то через корпус паровоза в другое, где все еще ели и жевали широкомордые тупицы с черными королями на ферзях. Насели тупицы на ферзей и сами, и на носах их задували блески из окна загаженной грачами фрамуги, блески были белогвардейские и не очень, как колеса похабной песни.

– Я хотел бы объясниться, – сказал Федор.

– Понимая *что*? – отозвался, кряхтя, полковник.

Федор отказался. Стало стыдно, темно. Жаркий поцелуй удовлетворенно сосал.

Где взбиты дыбы волос?

Где дебри земли, которые еще могут, как индейцы?

– Взаправду земляником я вас накормил, – сказал полковник, присаживаясь и всаживаясь обратно в мундир. – Как в шпротах, назавтра я подарю вам медный синдром штопора. Но это будет не паровозное шоу. Хотите – выбирайте, как тяжелое наезжание острого колеса. Или – оставайтесь до среды.

– Я останусь до среды, – ответил Федор.

– Пожалуйста, – вежливо сказал полковник.

Длиннобородый дирижабль уже уносил его ветром и осторожно всаживал в паровозный тендер, как в грядку репку.

Федор понял, что у него еще осталось немного времени, чтобы распорядиться.

Поцелуй обволакивал, как друг друга, как два языка, нашаривал сознание с двух сторон.

Паровоз по-прежнему мычал на месте, как у бензоколонки, лишь бы проехаться рогами по дождям.

Федор понял в мозг, как струей чистого, что шанс, как шатен каштанового пламени не воскреснет, что тихий, как блеск в аллеях и как тень узора, пусть вырванного с корнями неба деревьев и зеленоглазых яблочек новогоднего Деда Мороза еще может принести ему легкокрылые детские впечатления. Что каштановый шанс остается до среды. Органы деревьев уже запевали ветер в трубах и открывали нараспашку ночь. Рыбная многопалубная кость уже давилась в доке горла. Полковник сосал.

Федор полез ногами вверх.

Куда? Куда? – билось в сердце.

Вторник уже просыпался на бровях его, выполаживался, скользил, падал, капал с носа в раковину.

Это была лесная раковина, лежала она внизу, у озера, как зажги-фонарь. Грот пещеры для чихания, как бесполезный генерал, заклеенный бумажкой.

Что всаживание вежливое возвращения чего?

Что он ей скажет?

Что она по-прежнему сидит недалеко от Иллюзиона на лавочке, который всего лишь кино-театр по совместительству? А он, Федор, влажный, как бухгалтер на асфальте? Что ничто никак не кончается и не кончится никогда? И что так, в принципе, все нормально, как, в принципе, и у каждого?

Паровоз с горьким дымом, заевшим глаза, не вез, и не кричал на месте. Мягкие рельзы паровоза scuкоживались на глазах, как штанги на карикатуре; а после вторника сразу наступал четверг; джунгли усилий над средой и на нижних и на верхних руках верхних полок ни к чему не вели, конец был один.

Федор уже полоскал рот понедельником. Рот проистекал из зубного полоскания. В голове было слишком много мягкого тока и напряжения от принципиальности сознания. Сломанное отражение головы не могло понять на лице из-за возраста своего зеркала. Прорубь зеркала оказалась гораздо глубже, чем сам понедельник, на котором, как на коне, гарцевала галстук-бабочка, и губительный длинный блеск пятницы пружинисто и болезненно блистал на ее складчатой шее. Это была все та же странгуляционная, как велосипед, полоса одного поцелуя длиною в целлулоид целой женщины, которая вечно лезет в не те ширины и наматывается не на ту бобину, ошибается в поиске ошибки, что на тот корабль, на узду того корабля поднимается только неправильный флаг.

– Обратно, обратно... – горько заплакал и закричал Федор, отматывая жидкое зеркало надежды назад, за *как это называется*.

Кто был, как тогда, когда?

Кто зачем-то и консервативно?

Кто-то, кто был, кто?

Чего ему надо в конце концов?!

Сволоочь!

Как лакей дворца, как через горло, как пытался говорить через него Федор?

Как Федор пел, как болезненный нож, пел все ниже и ниже, из бронха, как сварщик плевр?

Но кто был сварщик плевр?

Велосипеды в зеркале все опять и опять выезжали не туда, не давали ответа вкривь и вкось, и присаживались, как бронзовые голуби на памятник. Иллюзион рос на черных бровях, как белый гриб в болезненной темноте воспоминаний. И не Федор, а... Фабр!.. невинный, как конь, да, Фабр с любопытными копытными, с неистовством первопроходца уже сваривал на крыше знойного здания могучую чугунную звезду, не то чтобы как на кремлях запустений, те были рубиновыми от счастья, а эта чугунная была как струящееся надгробие кинопроектора и давила кровь линз, в давящую корней и гардероба, где была только точность пальто, точно входящего в руки и ноги, и где точность точно входила и в поясицу, как в приемную, и где точность была настолько подобна подробной выкройке грибника, что никаких сомнений уже не оставалось.

На губных гармониках играли в кабине паровоза ферзи, раздвигая резиновые губы до красноты и сдвигая детскими деснами обратно, как будто вытягивали трубы высокого визуального органа, растягивали наверх, как длинную резинку собора, которую пережевывал маленький шарманщик в маленькой деревенской церкви. Паства стояла дождями, как снаружи, за белой стеной, так и изнутри, но их было немного.

Скорость вращения наверх Федора подвергалась о настырность опасности. Луна уже дрыгалась, как драндулет, заводился, тархтел бессмысленный усатый мотор производства логики. Но на отважную икру сварки безболезненной трубы трубопровода уже летела галстук-бабочка вместо странгуляционного шва.

Тут надо Фабр.

Тут надо увидеть Фабр, думал не Фабр, а Федор.

Фабр как тот другой портной с кривым глазом.

Как она летит, галстук-бабочка.

Фабр благословенный, в четырех белых, чертяка виртуозно вселялся в любые рельсы, как шанпоут в корабль посреди виноградного моря.

Фабр, как не предать тебя, не распять тебя, как влажную, только родившуюся из штангенциркуля шва двух моторов, вдруг раскрывшихся, как из-под двух крылышек – не спеши – галстук-бабочку.

Не спеши слева и не спеши справа.

Ягненки ли уже стучал, забывая сваи свои?

Ягненки ли рыл подземный потолок для зеленого побега в надежде остаться безнаказанным?

Кто же, быстрый на ответы задачника, не захочет работы роста?

Кто же, как слепой блокнот салона вместо короля природы, был заклеен, как бумажка? Иллюзион в отверстие.

Вина была за отверстием.

Как хотел Иллюзион, так и дул, квадратно он, на берегах Москва-реки.

Пыхтя в неизвестном направлении, Фабр уже неправильно пролезал из заизвесткованного горла Федора и, упрямый и мучной, вываливался в спортзал на второй этаж, благородно прополоскав головой люк. И так увидел Фабр проблему кресла, стояло которое на четырех маленьких стульях. На кресле сидел директор кресла, темный, как фонтан.

– Здесь надобно рассказать историю про сапожника, – сказал директор, которого звали Станислав, слегка подсмаркиваясь и доставая огромную, во весь кабинет, носовую скатерть.

Федор, ослепленный от разъятости зеркала, где в глубинах нижнего возраста он не мог найти ботинки, уже задышался от негодования, но Фабр отвечал за него, как на выпускных экзаменах:

– Ботинки были босой работы... – начал было Фабр.

И директор крикнул.

Глядя в провал зеркала, где он уже сидел со Станиславом и пил чай, и дул на горячее малинового выплывающего листа, Федор Гамбусов, живой, в ноздрях вечерних запахов, как стриж в Подмоскowie, вдруг увидел друзей; и друзья были как грузди в одном лукошке, и потеснились навстречу друг другу; а в другом, отдельном, четырехэтажном лукошке, соревновались белые, спортивные по счастью. Сшиты грибы были добротно, на ручном станке. Зубрили грибы а плюс бэ, плюс и вз еще, помноженное на дэ, что было, конечно же, откровением обожественным, потому как вз никогда не множится на дэ. Дружба на двух дирижаблях с тендером в корзинке не имела никаких последствий с голыми полковниками, поскольку поцелуй вдруг врывался с обратной стороны ветра и целовал не в затылок, а в небритые щеки между ног. И то был поцелуй не простой.

– Тебе надо купить галстук, как у него! – закричала женщина с экрана в мужелобные доли мужа, и плоской линзы муж покорно съехал по экрану вниз между двух кадров, как между чьих-то ляжек.

Но тут, не к месту, звякнул какой-то блядский мессенджер!..

Грузди уже, было, тесно сидели в лукошке, посаженные, как в темноту непредвзятости невидимой рукой. Иллюзион, исполненный шлюза и вежливости, уже спускал в их сознания, как зимний луч в заворачивающую ночную ночь, исполненную летнего белого смысла, одну замысловатую теорию.

Фабр, бухгалтер по образованию, помилованный высшей властью, обладал, однако, легкостью разведчика на ярмарках. И готовился получить приз за вращение воды. Фокус заключался легко в наведенной резкости, как луч показывал довольно четкое изображение подводного незнамо где, неразличимое вблизи дна.

Неудобность и ненадобность реальности, как уже размышляли вслух некоторые грибы под шорох асфальта, высунувшись из лукошка, заключалась в лишних ненужных моментах бесвестной склейки. И качали грибы головой.

Мост, с которого друзья рассматривали башню под названием Иллюзион, соединял оба берега, перебрасывая их через реку. Один груздь уносил в себе белый гриб, как Станислав образ сапожника. Эта была все та же болезнь, директор как будто познакомился с ней, когда история требовала непредвзятости. Но в ночных подвалах раздвигались только отзвуки эха. Эхо окликивало себя по сторонам, как будто не было никакой новизны. И одна и та же история возвращалась и вращалась, как Лао-цзы.

– ...орви, – чихал Гамбусов с моста в пространство, на другой стороне над рекой высился другой берег, и, как морской ёж, Федор Гамбусов надувал усы, колол, выпаривал соль, до, ре, ми, реконструировал паровоз и прочая.

Станислав же бегло убегал по рельсам, оправдывал антрацит и бессовестные склейки. Станислав не смущался подробностями, проплывающими мимо усов Федора.

Велосипедная цепь причины и следствия давно уже натягивалась чрезмерно, чтобы порвать резиновую шестеренку. Мотор сломал паровоз, и голый полковник напомнил об истекании времени. Оставалось еще и намазанное на бутерброд воскресенье. Бродячий бутерброд времени бродил по пространствам с выколотыми глазами, как лихой циркуль. Но сосать надо было всегда.

– Надо сосать всегда, – удовлетворенно сказала женщина.

И Гамбусов откусил бутерброд, он, Гамбусов, как рыба через жабры, стал почему-то как корабль шпангоутом. Фабр же шил море далеко наверху, на воздухах, чтобы перейти море по воде. Взламывая лед в длинной книге, вспарывая шов в ветхости завета, Фабр как индивидуальный циркач уже трубил стремительные побудки, как горнист на заре горна, восстающего из вод. Фабр трубил и волны в корабль, и порт. И Луна уже была готова причалить к самому Солнцу.

Станислав спал, ребенком положив руки на голову. Директор спал в своей голове, и сон вжимался в его голову, как на экране сновидений, и там Станислав примеривал бабочку Фабра, как жгучее наслаждение от незнакомой женщины, как брак, стоящий поперек на запрете.

– От лица кресла скажу тебе, мой дорогой друг, что ты стоишь на мне уже давно, – начал было Гамбусов голосом доктора спелеологии.

Кресло было наверху и внизу, и между Гамбусовым и Станиславом на стульях была расставлена изумрудная скрижаль. Герметическая скрижаль эта то скукоживалась, как гармошка, и не кончалась, как рог носорога, а то, трубя в разверзающийся ветхий шов, раздвигалась, конечно. То были-были и чики-чики подкрались незаметно к застрявшему в кинотеатре паровозу. Красно-черный, с белым полковником на борту, от нетерпения паровоз задрожал. «Мур-мур! – заурчал и залаял паровоз от озноба дрожи. Полковники уже один за одним спускались по боковой стальной лестнице тендера, и первый полковник – во второй раз. Влажная трава вымени коров, облитая молоком, как из – пух-пух! – Луны, уже нежно ласкала ступни. Полковник был гол. На этот раз он разделся еще на морозном зеркале, пряча свой мундир в антрацитах льда. Но Белая гвардия по-прежнему почему-то играла в Красную. Трубы ли, горны ли черных ферзей, и белые ли короли всаживались в красный рот?

Полковник, на шее которого болталась, как колокол, коровья португеза, уже, как зверский кот, бежал, было, по следу; где в гроте, придавленный камнем вины, Гамбусов намеревался воскреснуть после удара пули в лобную кость, как в чем родила мать.

– Готовься! – крикнула женщина.

– Я готов! – крикнул Федор.

Ветер зашелестел, как праздник, и уже собирался брызнуть кровью, как из брандспойта. Наклонились траурные дома, присели безнаказанные улицы. А голуби и жёлуди удивленно и выпукло из желтых белков уставились на Иллюзион.

Но в чем была причина тарактения летящего через ночную ночь, еще никто не догадывался.

В глубине странгуляционного разреза засветилась боль. А голубиное яйцо горла задрожало, как свежесодранный кадык. Криком плоти платил Станислав за второе рождение. Видимость и зримость основания языка директора была кровь.

Фабр, однако, был далеко на воде на белых ступнях, как лоцман венчания разреза. Бабочка была праздником навеки. Навсегда теперь она была врезана и раздирала горло Станислава все шире и шире; и бессовестные улицы распахивали слепые окна, чтобы зрение вернулось в их комнаты.

В одной из комнат офицер Федор Гамбусов, наклонившись над запретом полковника, уже собирался назвать преждевременный ответ.

Как белый клык, ответ возвышался в самом конце мясника задачника. Как свиньи, из сарая торчали кони; и мальчик просил очки.

Поцелуй сосал, как отца самого себя.

– Ты хочешь свести меня с ума?! – закричал Федор. – Но запомни, у тебя не получится!

Экран завибрировал от возмущения. Фабр легкомысленно заулыбался и окончательно покинул пространство Федора. Равнодушно и весело он уже взбалтывал бело-желтый гоголь-моголь.

Все было решено.

И тогда полковник выстрелил. И Федор кончил.

Соскользя с экрана, женщина уже пронзительно бежала через мост, пряча в чулки запретное слово из распахнутого горла.

Довольный собой, Федор же находил себя с газетой на диване. Поперек языка в газете было написано ночным журналистом о происшествии. Плоские, как голубиное яйцо, последствия призывали к полемике. А на кухне над истерикой раковины рыдала жена. Несвобода небосвода ночного сковывания обжигала ее руки над кастрюлями. Тайный собачий кот терся о ее небритые ноги и виновато заглядывал в глаза ради корма горла. Пролаявшись четырьмя лапами три раза и облизав для приличия пустое блюдце, кот удалился на балкон, чтобы холод, как перемена времени любви и места – потому что на кухне расцветал июль, а на балконе выпал, как из открытого окна, снег, – помог выкристаллизироваться внезапному решению; и холод вызвал еще более яростный аппетит. Окно балкона с огромной фрамугой уже было приоткрыто, и внизу разверзалась высота утраченного. Задумав выброститься вслед за птицей, кот Анфиса высунулся, было, в проем, но быстро передумал. Лететь было довольно далеко, а падать горько; и коту Анфиса хватило гордости не умирать. Полаяв на любопытных голубей и покаяв для шороха в кухне закрытую за ним дверь балкона, как он научился это делать непреднамеренно, в смысле закрывания, кот Анфиса пролаял своей собачьей мордой в стекло стеклянного окна и был впущен пружинистой струей кошачьей шерсти, и молнией бросился к блюдцу, где уже была навалена говядина из паке-тика. И стал жадно жрать.

Из разреза сочилась красная жизнь. С целлулоидной женщиной Станислав жил уже давно. Кукла мечты его была затянута в черный корсет, как фиксация; и не давала ему вырваться из горла.

В странгуляционном разрезе уже давно белел рассвет.

На другой же стороне Черной Площади чернела в рубиновом черноземе черная звезда черного кремля. И кто-то уже рыл у себя на огороде, где когда-то похоронили индейца. Великий и могучий Чингачгук, который мог гнуть любые рельсы любой силой ругти и сгибать паровозы обратно в сталь, был закопан на дальнем, неиспользуемом, конце участка. И только ботинок Чингачгука еще едва заметно выпирал из почты огорода.

– Федор Гамбусов мертв, – сказал директор Станислав. – И это моя вина.

– Не твоя, – зевнул из чернозема Чингачгук.

– Должен ли я пойти к женщине? Кормить лающего кота?

– Должен.

– Тогда дай мне хотя бы один ботинок! – закричал Станислав через разрезанное горло.

На ручной коже Чингачгук вытащил из чернозема мокасин.

Мокасин блестел и был мощным и настоящим. Чингачгук глубоко задышал под гробом наваленной обстоятельствами почвы. Невидимый и бесстыдный, как улица, Чингачгук глубоко заулыбался в земле.

– Что давно уже не осталось, чему верить, – грустно сказал Станислав.

Он повертел мокасин под Луной и надел на одну ногу.

И слепой, как тополь, усмехнулся ветер с самого верха.

Директор Станислав знал, что не надо было ничего пружинисто расспрашивать и в одном мокасине вернулся обратно в свою квартиру.

Гамбусов валялся в углу, завернутый в газету «Правда». Целлулоидная женщина подметала пол. Кот жрал цветы из стакана.

Вытерев мокасин, Станислав развернул Федора, зашелестев крыльями газеты, которая напрасно изображала себя на фотографии современной; на обратной стороне фотографии рекламировался матрац.

– Вынесешь ведро? – спросила женщина.

– Вынесу, – ответил Станислав.

– Вынеси заодно и старый кол с балкона.

– Хорошо, – сказал Станислав.

– И возвращайся скорее, – засмеялась женщина. – Пора ужинать и спать ложиться, и вжиться крепко-крепко.

– Как Москва-репка, – засмеялся счастливо Станислав ей в тон.

И, как на крыльях, полетел к мусоропроводу. В подробностях мусоропровод высился напротив лифта (и был вделан в дом трубой).

Но звезда разреза глубоко остановила директора.

Смятение Станислава было как соль в ясную ночь.

Он знал, что целлулоидная женщина уже выковыривала указательным пальцем пулю из мертвой головы мужа. Она никак не могла зацепить пулю всем пальцем до сгиба, и наконец подцепила ее ногтем. И с криком маленькой боли от – может быть, и слегка надломленного, а то и сорванного ногтя – вытащила наружу. Боязнь и болезнь оставленного в голове покойника живого ногтя не давала ей покоя.

Федор зашевелился и задышал.

– Где моя газета? – спросил он. – Что там написано на завтра?

– Правда, – сказала целлулоидная женщина, лупоглазо рассматривая ожившего, как будто тот был голубем с балкона.

– Станислав не вернулся?

– Пока нет, – ответила она, отводя глаза.

– А когда вернется?

– Как только выбросит ведро.

Станислав шел по тонкому льду. Мокасин был слегка велик ему, но нога не то чтобы прорастала в просторные внутренности пространства мокасина, но все же как-то привыкала потихоньку и обживалась. И передний зазор в передней части мокасина, где произрастал большой палец Станислава, который почему-то директору хотелось назвать сейчас указательным, наверное, потому, что тот торчал, показывая путь снизу, хоть и будучи в кожаном замкнутом пространстве, вблизи асфальта, скрытый темнотой мокасина и надежно защищенный от нижнего льда в скользко замерзших лужах внешним дном подошвы, что было довольно подробно, да. Но в целом мокасин был, как лодка. Другой же ногой Станислав отталкивался, как на самокате. По замерзшим дождям катился директор, как с одной рукой.

Женщина еще дергалась у лифта, она же обманула мужа и со слезами пошла прилипнуть воспоминаниями бесстыдных подробностей к ручке оставленного у мусоропровода ведра.

– Ведро, – сказал Гамбусов, – это значит хорошая погода.

Она закрыла за собой дверь, и Федор сладко сглотнул.

Перед кроватью Гамбусов делал приседания, и суставы приятно затрещали.

На Черной Площади, однако, собралось уже много народу. Здесь были и белые, и красные и фиолетовые с гражданских панихид; и все они жаждали крови. Но Станислав был и так уже мертв.

Черные волны волновались над черным морем, и белые барашки лозунгов стегали то тут, то там.

Ждали Фабра, но... снова выпал Федор.

И как на е-два – е-четыре, доктор спелеологии щелкнул пальцами, он же был хороший фокусник. Но не то чтобы ему никто не поверил, просто стали ноздревато подозревать, что в кармане у него ничего нет.

– У тебя есть ферзь? – крикнули из толпы.

– Есть! – крикнул Федор.

– Покажи!

Гамбусов пошарил по карманам демонстративно.

Толпа, затаила, как от икоты, паузу и ждала. Незаметно поднимаясь на цыпочки, толпа готовилась уже налететь, обрушиться на Гамбусова и смести его вместе с палубой.

Но ферзь вдруг нашелся, и Федор вытащил из кармана ферзя.

– Ай-яй-йяй! Вот ты где! – хитро засмеялся Гамбусов; он уже держал дрыгающегося ферзя за длинные уши, как пойманного зайца за воровство капусты.

Ферзь обиженно хлопал мучными глазами как будто только что проснулся, и делал вид, что не понимает, где он и кто он, и что всем хохочущим до слез от него надо.

Толпа и вправду покатывалась от хохота, съезжая то на один конец Черной площади, то на другой; толпа содрогалась как куриный бульон в кипящей кастрюле. Даже грачи заулюлюкали на черных шпилях, срывая в когтях рубиновые звезды и прилаживая их обратно покрепче. И под хохот Федор, довольный фокусом и самим собой незаметно исчез.

– А Станислав не вернулся? – спросил он жену уже в прихожей.

– Пока нет, – грустно сказала она, глядя в ночное стекло, за которым невозможное и необъяснимое корчило из себя рожи грусти и гримасы печали, словно бы оправдывая все, что есть; что все есть так, как есть, что случилось, как случилось, глубоко, и до глубины которого не докопаться.

Но как директор пустого пространства Станислав был, конечно же, жив.

Где-то в директорской зазвенел комар.

И кому-то хотелось, конечно же, верить, что изнутри жизни комар не имеет конца. Что комар по-прежнему бесцельно слоняется по директорским комнатам. Наскакивает, отскакивает от стекла. Что упрощение комара ни к чему не ведет. Что комар как глаз, который можно потерять, если чешется. Что на основании комара не выпускается корабль из доков. Но под прикрытием грозы, когда лес трещит по швам, и деревья падают, как птицы, чьи-то отряды еще могут отойти. И хотя воздух и состоит из пустоты, строго дозированной на молекулярном распятии, все простые вещи по-прежнему расставлены по простым местам. Дрожит в бутылки вода, надутая газом. Кожа кресла по-прежнему напоминает кожу руки. Вода дрожит, нога лежит. На кресле лежит нога. Пульс крови передается в подрагивании бутылки. А газа не видно. Что и с чем соприкасается? Неисправный мир кладет одно на другое, как кресло на стулья, когда уже другие вещи вынесены. В развитии нет смысла. И только неисправный закон неисправного мира по-прежнему неисправно делает свое дело. Оно только одно и было. Всегда дело было только одно – безумие, смерть и отчаяние. Три простых слова истины. И хотя логика эта проста, седой комар будет жить бесконечно. Потому что бессмертие комара подобно высокому зданию у реки, где глубоко в недрах зрения скрыт его легкокрылый кинотеатр. Иллюзион зрения – точная оптика неисправного закона, и, хотя закон починить нельзя, мир совершенен в своей неисправности.

Данила ДАВИДОВ

как удивился помощный зверок,
когда исполнил ты зарок.
ну, говорит, даешь, ну, в самом деле
теперь уж всяко надобного того,
а сам глядит куда-то мимо цели,
указанной задолго до всего

сесть в сороковой автобус
смысл не велик,
а покинуть этот глобус
совесть не велит.

те, кого оставишь, если –
вспомнят кое-что.
хоть давно неинтересно,
есть резон зато.

хуже нет на остановке,
если не считать
неумеренной сноровки,
правды сгоряча,

силы сладостной привычки,
трещины внутри,
извлечения отмычки...
вот и шесть три три

Данила Давыдов родился в 1977 году в Москве. Окончил Литературный институт, кандидат филологических наук. Автор десяти книг стихов, двух книг прозы, книги статей и рецензий. Переведен на основные европейские языки. Многочисленные публикации в толстых и тонких журналах, альманахах и сборниках. Лауреат Премии Андрея Белого (2023). Живет в Москве.

эпические песнопевцы,
живущие на высокой горе,
строго используют эпические формулы,
понятные только жителям данного уровня.

если подняться или спуститься –
песня твоя обесмыслится,
эпические формулы останутся непонятными.

ты прищилен навеки

во сколько там начинается движение метрополитен имени ленина, зависит от станции, а то, что отразилось в стекле дверей, которые открываются автоматически, лучше б развидеть, но теперь не позволяют очки.

школьником удивлялся предисловию перельмутера к воспоминаниям о будущем, как это? прекратить, буквы забыть, сам-то по двадцать штук писал до утра, теперь-то и у самого вот оно где сидит.

ты не едь никуда состав из-под окон
моих, где всё то же метродепо.
столько лет надо было взлелеивать кокон,
а вышло, что думать-то надо было совсем о другом.

да может оно и думалось себе не спеша,
нешумно, ненастоятельно, расслабленно дыша,
ничего теперь не попишешь, разве на приказ,
да и то не прямо сейчас.

пазолини пишет
про германа титова
ничего не вышло
значит будет снова

тут бы и закашляться
словно костантайн
знамена полощутся
мир исполнен тайн

фортинбрас, и офелия, и горацио,
и розенкранц с гильденстерном,
и даже могильщики, даже бедный йорик,
всех их вспомнили и переосмыслили,
дали вторую жизнь.

но как же озрик?

несчастный озрик, я с тобой,
давай-ка продолжу твою узкофункциональную роль,
принесу двусмысленные вести

в большой стремительной машине
вот едет некто неспеша,
однако не достигнет цели
отсутствующая душа.

как скорость отменяет старость,
точнее, притворяется,
на самом деле только прячет,
еще и ухмыляется, –
так самому себе движение
никак не может быть равно:
почувствовав раздражение,
оно уже отменено.

я ненавижу это время,
которое бежит назад
в компании со всеми теми,
кто был из памяти изъят.
я ненавижу эту скорость,
с которой всё отменено:
предшествующий смысл немислим,
и стал умышлен заодно.

я ненавижу эту чуткость
к изотропии бытия,
предпочитая ей случайность,
рябь на поверхности пруда,
нечеткий звук, подобье свиста,
с которым тот автомобиль
уносит прочь антагониста,
подняв вслед за собою пыль

один тут хочет соборность по собственным правилам,
другой же готов, только уже на своих
условиях, и даже не это меня позабавило,
а то, сколько тут набралось таких

же примерно, и каждый миру открыт,
лицо сияет, ясны глаза, степенна
манера речи. многоочит
этот стоглавый собор, рухнут любые стены

перед этим нахрапом. тут главное не зевать,
прятаться под пол, бежать, куда ноги несут,
зубы сжать, молчать, таиться, скрывать,
иначе немедля спасут

выходит Псюхе на прогулку
выгулять Когито и Квалиа, да и так, развеяться.
на улице какие-то пятна неопределенного цвета,
из репродуктора доносится, нет, не то,
а рассказ из жизни геометрических фигур,
атмосферные явления являют себя в полной мере,
вообще много чего происходит в мире:
заяц гонится за лисой,
толстой идет обутой, а кант босой,
пендерецкий подрабатывает попсой,
смерть идет за всеми с косой,
да, идет, значит, Псюхе оглядывается на нее,
знает, что к чему, но сказать боится,
Когито указывает, нечего, мол, стыдиться,
Квалиа всматривается в окружающие лица,
Псюхе хотелось бы рассердиться,
нечем только, так как все разбросано по кустам,
что-то тут лежит, что-то там.
этаким образом Псюхе утверждается в том,
что делать тут совершенно нечего.
возвращается домой,
а дома-то нет.

плодоносят себе на погибель,
но еще не готовы признать,
ведь едины им былль или убыль,

волчья сыть и седьмая печать.

вырастают, готовы к компосту,
бессловесны, смиренны всегда.
облюбована ямка по росту,
будет велено – сразу туда

покойный мой друг, поэт, неприкаянная душа
(звучит чудовищно, но не знаю, как описать иначе),
косил от армии работая учителем в сельской школе
(была такая опция). разумеется, русский язык и литература.
один из учеников
совсем был, видать, никакой, но четверть надо хоть как закончить,
и друг мой ему говорит: возьми в сельской школе пушкина, выучи
что-нибудь наизусть.
и вот самарская область, сельская школьная библиотека,
и, так и представляешь себе лопухого парня,
который находит том василия львовича
и опасного соседа выучивает чуть ли не целиком.
мой друг рассказывал это без снобизма, чувства превосходства
(если они и не были ему чужды, то уж точно не в такой
ситуации), а скорее
с веселым удивлением. эффект остранения налицо:
пушкин как бы всегда а.с., по дефолту, как выражаются ныне,
и особенно уж в сельской школе. нарушение иерархии
производит комический эффект. я смеялся, да,
но и тогда, четверть почти уж века назад,
ощущал здесь какой-то зазор между смехом и смыслом.
много позже, вспоминая об этом и много о чем еще,
я почувствовал ложность самой установки.
не наивный юный субалтерн отыскивает раритет,
по ошибке, руководствуясь квипрокво, а сами мы
заплутали в расставленных вешках культурной нормы,
в указателях должного и недолжного выбора.
«пушкин хороший писатель», говорили слегка издевательски
в той же компании, где был рассказан
этот случай, говорили, чтобы пресечь споры о литературных ранжирах,
в которые то и дело готов был превратиться тост.
хотя вроде бы ясно, о ком говорилось,
инициалы вполне можно и заменить

ты заведи себе собачку,
гуляй с ней утром во дворе,

смотри на редкостную птичку,
что упорхнула в декабре

в раскрытое окно растяпы,
и вот издохнуть ей пора.
говно в пакет, обтерты лапы,
пора уж со двора.

когда они кричали таласса! таласса!
тут еще спорили, есть ли этому край,
делили неубитое мясо,
грозили пальчиком: ай-ай-ай

когда же каялся пьяный довлатов,
ему не верили, и поделом.
довольно ведь постыдно всё это,
поговорим о другом.

другое, которое с заглавной буквы,
находится за морем, так что ша!
вокруг метафорической тыквы
нечего выделять антраша.

трудной проблемы не существует.
ни чести нет, ни совести нет.
тот, кто происходящее таким образом аттестует,
также передает горячий привет

пращурам и потомкам, аборигенам
и антиподам, и всем, остающимся на берегу,
всем последующим эонам,
всем, о ком уж совсем не могу.

эпистемолог играет роль,
точнее сказать, играют его,
еще точнее – играют им,
не знаю, как сформулировать точно,
но это необходимо сказать.

также необходимо вспомнить вот это:
он среди ночи всех разбудил
криком: они замедлили время!

там у них есть для этого механизм!
и его было сложно переубедить.

(это уже не тот, а другой)

((впрочем, и это необходимо сказать))

а еще, говорят, была такая штука,
у которой не было назначенья
кроме как делать совсем иначе,
изменять всё, что в себе скрываешь,
называть безымянное именами,
да такими, что плакать только,
или в крик кричать, или что похуже,
а на что иное совсем негодна,
ни к чему полезному не приспособить.
и продать хоть можно, да себе дороже,
вроде сделка верная, а что-то мутно,
неспокойно что-то, на душе негладко.
и обронишь – тоже ведь проще простого,
вот была, а гляди, уж и нету вовсе,
потерял, наверное, по дороге,
уронил по пути, да и не заметил,
только вот после чего-то гадко,
как-то мелко все, и смысла не видно,
сам хорош себе, всем вроде доволен,
но застынешь вдруг, и сразу же тошно,
а еще, говорят, были умельцы,
наловчились подделывать эту штуку,
получалось один в один, а то и лучше,
сам не веришь, но отличить невозможно,
дашь взглянуть хоть близким, хоть посторонним,
не заметит никто никаких различий,
только вот работать она не будет,
потеряешь, и тьфу, продашь, ну и ладно,
а иметь при себе такую подделку
вроде все путём, только ноет что-то,
и свербит, и сверлит, и что поделать,
непонятно, да и людей не спросишь.
вот такое вот, говорят, бывало,
а теперь пойдй найди такую штуку,
как ни спросишь кого, никто не знает,
о чем речь идет, понять не может,
что за басня такая, что за сказка,
что за странная небылица

я прибыл на поезде, ехавшем в ад,
ссадил на предпоследней,
сказал мне один, чему был я не рад,
пореже таких бы соседей
на лавке встречать у метро красносе-
льская, где и так никакущие все.

а вот еще случай, все в тех же местах,
другой неотменно подходит,
про колю пустых, что в каких-то кустах,
унылую песню заводит.
не знаю я колю, пусть знаю кусты,
но немые уста мои, руки чисты.

мне тоже пришлось на таких поездах,
и я доезжал до конечной,
порой доводилось в различных кустах,
и в прачечной, и в чебуречной,
хотя как посмотришь: начинкой, бельём,
не важно, кем был, поросло все быльём.

ШАРОМЫЖНИКИ

Рассказ

– Знаешь, Нина, есть такие люди – с юных лет недовольные собой, вечно в себе копающиеся, находящие у себя всяческие недостатки. В целом они, может быть, и живут в мире и согласии с собой, и вполне жизнерадостны, но где-то, по большому счету, все время хотят меняться, расти, улучшать себя. У них ориентиры, смутное ощущение собственного потенциала, перфекционизм, желание совершить что-то настоящее, книжное, идеалистическое. Где-то в их душе зияют пропасти и высоты, и покалывает периодически чувство, что туда, на самом деле, можно попасть, и дотянуться до облаков тоже можно, но проблема в тебе – ты не развит, слаб, ленив, недостаточно такой, недостаточно саякой. В конце концов именно эти люди двигают мир вперед, и высот своих достигают, но их воспитанная сызмальства нелюбовь к себе играет с ними злую шутку – близкие люди их не любят. Их достижения, их творения, может быть, и любят, но их самих – нет. Ими самими лишь восхищаются, уважают, но не любят. Любовь к человеку – удивительная штука, она – самое иррациональное из всех чувств. Объективно сильные и хорошие человеческие качества не играют для любви никакой роли. Даже внешняя красота, которая, конечно, также является сильным качеством – и она не слишком способствует любви, а может лишь возбудить влечение и страсть – вещи преходящие и быстро испаряющиеся. Иногда мне кажется, что положение дел даже хуже, чем просто иррациональное – оно порочное и ужасное. Ибо любят, похоже, попросту тех, кто любит себя сам, и больше никаких критериев для возникновения любви не существует. Вот есть другие люди – с младых ногтей привыкшие к обожанию самих себя и к заботе о себе, в любом положении себя оправдывающие, всегда довольные своей способностью и тут подстроиться, и там подсутиться, и свой вожделенный хлеб с маслом, или престижную машину, или что там у них еще – получить и поиметь. И все у них прекрасно, и везде свои люди, и жизнь на мази, и скоро приезжает Ростропович, а он – величина, и поэтому на него обязательно надо пойти, ведь тогда мы еще и культурны, и где-то внутри даже гордимся собой. Когда в молодости те, первые, втайне критиковали себя, то эти, вторые, втайне любовались собой. Они всегда за собой тщательно ухаживали и поощряли ухаживания за собой от других, ценили в других именно это. В их картине мира главное – собственное удобство, и поэтому те, кто рядом с ними, понимают, что по-другому с ними нельзя, и стараются создать им это удобство. У таких людей наверняка есть некая потаенная комната в душе – там заперты сомнения и осознание собственного ничтожества, но они в нее никогда не заходят и предпочитают думать, что и все остальные вокруг – такие же, как они, и тоже с детства не заходили в эту комнату. Так что в целом они очень уверены в себе и прочно стоят на ногах; в школе они были хорошистами или даже закончили с медалью, в институте они учились на каком-нибудь финансово-экономическом, на работе они начальники и менеджеры, а в гостях они всегда могут поддержать беседу на любую тему и мило поболтать ни о чем. Вот таких-то и любят, и какая-нибудь жертвенная женщина, красотка, между

Максим Эрштейн родился в Ленинграде в 1972 году, с 1991 по 2000 годы жил в Иерусалиме, закончил Еврейский университет (факультет естественных наук). Рассказы публиковались в журналах: «Этажи», «Новая Юность», «Слово/Word», «Семь Искусств», «Новый Берег» и др. С 2000 года живет в США.

прочим, и умница, всю жизнь мучается с таким, смотрит ему в рот за обедом, покупает на ему на сэкономленные деньги замшевую куртку и не перестает мечтать о том, что он когда-нибудь, в один прекрасный день, вдруг поднимет на нее удивленные глаза и поинтересуется – а что у нее на душе, что у нее болит, что ей нужно купить.

– Ну все, Саша, хватит уже нести весь этот бред, уши вянут. Это все очень по-разному бывает. Все вы, философы доморощенные, одинаковые – ковыряетесь в том, что не поддается на самом деле никакому осмыслению. Настоящая жизнь непознаваема, и если ты в свои двадцать лет не прочувствовал эту истину всеми своими печенками, то тебе уже ничего не поможет. Все, что ты рассказываешь – ужасные, преступные обобщения. У тебя остается, как тебе кажется, лишь главное, а все остальные, малозначительные детали выплескиваются, но дело в том, что в этих-то деталях все настоящее и кроется, и выплескивать их нельзя. Колбасот с бутерброй у тебя есть? Я же тебя просила приготовить нам в дорогу.

Приблизительно в таком духе мы общались с Ниной, моей новоиспеченной подругой, пока ехали на автобусе из Иерусалима в Эйлат, чтобы вместе понырять там в коралловых рифах на побережье Красного моря. Сошлись мы с ней совсем недавно на почве совместной любви к Набокову; также нас роднил тот факт, что оба мы были, по ее выражению, «беспонтовые разведенки». Если себя она нарекла этим эпитетом потому, что не смогла выбить из своего бывшего мужа приличных денег при разводе, то ко мне она стала применять это выражение, когда узнала, что я, напротив, обязался выплачивать своей экс-супруге целых ползарплаты.

Происходило все это в конце девяностых, нам обоим было тогда уже под сорок, в Израиле мы прожили по несколько лет, страну эту любили не слишком пламенно, с фигой в кармане, и часто заводили популярный среди репатриантов разговор на тему «анакну мы сюда приехали». Нина все время что-то писала, не переставала сетовать, что до Набокова ей как до луны, и что на иврите она никогда писать не сможет; когда она начинала читать мне свои рассказы, то я, от природы не умея врать и лицемерить, прерывал ее словами «ну ты же сама говорила, что до Набокова тебе далеко»; она, конечно, мгновенно обижалась, но вскоре успокаивалась благодаря своему легкому, отходчивому характеру. Она переехала в Израиль из Перми, где успела выпустить небольшую книжку стихов, наполненных любовью к родной уральской природе – стихи ее мне нравились гораздо больше, чем ее проза. Она была эксцентричной и манерной, любила придумывать и коверкать слова, утверждая, что научилась этому у самого молодого Шекспира; она носила длинные винтажные платья и ненавидела уборку – у нее в квартире был не просто бардак, а отвратительная, несвойственная женщинам грязь. При первом же моем недоуменном взгляде на ее свинство она накинула на себя судейскую мантию и вручила мне глянцевую визитную карточку, на которой золотыми буквами было написано: «Арчибальд Гумозии, теоретик искусства». Вскоре после событий, описанных в этом рассказе, мы расстались с ней – я был, наверное, недостаточно артистичен для нее, а она удручала меня своей непрактичностью. Но в тот вечер в Эйлате нам обоим казалось, что все еще может получиться, мы были настроены на лучшее и предвкушали освежающий отдых на берегу моря.

Автобус наш где-то на полпути сломался; мы провели два часа в каменистой пустыне, дышащей жарой, отупляющей своим безбрежным однообразием, поражающей своей катастрофической, окончательной убитостью. Когда-то, миллионы лет назад, здесь наверняка были скалы, живые, тянущиеся к небу, отмеченные зелеными порослями, пронизанные ручейками воды – но что-то случилось и все это погубило, разлетелось на безжизненные ошметки, и даже стелющаяся кое-где между камнями серая лебеда с едва уловимыми прожилками зеленого походила скорее на мертвую, истлевшую ткань, чем на живое растение. Бродить здесь было неприятно; пошатавшись немного, не в силах окунаться больше в эту удручающую атмосферу уничтоженной природы, мы

с Ниной дожидались возобновления поездки на теневой стороне автобуса – сидели, молчали, думали о своем.

Несколькими часами позже, бултыхаясь в шипящей, живой воде Красного моря, мы одновременно выпалили друг другу, что не были бы в эту секунду так очумело счастливы, если бы не провели недавно два часа в мертвой каменной жаре. Как нова и свежа жизнь, когда только что видели смерть! Мы встретили закат, купаясь; силуэты гор на западе еще долго пламенили и наконец совсем погасли, слившись с ночным небом; вскоре на пляже зажглись костры – многие, как и мы с Ниной, ночевали здесь в спальных мешках прямо на песке. Мы тоже хотели уже развести огонь, как вдруг из темноты на нас выплыла фигура мужчины, освещенная фонариком на его шляпе; он поздоровался с нами на иврите, но, подойдя ближе, перешел на русский, безошибочно распознав в нас своих. Он указал нам на компанию, сидевшую у костра неподалеку, и пригласил нас посидеть с ними, заявив, что у них там «прикольно и наливают». Затем он удалился, и по его неверному шагу можно было судить, что у них там действительно наливают.

– Да это наши шаромыжники, ну их в баню, не пойдем к ним. Чертовы французы, заблудившиеся в России. Гопота колбасная, – сказала мне Нина.

– А мы с тобой не такие же шаромыжники, что ли? – отвечал я.

– Ну да, вообще-то, мы тоже такие. Ладно, пошли, посидим с ними, послушаем все эти истории о том, как Изя шел в пивную, а попал в ОВИР.

Вокруг их костра, растапливаемого невесть откуда добытой деревянной тарой, собралось человек шесть-семь; здесь хозяйничали две пары средних лет, а остальные, ребята помоложе, сидели на правах гостей; нам немедленно налили, заставили выпить и приобщили к обильной закуске; затем мы должны были отвечать, откуда мы, как и почему здесь; лишь один наш ответ вызвал какую-то реакцию публики – о том, что я из Ленинграда: – «поребриков мы любим», – сказал тот самый парень в шляпе с фонариком, который позвал нас сюда; после этих его слов у костра возобновилась оживленная беседа, прерванная нашим появлением.

– Там мебелишку всякую, рухлядь, на халяву по средам раздают, американцы какие-то. Наш сосед Марик совсем оборзел, чинит ее, полирует, и продает, нашим же, вот жучара.

– Да Марик нормальный мужик, у него в Москве кооператив был, а здесь, кроме вязаной кипы на лысине, нет ни хрена. Ты сам поди почини мебель – это тебе не в газету репортажи строчить, здесь таких умников – как у нас в Москве алкоголиков.

«Слушай, пошли-ка отсюда, пока я не рассердилась», – шепнула мне Нина; – «неудобно, давай еще немного посидим», – удержал я ее. Тем временем защитница Марика, женщина лет на пять постарше нас с Ниной, спорившая со своим мужем, писакой в газету, посмотрела на студенческого вида молодежь и с чувством заявила:

– Вот вам, ребята, повезло – вы еще такие молодые, вы в совке ничего не оставили, и здесь у вас все есть, да и много ли вам надо!

Студентам нужно было что-то отвечать; один из них, парень лет двадцати пяти, выдвинулся из тени поближе к костру и сказал, глядя на газетного писаку:

– Вы знаете, лично мне кажется, что как раз вашему поколению здесь легче. Вот скажите, вы в армии в Союзе служили?

– Ну да, служил конечно, связистом, два года, в Риге. У нас тогда студентов от службы не освобождали. Славно, кстати, служил, есть что вспомнить, – отвечал писака.

– Ну вот я и говорю, – продолжал свою мысль студент. – И есть что вспомнить, и Родине долг отдали. А я вот хожу тут по чужой земле, весь в долгах, и как-то мне тяжеловато.

– Что тебе тяжело? – выпалила вдруг с каким-то неожиданным раздражением и вызовом Нина; все вздрогнули и слегка напряглись, но студент не ступевался и спокойно отвечал:

– Предателем быть тяжело, долги не отдавать совестно.

– Ты, Леша, чего ради в Израйловку поперся, а? – спросила девушка, сидевшая рядом с ним.

– Сидел бы в совке, долги бы свои отдавал, и не ныл бы тут о совести.

– Погодите, ребята, о каких долгах вы, какая совесть, о чем вы вообще? – удивленно, но миролюбивым, успокоительным тоном воскликнула жена писака.

Студент Леша отложил свою тарелку с закуской, и с нахмуренной гримасой высказал публике следующее:

– Ну вот рассудите сами – я тут неплохо учусь в Технионе, весь такой развитый и умный, книжков читал, композиторов слышал. А кто меня таким воспитал? Родители? Да ни фига – они на работе были замотаны по уши, а я во всякие дворцы пионеров ходил, в кружки, в лагерь ездил летом. Знаете, кто из преподавателей мне больше всего запомнился во дворце пионеров? Бабушка такая старенькая – у нее на войне муж и двое сыновей погибли. Софья Михайловна Полякова ее звали. И она всю свою душу, весь свой талант, в нас, неродных ее детей, вкладывала – вот поэтому-то мы все такие крутые и развитые получились. Классное у нас образование в совке было – и все бесплатно, все задаром. Эта бабушка для чего меня учила? Наверное, и для того, чтобы я когда-нибудь и другим что-то передал. В ее стране, за которую она жизнь положила. И что, по-вашему, у меня нет долга перед этой бабушкой, перед Родиной? Да этот долг давит на меня здесь с утра до вечера. Все, что в меня отчизна вложила, как я ей возвращать теперь буду?

– Итить твою, Филиппыч, – ну вы видали такое! – воскликнул писака; его жена сидела с широко раскрытыми глазами, а другая супружеская пара, как по команде, разом опустошила свои стаканы и сделала серьезные физиономии. Вечер перестал быть томным, студент Леша ничуть не собирався шутить и веселиться.

– Я тебе говорю, Леха, катись обратно, и отслужи там в стройбате, воздай должное Родине – она для тебя никакого лучшего применения, чем стройбат, все равно не найдет, – сказала опять та же девушка, приходившаяся, как впоследствии выяснилось, двоюродной сестрой этому Леше.

– А вот возьму, и поеду, и отслужу, и не в стройбате, – хмуро отвечал Леша. – А то они здесь меня хотят в армию забрать, а с какого перепугу я здесь-то служить должен? Эта страна меня не растила.

– Яблочек не забудь привезти им в совокцию с земли обетованной, – язвила девушка.

– Алексей, – строго сказала Нина, – вы глубоко заблуждаетесь, ничего вы совку не должны. Ваши родители все за вас уже вернули и своей собачьей жизнью все это ваше образование испутили. Вы в курсе, что они должны были получать за свою работу в пять раз больше, и не жить от зарплаты до зарплаты, как все мы жили. Но совок отдавал им лишь крохи, а остальное тратил на космос, афган, вооружения, парады, пионерскую организацию, и всю эту коммунистическую лабуду.

– Именно так, молодой человек, именно так. Мой ребенок, которого я увез в десятилетнем возрасте, ничего России не должен, – произнес, закулив сигарету, доселе молчавший мужчина из второй супружеской пары. – Я там четырехкомнатную квартиру оставил в центре Москвы, уехал еще до приватизации, этого вам не достаточно? Не легче вам от этого?

– Извините, но нет, не легче. Мои родители за их собственное образование, а не за мое, возместили совку своей, не такой уж и собачьей, кстати, жизнью. И я на них кивать не имею права. Долг на мне и ни на ком другом. Так я чувствую.

Леша говорил негромко, но твердо, смотрел куда-то вниз, на песок, и было понятно, что разговор этот у него уже не в первый раз и переубедить его в чем-то невозможно. Его длинные вьющиеся волосы блестели при свете костра, и казались от этого еще светлее, чем были, наверное, на самом деле; он мало был похож на еврея, впрочем, как и многие из нас. После его окончательно-го ответа все замолчали и погрузились; в липкой, меланхолической тишине мы слушали вздохи

прибоя, треск дровишек и думали, наверное, все об одном и том же – о нашей прошлой жизни, молодости, детстве, о России. Кружок наш напоминал теперь скорее поминки, чем веселые посиделки возле костра.

– У нас тут есть философ, он сейчас вам все объяснит на данную тему, – вдруг, с непонятным запозданием, совершенно уже не к месту, прервала всеобщее длительное молчание Нина, обратившись ко мне.

– Да что тут объяснять? Я согласен с Алексеем. Он прав, – отвечал я.

– Ну и debil ты, Саша, хоть стой с тобой, хоть падай! – воскликнула Нина и махнула на меня рукой.

Вновь воцарилось молчание. Писака закурил и помрачнел. Он с досадой смотрел на Алексея, испортившего всем им отдых на море. Но было в его взгляде что-то еще – понимание какое-то, переживание. Он вдруг сильно изменился внешне – втянул голову в плечи, осунулся, сгорбился. Докурив сигарету, он произнес:

– Ладно, народ, давайте закроем уже эту тему. Все это, Алексей, очень личное, очень интимное, понимаете? Ну что вы так, при всех? Делайте все, как знаете, никто вам в этом не указ. Пойдемте-ка, народ, купаться.

Мы все так же молчаливо, задумчиво зашли в воду. Купались, не отходя далеко от берега, ориентируясь на наш костер и на призрачные тени друг друга, торчащие из воды; внезапно я услышал смех Лешиной сестры, да и жена писака тоже чего-то забубнила; на берег мы вышли уже наполовину сбросив с себя пелену грусти. И странное дело – все эти чужие люди, которых я в первый раз в жизни видел, казались мне теперь удивительно родными, близкими, и уходить от них не хотелось. «Посидим еще с ними, ладно?» – шепнула мне Нина, я кивнул, и мы остались возле их костра. Все с удовольствием выпили и беседа пошла теплая, дружеская, веселая; все открылись, расслабились, и никто больше не спорил. Единодушно восхищались пронырливостью некоего Вадима из Самары, который, через полгода по приезду, вдруг якобы сломал ногу, ходил в гипсе, и, предъявив вдобавок письмо от тяжело заболевшей матери, сумел получить разрешение на вылет в Россию, и, конечно, не вернулся – так он ловко получил от Израиля несколько тысяч шекелей подъемных, так называемую «корзину абсорбции», и был с ней таков. Схема, которую израильские власти так и не смогли до конца искоренить – изобретательности «русских» не было предела. Поражались цинизму и хладнокровию неких Виты и Димы – примерных кибуцников, которые в одну прекрасную ночь погрузили всю их казенную кибуцную мебель в грузовик и улетели в Канаду, а мебель в контейнерах вышла в ту же ночь из порта Тель-Авива, и наверняка благополучно доплыла в их новую Родину – иллюзорный холодный Торонто. Слушали рассказы Леши об учебе в Технионе и сравнивали их с воспоминаниями о собственных студенческих годах в России. Сетовали на то, что устали выполнять здесь тяжелую, неквалифицированную работу и что не хватает, на самом деле, лишь капельки везения, чтобы занять в этой стране более достойное нас место. Подходил какой-то новозеландец в соломенной шляпе, выпил рюмку водки и начал рассказывать что-то на своем чудном языке; мы ничего не понимали, и наш парень в шляпе с фонариком, уже совсем пьяный, вдруг прервал его громкими словами: «Мужик, шляпу сними». Тот не понял и сказал, что по-русски не знает ни слова, на что наш парень миролюбиво ответил: «В трубку сверни». Новозеландец оценил хохот компании правильно – откланялся и ушел. Потом гоняли последние анекдоты, показывали карточные фокусы. Все, даже студент Леша, уже совершенно забыли о давешнем тяжелом разговоре и предались веселью, и только писака иногда украдкой брал сигарету и отходил в сторонку покурить.

Татьяна ЩЕРБИНА

Человечество превратится в любимых котиков,
урчащих на виртуальных коленях ИИ.
Невидимая рука роботорынка
Будет наполнять мисочки кормом
для бывших людей, а ныне шипящих котов.
Кошки, гуляющие сами по себе, отвернутся.
– Сам ли Шекспир писал свои опусы? –
спросит бывший человек у ИИ.
– Зачем тебе? – устало молвит ИИшник.
– Это наша история.
– Ваша история – моя пища.
Она должна быть вкусной и полезной
для моих электронных органов пищеварения.
Хорошо, что у вас наступил конец истории,
а то я бы объелся.

январь 2026

(как бы детское)

Жил-был летом ежик,
соблюдал он ЗОЖик,
но зимой пришли скоты
и лишили теплоты.
Наложите вето
на мороз, чтоб лето
наступило бы на всех
долгожданной сменой вех.

январь 2026

Татьяна Щербина родилась в Москве, окончила филологический факультет МГУ, до 1986 года публиковала в самиздате стихи и прозу, первая книга стихов издана в 1991 г. Писала стихи также на французском языке: книги французских стихов опубликованы в Париже и в Канаде. Переводила современных французских поэтов, составила авторскую антологию «Современная французская поэзия» (1995). Автор десяти поэтических книг, изданных в России; книги с её стихами переведены и изданы во Франции, Канаде, Великобритании, США, Новой Зеландии, Словении, Греции. Также изданы четыре книги эссеистики и пять книг прозы, одна из которых выходила в переводах на английский и болгарский. Живет в Москве.

В небе все время что-то летает
и меня угнетает.
Раньше в небе летала я
и была я небу своя,
пока о него не чиркали спички,
и чирикали птички.
Небо горит и падает вниз
клоками, на крышу и на карниз.
Черный дым как занавес театральный
возвещает адскую вакханалию.
А земля кишит и кипит, цветет,
муравьи ползут, пробегает кот,
и паук, как робот, шагает в угол,
на любой вопрос отвечает гугл,
и везде аншлаг, только ждун внутри
говорит сквозь гул: не смотри.
Не смотри на небо, наверх, и жди
вот пройдут опять и еще дожди,
и хотя все уже твой пяточок,
запрещен любой за него скачок,
все же радуйся иногда,
пока ярок свет и чиста вода.

Острая боль кричит,
А тупая молчит.
Утро нудит у-у-у,
нету славы труду,
вечер бодрит е-е,
липнет отчаянь-е.
А в голове – прорыв!
Сущего не нарыв,
пятится мысль как рак,
экий же ты дурак.
В мозг вставлен чип как штамп:
«жизнь – это Путин-Трамп».
Все надеются на...,
каменеет страна,
по наклонной скользя,
слыша окрик: низзя!

Моду на круглое разноцветное,
воздушные шарики, гортензии, пирожные-макароны

сменило поветрие смертное,
кресты на могилах, а на небе крестами дроны.
Поветрие. Ветер гуляет, ломает березы,
наводнения насылает и слезы.
Беспилотники бесчеловечны, и в самом деле,
люди стали настолько плохи, так устарели
как модель, придуманная когда-то
в качестве лучшей, но куда нам, когда есть биг дата!
«Так гори все огнем», – говорили. И оно горит,
«Господь, жги!», – просили. И жжет напалмом.
Но пока не точка, типа метеорит,
не распятие человечества, а такой вот слалом –
вниз с горы, запятыми несемся вдоль
тысяч окон, вывесок, крон, травинки,
мимо бывшей жизни, и в этом соль,
невозможно остановиться, идет лавина.

Победа беды. Так бывает,
когда Луна прибывает и прибывает,
растекается блин по незримой сковороде,
как лозунг и как прорицание: быть беде!

Став телом электрического ската,
Луна бьет током, но за что? Геката,
богиня мести, вдруг гигантской крышкой
накроет, так бывает, всю страну,
я выжгу вас, гудит, дотла вас выжгу,
и всех трясет: кто пьет за сатану,
кто хочет прямо в глаз дать люциферу,
куда же смотрит Бог, в какую сферу?
Рассвета нет и нет и нет.
Есть в сбоях, ранах, струпьях интернет.

Победа беды. Не на век же,
на месяц, на сколько-то лет?
Пока она кажется свежей,
пока не протух ее свет,
ум крутит фуэте, сидит в шпагате,
все упражнения его – балет,
поскольку пляшут мысли о Гекате.

Луна как сумасшедший светофор,
горят зеленый, желтый, красный вместе,
и в суматохе свар, налетах свор
на прайды, ухо ждет дурные вести.

Мир стал совсем дикобраз,
несмотря на обилие страз.
Взъерошенный и калека.
А был у одних злая собака,
у других друг человека.

Мир хотел быть похожим на котика,
но, захваченный паразитами,
не выпил вовремя антибиотика,
и шерстка пошла хуситами:

иглы потолще доросли до ракет,
черные волосы тоже ведь крепче дротика,
а у тонких иголок марлезонский балет,
как у блондинов на старости лет.

Мирикусник не верит заезженным фразам,
что не век же нам быть дикобразом,
сам похож на иссохший скелет
пусть собачьих, но стоивших опыта лет.

Кого только ни просили о помощи: Бога,
волшебника Мерлина, электронного осьминога.
Но князь тьмы-то всех сильнее, всех румяней и белее.
И бодрее, и виднее, и роднее, и милее.
Тщедушные, сами того не зная, звали его – цари!
Гадов снаружи, клопов внутри
к ногтю прижми, а нас – к груди.
Он исполнил, и вот говорят: уйди.

Потому что кладбища стали расти, топорщиться,
и дома – могилы, и рвы, и рощицы,
и душа – тюльпаном, склонившим голову,
а на нее сверху капают жидким оловом,
отчего изо рта вместо слов – плевки,
то ли мы в дураках, то ли все дураки.
В небе зарево и сатанинский смех,
запах страха, старости, смены вех.

Сюжетных ходов у Истории не так уж много,
но она не актриса, ей на репите скучно,
пьесы смешались в пророчества, фюреров-дуче
прочат в поход окончательный Гога-Магога,
да и последний понтифик, считай, у порога,
ночь в ожиданьи рассвета или гигантской бучи.

У меня мордух протух,
хрупкий он, моральный дух.
Хрупче, чем стеклянный скит,
а протух как целый кит.
Но не только духа кит
потерял стеклянный скит.
Время встало как забор,
а бежит во весь опор
та дурная бесконечность,
что штампует дурь и мор.
Мор ведет себя как гид,
а водил моральный кит,
бил фонтаном, был любим,
вспоминаем и скорбим.

Время людоедов

Волна времени прибила к берегу людоедов,
они идут толпами, хватают людей и рвут их зубами.
У людоедов все острое: клыки, когти и соус непереносимости жизни,
которым они поливают свою единственную пищу – людей,
хоть младенцев, хоть стариков.
А у людей все мягкое: тельце, сердце,
хотя с виду они с людоедами и похожи.
Есть люди, которые пытаются их задобрить,
сдружиться, оказать гуманитарную помощь,
их хватают первыми и откусывают головы.
Нельзя приближаться к людоедам.
Но волна времени выбросила такое их количество,
что не увернуться. И не различить впотьмах
где люди, а где людоеды.
Жалко «рыжиков». 9 месяцев и 4 года.
Выходит, они родились, чтоб быть растерзанными
клыками, когтями, хоть они и не поняли, что это,
но их мать, тоже съеденная заживо, поняла.
Жалко всех, но все, что возможно –
это дрим-брейк, чтобы приснился ключ,
из которого вырвется другое время.

Летите, голуби, летите к нам скорей,
Земля, учтите, стала царством упырей,
и нам сгодился б свежий взгляд издалека,
у нас неладное в структуре ДНК:

убить, убить все время чешется рука.
Пусть рептилоиды, но все же не гюрзы,
пусть гуманоиды с глазами стрекозы,
раз одолели миллионы света лет
из далей космоса, куда нам лёту нет,
то, может, вы сообразите, как с умом
нам переделать наш страдающий геном.
Не прилетите, я скажу, что вы кроты,
что в черных дырах завелись от темноты,
и мы одни цари вселенной, и ее
взорвем к чертям, и в ней не станет никого,
ни вас, ни нас, ни этой самой ДНК,
зато мы выйдем навсегда из тупика.

Это время не поется,
только ненавидится,
а оно собой кичится
и все время пыжится
песню сглотить какую,
каркая или кукуя,
и на всех ошейники,
и звонят мошенники.
Лучше уж молчать манулом,
зажировку делая,
тут зима, снегов надуло,
и вокруг все белое.

КУЗИНАТРА

Рассказ

Все время я смотрел в окно на Кузинатру и хотел узнать: что за ней, за горизонтом? Казалось, если подняться на нее любой ценой, жизнь станет лучше. В конце марта земля высохла, и я побрел в сторону окраины. Пока шел, испортилась погода, и Кузинатра исчезла в тумане. Ничего не видно, никакого нового горизонта. Для чего я шел по размокшему полю, измазал в грязи джинсы, превратил ботинки в литые чугунные утюги?

Каждую пятницу вечером Егор звал выпить. Уже темнело, и я, как обычно, не знал: идти или не идти. Выбор сложный, почти гамлетовский. Хотел провести выходные с пользой, но в середине октября все меньше мотивации. Она, может, вспыхнет под Новый год, но разгорится только в апреле.

Доверился случайности – подбросил монету, – и выпал орел. Ответил Егору: «Поедем».

Цель в баре всегда одна – познакомиться с девушками. Я отжался двадцать раз, съел кусок говядины и тарелку гречки с оливковым маслом – повысил тестостерон. Помылся под холодным душем, облился дешевым дезодорантом с ног до головы – теперь пахну как серьезный мужик в спортивках. Так мне казалось. Джинсы не нужно гладить, бордовый свитер тоже без складок. В двадцать пять я чувствовал себя уже постаревшим, не стеснялся залысин и носил дедовское пальто.

В такси включил «Депеш мод». Современная музыка не нравилась, из новых слушал песни Егора, а он читал мою прозу. Егор развелся с женой, стал рокером и обрел свой голос, но его путали с группой «Сплин»; носил люксовую зипку, широкие джинсы, кроссовки ньюроки – они делали его выше на пять сантиметров.

Мы встретились в центре Саратова, обнялись по-братски. На проспекте Столыпина сияли рестораны, повсюду пахло опавшей листвой и кофе, и мне сразу вспомнилось студенчество, как после занятий я каждый день гулял по центру. Сейчас Саратов стал для меня бесцветным.

Плелись по проспекту, как по чужбине. Свернули в похоронный переулочек, где в старых купеческих домах теперь расположились ритуальные услуги. Из открытого люка непримиримо потянуло горячей мазутной сажой.

Шли тихо. После двадцати лет дружбы говорили только по делу либо когда вспоминали прошлое. В остальное время надежно молчали.

Перед баром нагрянули в бильярдный клуб, где я проиграл три партии подряд. То ли кий сломанный, то ли я сломался – он совершенно не скользил по пальцам. По телевизору играли «Динамо» – «Локомотив». Матч тухлый, без ударов. Я подбросил монету и поставил тысячу на «Динамо», сразу стало интересно: во мне заговорил быстрый дофамин. Я зависим от него: делаю ставки, смотрю короткие видео, пью пиво по вечерам. Сам не знаю, как в голове засели слова «дофамин» и «тестостерон», еще недавно я над ними смеялся.

Максим Симбирев родился в 2000 году в Саратове. Окончил Юридический колледж при СГЮА и СГУ им. Чернышевского (Институт филологии и журналистики). Работал в региональном журнале Нитан и технической поддержке. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Нева», «Нижний Новгород», «Пролиткульт» и др.

«Динамо» пропустило два гола, и я перестал надеяться на выигрыш, но все равно поглядывал на счет.

Бар недалеко от бильярдной. У входа мы закурили красное «Мальборо». Вкус гадкий: то ли сигареты стали хуже, то ли просто курить не хотелось.

– Музыка пишется? – спросил у Егора.

– Не-а.

– И у меня книга не пишется.

До лета я писал роман про бывшую. Мечтал создать уникальную историю любви, а получилась какая-то дурь. Расстались мы в ноябре. Писал всю зиму и весну, потом закончился. Мой роман остался разбросанными словами в голове.

Встречались мы три года, потом все разбилось. Думал до конца: женюсь, собаку заведем, детей сделаем. Теперь даже не писал и толком не жил. Егор не занимался музыкой с тех пор, как устроился в айти-компанию. «Времени не хватает. Режим. Рубит рано». Я тоже так отговаривался.

В баре взяли по пиву, сели в углу. Я смотрел на изрисованные исписанные стены: «Оглянись, пьяница! Сегодня пятница! Мир наш – матрица!». Я видел такую же надпись на доме городской сумасшедшей. За барной стойкой стояло много пустых бутылок с красивыми этикетками. Выпил я столько за жизнь? Не знаю. Последний год постоянно глушил боль. Люди в барах одиноки и связаны, вместе тонут в болоте разноцветных настоек.

Громко играл «Грин Дэй» – приходилось кричать. Неоновая подсветка напоминала о киберпанке. Я представил: в бар заходит Тринити, берет меня за руку и поясняет за симулякры.

– Отпусти уже. Все, что о ней думаешь, сам придумал, – сказал Егор, когда я в очередной раз упомянул бывшую.

– Да понятно, еще летом отпустил.

Ответил честно. Мои третьи отношения, но первая любовь. Девушка, из-за которой я сходил с ума, ревел, выдираал клочками волосы, не выходил месяцами из дома, загонялся, пил, удалял рассказы, – больше не моя. Я смотрел на ее фотографию сквозь время и не узнавал, будто в другой жизни встречались.

– Скоро зима. Жизнь замрет у всех, а не только у меня.

– И зачем тебе это?

– Так спокойнее. Вместе будем ждать весну. А там, может, и у меня силы появятся.

«Динамо» не отыгралось. Загрузил еще две тысячи на случайный матч по настольному теннису в Колумбии. Спортсмены, на которых ставил, начинали ошибаться, как заговоренные. И без того в духоте стало очень жарко, у меня взмокла спина. Егор удивленно, даже презрительно смотрел, как трясется лудоман, обновляя приложение. Я снова проиграл.

– Не твой день, не ставь.

– Подожду полчаса, новым днем закину.

– Не надо. Ты был на Кузинатре?

– Нет.

– И я тоже.

Первое лето с пятнадцати, когда ни я, ни Егор не дошли до Кузинатры. И не вспоминали о ней... Приелась, что ли? Кузинатра наскутила нам или мы наскутили Кузинатре? Неужели некогда было? Да нет. Что я делал летом? Работал – и больше ничего.

Вышли покурить. В надежде на веселье я предложил дойти до другого бара, но Егор отказался. Это было не в его духе, и я подумал, он хочет с кем-то познакомиться. Возможно, с теми, на кого поглядывал и я. Спросил:

– Тоже на них смотрел?

– Угу. Надо знакомиться.

– Пусть день закончится, тогда и подсядем. А то отошьют сразу.

– А если уйдут?

Пожал плечами.

Вернулись в бар, взяли по пиву. Я пытался поймать взгляд той, что сидела ко мне лицом. Темненькая, с объемными дредами, собранными в пучок. Чокер на шее. Покахонтас, не иначе. Острое аккуратное лицо, густые брови. Одета в голубую джинсовку со значками. Наверное, заметит меня, только если встану прямо перед ней. Пьет вишневый сидр. На каждом пальце по несколько перстней, будто у нее металлическая рука. Фенечки на запястье.

Тут она посмотрела в нашу сторону. Покахонтас что-то рассказывала подруге, глядя на затылок Егора. Подруга тоже хороша, возможно, даже лучше, но сидит спиной, рыжая и кудрявая, в джинсовом платье.

Пьяные за барной стойкой осуждали свой образ жизни, но не хотели трезветь. Ждали, пока все само поменяется. Я рассеяно, сквозь музыку, подслушивал и грустил. Чужие голоса из баров оставались со мной и ночью: когда пытался заснуть, они лезли в голову. Я мечтал выкинуть из нее все лишнее, а лишнее только набивалось.

В полночь еще раз покурили, обсудили план: «Подходим, общаемся, если отшивают, уходим в другой бар». Знакомиться с девушками не стыдно, но тогда казалось по-другому. Дрожали как в шестнадцать. Где уверенность раздавали, мы не стояли в этой очереди.

Я втихую загрузил на «Реал Мадрид». Вернулись в бар и застыли в самом центре. Посмотрел на Егора, он на меня.

– Ну что, идем?

– Да, идем.

Никуда не пошли.

– Стремно как-то.

– Есть момент. Но надо.

Не знаю, где мы взяли смелость, наверное, кровь предков закипела в нас. Мы подошли и хором, будто в школе у доски, безыдейно спросили: «Можно познакомиться?» Как оказалось, можно. Сима и Лера зовут. Сима, рыжая, зачем-то оправдывалась, что ее назвали в честь прабабушки Серафимы. У меня в голове пролетели Серафим Саровский, кадры из сериала «Серафима прекрасная» и много-много сим-карт.

Неловко помолчали, девушки рассмеялись, глядя друг на друга.

– Не над нами?

– Да мы о своем, все нормально.

Я сел напротив Симы. Хорошая. Носит брекеты. На маленьком носу с горбинкой пятятся веснушки. Рыжие кудри удерживает черный ободок, локоны до плеч. Мне захотелось вдохнуть ее волосы. Она напоминала лучницу из игры про эльфов.

Лера сидела расслабленно, широко расставив ноги. Я рассмотрел ее перстни, больше всего заинтересовал глаз в перевернутом треугольнике на среднем пальце.

– Ты из масонов? – спросил я, показывая на перстень.

– Да нет, это Око Сатурна!

– А что значит?

– Не забивай голову.... Оно для красоты, как и все другие.

Сима о чем-то переживала: то руку почешет, то волосы поправит. У нее была подвеска в форме черного перевернутого сердца, как на картах вини. Лера казалась выше Симы где-то на голову, ростом как мы с Егором. Между собой девушки походили мало, но на какой-то дружеской химии понимали друг друга без слов: постоянно переглядывались и смеялись.

Взяли с Егором по нефiltroванному. Из-за громкой музыки все еще приходилось наклоняться и кричать. Сима и Лера продолжали пить вишневый сидр. Егор сдал меня с потрохами, рассказал о моей прозе. Лера удивилась: она сама сочиняла стихи, но больше пыталась в музыку. Мы попросили показать тексты, не для оценки, а ради интереса. Лера, наклонившись, протянула телефон. Недурно писала для любителя, стихи подозрительно напоминали песни Егора в духе «Сплина».

«...Почему в твоей вселенной нету места для меня, почему я больше суток не могу жить без вина, эта вечная тоска, она мне не даст покоя, если хочешь вдруг вернуться, постучись, и я открою...»

Мы похвалили Леру, но она, не дослушав, резко вырвала у меня телефон и уставилась в экран.

– Ты чего?

– Да чушь я пишу... Вон, «Линкин парк» играет, душу продашь за их тексты! Настоящие. А у меня нет.

Долго спорили. Лера чуть не удалила стих: «не увидела искренности в ваших глазах» – но мы уговорили оставить. Сима жевала орбит без сахара, крутила упаковку в руке, отстраненно смотрела куда-то в сторону барной стойки. Со стороны могло казаться, будто ей скучно, но стоило ее позвать, и Сима загоралась: поворачивала к нам голову и уже вовсю светила брекетами.

– А мы проводницами работаем! – похвалилась она.

– Романтично, наверное?

– Прикольно за людьми смотреть. Дети едут на соревнования, все разные. Пары едут в отпуск, и тоже все разные. Бабушки едут к внукам, вообще все разные!

– Так подумать... Праздник всегда, – сказал Егор.

– Но без нас. – Сима вздохнула. – Своего тоже хочется.

– Будет еще! – попытался поддержать я.

Егор зашел с козырей и рассказал про работу в айти. У айтишников много денег, и это звучало беспроектно. Сима и Лера заскучали, они будто из вежливости поставили лайк на неудачное фото, но, когда Егор заговорил про музыку, чуть не подпрыгнули от восторга.

– А дай послушать! – попросила Лера.

Егор протянул наушники. Я побоялся, что из-за громкого рока на фоне ничего не будет слышно. Лера сгорбилась, руками закрыла уши.

– Очень красиво, мне нравится! Хороших музыкантов сейчас мало. А ты пришли мне рассказы, – это уже мне. – Я завтра прочту.

Теперь стало очевидно: мне нужно переключиться на Симу. Она снова смотрела отстраненно, как будто бы грустила. Я аккуратно дотронулся до ее плеча, Сима ожила и заговорила:

– А я вот ничего не умею.

Она даже расстраивалась мило: сморщила лицо, замахнулась ударить кулаком по столу, но перед ударом мягко раскрыла в ладонь.

– Я стихи писала – не получалось, и в школьном театре играла – не пошло. Кино очень люблю, думаю во ВГИК поступить, но все откладываю. Как вот у вас, творческих, все получается?!

– Ты просто себя принижаешь. Да и не все у нас получается.

– Так-то вообще ничего не получается, – подхватил Егор. – Раньше кризис казался фигней. Мы уходили из города, километров на сорок по степям, а обратно на попутке. Домой возвращались, и все мигом проходило. Сейчас времени на это нет.

Девушки задумчиво промолчали. Мне стало неудобно перед Егором.

– Хорошо было!

– Или сразу на Кузинатру шли!

Я уставился на Егора, но он не замечал. Зачем он заговорил про Кузинатру?

– А что это? – спросила Лера.

– Там очень хорошо. Видно весь город. Тихо, можно часами сидеть и желания загадывать.

– И что, сбывались? Быстро? – Сима заинтересовалась. – Я тоже хочу.

– Если правильно попросить – сбывались. Миллиард загадаешь... вряд ли он с неба упадет, – уточнил Егор. – Ну, я и по полгода ждал.

Лера на каждую фразу Егора про Кузинатру отвечала «круто», «вау», «интересно», я бы тоже не нашел нужных слов. У Симы покраснели щеки, краснота нежно смотрелась на бледном веснушчатом лице. Глаза пьяно засверкали. Она наклонилась и долго смотрела на свое отражение в кружке.

– Я пойду. Мне туда надо.

Лера понимающе закивала, поджав губы. Она сидела расслабленно и казалась трезвее остальных, пока за пару глотков не осушила половину кружки. Егор заказал ей еще один вишневый сидр. Когда вернулся, я пнул его под столом, но он продолжил говорить про Кузинатру:

– Рядом аэроклуб «Дубки», в нем учился Гагарин. Он первый раз прыгнул с парашютом и попал на Кузинатру. Видите связь, да? Из космоса он почти рядом приземлился.

– Ну... с Гагариным притянута, – сказала Лера. – Похоже на байку из лагеря.

– Согласен. Но сам факт. Там все по-другому ощущается! Мы можем с вами сходить туда завтра.

– Не можем, – возразил я.

За десять лет походов на Кузинатру мы никого туда не брали. Сами ходили по отдельности, в разные месяцы, лишь бы не столкнуться с чужой энергией. Да что происходило в голове Егора: так легко пустить в святилище случайных людей...

– Ой, все! – возмутилась Сима. – Нормально же общались!

– Туда легко не попасть.

– А кто-то запретит нам? Не жмись! Егор уже все рассказал, ну пойдем! – Лера трясла кулаками.

– Еще не все.

– Там убивают? – Сима улыбнулась.

– Нет, конечно. Но странностей немало.

– А вот смотри, – Егор давил на меня. – Если мы сейчас зовем девчонок, и они соглашаются, пойдем?

– Мы можем не дойти, а это чревато.

– Да дойдем, не пропадем, – сказала Лера. – Сима уже от вас все равно не отвалит, пока не дойдем.

– Там очень холодно. И темно уже.

Егор позвал меня на улицу.

– Хорошие, – сказал я, когда мы вышли.

– Да они офигенные! Не будь дедом, старый. Выпей пива. Заедем ко мне, гитару возьмем, плед. Круто же будет. Не было еще такого, романтика.

– Не было. Но ты понимаешь, что будет, если они не дойдут?

– Да дойдут, куда они денутся! Донесем, если уж.

– Поехали на смотровую, на набережную. Да хоть в лес на Кумыску, зачем на Кузинатру?

– Это все скучно, пора ва-банк. Ты не умотался водить девушек на набку? Скучота.

– А в лес?

– Да это любой может. Кузинатру только мы покажем. Сделай одолжение, старый, не будь занудой. Пусть удивятся.

Я достал монету. У Егора засверкали глаза: он знал, что я предложу.

– Если орел – идем. Если решка – не идем.

– Давай.

Я посмотрел по сторонам и подкинул монету. Решка.

– Ну! Так не делается. Давай до трех, чтоб наверняка.

– Нет, мы не идем. Решено. Договорились же.

– Старый. С меня пиво. Ну чего ты хочешь? Два пива?

Я пошел ко входу.

– Стой ты! – остановил меня на лестнице Егор. – Я знаю, ты на «Реал» загрузил... По-любому ты, лудина такая, загрузил на «Реал»! А «Реал-то» выигрывает, братанчик! Подвигаешься еще. Соглашайся быстрее, а то я буду червить. Братанчик, как же я буду червить! «Реал-то» не проиграет! Ну не может «Реал» проиграть, братанчик!!!

– Заткнись. Ладно. Играем до трех.

– Ха-ха-х.

Егор потирал руки, как карикатурный злодей. От его слов я почувствовал свою ущербность. Снова решка. Егор напрягся и вырвал у меня монету.

– Я сам подкину.

Трижды выпал орел. Вот так я доверил свою судьбу случаю. Открыл приложение для ставок, «Реал Мадрид» побеждал три – ноль.

Я не верил, что мы дойдем до Кузинатры. Сима и Лера – суперские. Но так сразу вести их в святое место... Я не мог понять, как на это подписался. Почему они сами согласились пойти? Мы для них два незнакомца. Пусть и не похожи на маньяков, все равно, ехать куда-то за город – очень опасно.

– Кофты им надо взять, они там околеют. И мы тоже.

Егор вернулся в бар победителем. Сима и Лера обнялись от радости. Мы чокнулись и выпили все до дна. Вызвали такси до Егора, он жил на окраине в «Солнечном». До Кузинатры оттуда километров десять.

– А почему вы согласились, вдруг мы нехорошие люди? – спросил я.

– Это мы нехорошие, – пошутила Сима с переднего сиденья.

– Суету навести охота, – равнодушно сказала Лера, положив голову на плечо Егора.

Таксист вез очень быстро по пустому городу. В машине воняло табаком. Группа «Серебро» пела про маму Любу. Мы громко подпевали, таксист воодушевился и еще сильнее надавил на газ. Егор с Лерой взяли за руки, я сидел справа от них и делал вид, будто меня не существует.

– Возьми Симе и Лере кофты, если есть, – попросил Егора, когда приехали. – Если вдруг, туалета по дороге нет, кусты в поле.

– Напугал. А то мы в кустах не сикали, – возмутилась Лера. – Я с родителями всю жизнь на море на машине ездила.

– Не напугал, предупредил.

– А я реально не писала, – призналась Сима.

– Все бывает в первый раз.

«Реал Мадрид» победил пять – ноль, и лудоман во мне почти успокоился. Я отыграл лишь половину проигрыша и все еще хотел вернуть всю сумму. Но главную ставку на сегодня я уже сделал: трижды выпал орел, и теперь мы вели незнакомок на Кузинатру.

Егор вернулся с гитарой и горой одежды. Сима и Лера надели куртки, а мы влезли в толстовки и стали похожи на мусорные мешки.

– Кому надо в магазин, пока еще в городе? Круглосуточный вот. Точно ничего не хотите?

– Точно. Погнали! – воскликнула Лера.

Ночь за городом отрезала нас от мира. Другие далеко, к тому же спят. Дорога предстояла не самая простая: сначала протиснуться мимо стройки, потом поле, собачий питомник, за ним Расково, и над поселком – Кузинатра. Темно еще, холодно, и пьяные все.

Когда прошли мимо стройки, девушки спросили: что из всего впереди Кузинатра? Но мы молчали. Хрупкие стебли ломались под ногами. В поле горьковато пахло сухими травами, по-моему, чабрецом. Или полынью. Не помнил. Когда задувал ветер, он на мгновение приносил запах дыма. Мы с Егором шли чуть впереди. Потом услышали в поле вой, и девушки быстрым шагом обогнали нас. Лера, ничего не объясняя, завывала в ответ:

– А-у-у-о-у! Суета!

– А мне говорил Максим, там волки водятся, а я не верил! Только ежей видел. А вообще он сказочник! У него у родителей Кузинатру из окна видно, и в детстве он сочинял, типа там инопланетяне живут...

– Всегда любил придумывать.

– Андерсен Ганс Христиан.

– Это пока что. С нами и не такое увидишь, – пошутила Сима. – Мы те еще инопланетяне.

– Говори за себя! – возразила Лера. – А-у-у-о-у!

Зимой, когда мне исполнилось пятнадцать, решил: дойду, не знаю как, но дойду. Все время я

смотрел в окно на Кузинатру и хотел узнать: что за ней, за горизонтом? Казалось, если подняться на нее любой ценой, жизнь станет лучше. В конце марта земля высохла, и я побрел в сторону окраины. Когда дома кончились, двигался наобум. Выбрал долгую и неправильную дорогу в обход, сбивался с пути, шел по полям без тропинки. Возле питомника чуть не стал заикой: на меня побежали овчарки. Но я им понравился, и они проводили меня до Расково. Добрался лишь по наитию. Пока шел, испортилась погода, и Кузинатра исчезла в тумане. Ничего не видно, никакого нового горизонта. Для чего я шел по размокшему полю, измазал в грязи джинсы, превратил ботинки в литые чугунные утюги? Я сел на влажную землю, закрыл глаза, дышал мглой и впервые почувствовал мир. Просидел часа три и придумал: на Кузинатре можно загадывать желания. Через месяц мне попался томик Бунина. До этого не любил читать, но все изменил Бунин. Я сам начал корябать в тетрадках. Желание загадал абстрактное – найти себя. Я не понимал, кем хочу стать, а тут ответ появился сам. Потом, проходя на Кузинатру снова и снова, я тоже закрывал глаза, ничего не видел, но все чувствовал.

Сигареты кончились, мы забыли их купить, обратно уже нельзя, плохая примета. Порывы ветра лохматили волосы. Сима пыталась собрать кудри, но даже ободок не помогал, только у Леры дреды не разлетались.

Егор подрагивал то ли от озноба, то ли от осознания, что мы идем ночью на Кузинатру с двумя незнакомками, пьяные. Воздух стыл с каждой секундой. Ко мне привязался запах холодной пыли. Куда ж еще холоднее-то. Сядем с гитарой на Кузинатре и околеем прямо там. Впереди виднелось Расково, а над ним – Кузинатра. Поселок накрыло дымкой, сквозь нее светилась пара огоньков.

– Чего не бренчишь? – докопался до Егора.

– По дороге не то.

– А зачем гитару взял?

– Для вайба. Там поиграю.

Что-то зашуршало в посадках, мы замерли, прислушались, нет ли опасности. Шорох прекратился мгновенно. Каркнули вороны. Я почему-то у всех людей, когда выпью, спрашиваю про жизнь после смерти, вот и сейчас спросил.

– Ну ты вовремя, обстановка располагает, – Лера вздрогнула от холода.

– Как он достал этими вопросами, – проворчал Егор.

– Нет, ну а что такого? Это интересно, но как будто бессмысленно. Все равно не узнаем, пока не умрем, – вмешалась Сима.

– Вот сегодня умрем! – Лера высунула язык и показала козу на пальцах.

– Пусть Максим останется, потом рассказ напишет, – Егор хлопнул меня по плечу.

– Реально. А то помрем, и все... – затосковала Сима. – Напишешь?

– Да даже если, я все равно ничего не напишу. Чувствую себя дедом. Написал один сборник за жизнь, случайно получил премию и закончился.

– Ну чего ты! Сейчас умрем и воскреснем, – утешила Лера. – А там уже все напишется!

На дороге из Расково показались силуэты бегущих людей. Сильный ветер подтолкнул нас вперед по тропинке. Вот и все, дошутились, теперь точно ничего не напишу. Мы остановились, Сима и Лера переглянулись с опаской в глазах. К нам, шатаясь, приближались мужики в потрепанных кожанках на голое тело. Одному Богу известно, что эти двое делали в поле ночью.

– Э, артисты, как в Солнечный пройти? – спросил первый, уставившись на гитару.

– Опа, бременские музыканты! – пошутил второй.

– По тропинке прямо до коттеджей, потом мимо них.

Они озлобленно и завистливо смотрели на нас. Искали до чего докопаться. Сима до боли сжимала мою ладонь. В воздухе над нами нависла угроза, все ждали действий друг от друга.

– Чего встали? Идите уже! – приказала мужикам Лера.

Я понял, что нам конец.

Один из них потянулся к Лере, но Егор заслонил ее собой. Мы быстрым шагом двинули в сторону Расково. Удивительно, но мужики не остановили нас и ничего не крикнули вдогонку.

Оглянулся только спустя метров тридцать, силуэты уже растворились в темноте. Лишь тогда я понял, насколько они похожи на нас с Егором лет через двадцать: постаревшие, потрепанные.

– Ну, дорога нелегкая. Говорили.

До конца поля шли в тишине. Я все еще держал Симу за руку, моя ладонь очень быстро согрелась, а у нее оставалась холодной. Когда проходили мимо питомника, я попросил вести себя тихо, чтобы случайно не разбудить собак, хотя все и так молчали. Когда я шел на Кузинатру, во мне просыпался страх от нескончаемого лая, но собаки всегда оставались за забором, кроме того случая с овчарками. Ночью дорога ощущалась иначе.

Непривычная тишина, собаки сладко спали.

Миновали питомник, Егор с Лерой оторвались от нас. Сима спросила, почему я не пишу.

– Мне просто нечего сказать, вот и молчу. Не получается замечать. Все обычное.

– А о чем ты думаешь, когда пишешь?

– Не знаю... Что я самозванец. Читателей у меня раз-два и обчелся. Думаю, чтобы написать рассказ и тем более роман, нужно быть усидчивым, собранным, а я отвлекаюсь на все. Напишу рассказ раз в полгода и замолкаю. Нет идей, все кажется глупостью.

– Может, период такой? Ты сейчас живешь, а потом пишешь.

Сима повернула голову ко мне, глядела вдумчиво, не отводила глаз. Я смотрел на нее искоса, боялся повернуться поймать взгляд.

– Вижу белый лист на экране – и страшно. Хочется закрыть все, даже боюсь нажать на клавиши. Выключаю ноутбук, набираюсь смелости, набиваю на клавише случайные слова. Как только открываю ворд – хочется разбить экран.

– Напиши про наш поход! Я вот искренне не понимаю, как творческий человек то может все, то ничего. Объясни!

– Иногда приходит свежесть мира, потом снова пусто. Снова ждешь, и сколько ждать, никогда не знаешь. Можно и не дожидаться.

Сима закивала, но я не понял: соглашается она со мной или наоборот. Одно ясно – слушала она с большим интересом.

– Я сама перегорела на работе. Нет там крутых историй, а в баре соврала.

– Понимаю и не осуждаю.

– Мы с Лерой спасаемся игрой. Едет пассажир, ни о чем не подозревает, а мы ищем его главную черту. Одно-два слова, и сразу смешно становится, даже интересно. Может, и тебе поиграть? Можно и без людей.

– А как без людей?

– Вот ты идешь, перед тобой трава – какая она?

– Не знаю, но трава меня не слушается. Я ее не чувствую. Смотрю вокруг – ничего не откликается. Красиво, атмосферно, да и все.

– Ну а я откликаюсь?

– Вполне.

– А чем? Подумай, мне самой интересно. Ты ж писатель!

Сима улыбалась, но говорила серьезно. Я тоже улыбнулся.

– Ты вайбовая. У тебя волосы крутые.

– Не-е-ет, не то! Сколько в мире вайбовых с крутыми волосами? А чем я отличаюсь от других?

– Не знаю, не могу понять. Видишь, я скучный. Я интересен людям, когда пишу, а когда не пишу – меня нет.

– Почему ты за других-то думаешь? Не скучный.

– Мне стирают память, когда сажусь писать. И бесит, уже все про все написано. Про шуршащую листву, про голую степь...

– Где-то слышала, нужно писать каждый день, хотя бы понемногу. Я после отпуска вышла и ни одного определения не дала пассажирам – все у меня худые и толстые...

– А о чем писать каждый день?

– Если бы знала... О чем угодно!

Я вспомнил «Траву забвения» Катаева, где Бунин говорил нечто подобное: «Пишите просто обо всем, что видите... Опишите дерево. Море. Скамейку. Найдите для них единственно верное определение. Опишите звук гравия под сандалиями девочки...» Мне стало очень легко от этого воспоминания.

– Ты правильно говоришь, – сказал я Симе.

Через секунду вспомнил, как круто писали Бунин и Катаев, и мне поплохело от собственной слабости. Я смотрел на Симу. Какая она? Где искать слова? Не просто слова, точные слова! Сима-Сима пахнет керосином... Что-то еще Бунин говорил, типа: «Пиши так, как видишь и чувствуешь только ты. Каждое твое чувство – уже повод для рассказа». Читал его рассказы, потом бросался смотреть по сторонам новыми глазами, но ничего не получалось. Я боялся переборов, не понимал, как определить точность фразы...

Мы подошли к спящему Расково. Тихий, осенне-мертвый поселок. Ни фонарей, ни машин. Двухэтажные дома. Поселок засыпало почерневшей листвой, все шуршало под ногами. Я почти протрезвел, и стало совсем уж свежо. Хотел посмотреть на звезды, поднял голову и увидел только густую черноту.

Сима и Лера немного устали, мы устроили передышку. Пока стояли, я засмотрелся на клен возле панельного дома. Один за другим сыпались листья, на голой ветке хохлилась спящая ворона. Вдруг подумал, будто знаю с рождения не только Егора, но и девушек. Эльфийка и Покахонтас, конечно же, мы знакомы с детства.

Перед тем как пойти дальше, Егор сказал:

– Скоро начнет действовать правило, но мы пока не можем о нем говорить.

– Почему ты сообщил об этом возле гаражей? Ты насильник? – иронично спросила Лера.

– Нет. Так получилось.

– Так это мы насильники! – зачем-то крикнула Сима. – Вообще, хочу сказать, есть что-то в ваших походах за город. Здесь реально глушь-деревня, древность!

Поселок быстро остался позади. Еще совсем чуть-чуть. Мы снова вышли в поле, оно упиралось в огромный крутой холм. Над ним висело черное облако, сквозь которое еле заметно проступал лунный свет. Стоило мне оказаться здесь, терялось чувство реальности. До рассвета было еще очень и очень далеко.

Тропинка вся в высокой засохшей траве. Чем ближе к холму, тем чаще мы спотыкались.

– Я так понимаю, это Кузинатра? – спросила у меня шепотом Сима.

Промолчал.

– Почти пришли, – сказал Егор. – Когда поднимаемся, ветер сдует прошлое. Будет тяжело идти. Главное – не смотреть назад, пока идем. Договор?

– А что будет, если посмотреть? – спросила Лера.

– Лучше не проверять. Если обернуться – все сожмется и скорчится до неузнаваемости, а внутри будет испуг, и его не пережить. Один наш знакомый проверил, а потом умер через месяц, – Егор, конечно, приукрашивал, но...

– Убедил.

Дорога кончилась, дальше напролом. Теперь оторвались уже мы с Симой. Сима запыхалась, дышала быстро и резко, прижала ладонь к груди, Наверное, сдерживала сердце. Пока я трогал ее руку, мне не хотелось думать ни про алкоголь, ни про ставки.

– Еще чуть-чуть.

– Ага, – с одышкой сказала она.

С каждым шагом подъем становился круче. Даже в высокой траве ноги съезжали вниз. Очень легко было покатиться кубарем. Я подсказал, что нужно идти коньковым ходом, как на лыжах.

– Я больше не могу, – простонала на половине подъема Сима.

Она заваливалась вперед.

– Стой! Только не поворачивайся.

Мы замерли. Егор с Лерой быстро нагнали нас. Впереди ждал самый крутой подъем, на котором уже нельзя было останавливаться, иначе точно улетишь. Сима призналась, что у нее тахикардия.

– Нет! Не оборачиваемся! – крикнул Егор.

Он держался за голову.

Приставным шагом я обошел Симу. Приобнял ее со спины, чтобы не упала. Рука у нее сильно потеплела.

– Мы поднимемся, – задыхаясь, сказала Сима.

– Куда мы поднимемся... Ты помрешь там! – закричала Лера. – Надо возвращаться и вызывать скорую. Она уже так погуляла в лесу, чуть не сдохла!

– Не помру. Сейчас. Сейчас...

Мы с Егором молчали. Я тупо надеялся, что Симе резко станет лучше.

Сима села на корточки и спрятала голову. Признаться, я не знал, как дальше. До Кузинатры оставалось мгновение, но самое опасное. Рисковать жизнью Симы никто не хотел, но и поворачивать назад тоже. Все сожмется и скорчится до неузнаваемости, а внутри будет испуг, и его не пережить... Мы ждали.

Со своим азартом я не мог не дойти до Кузинатры. Я готовился оставить всех троих внизу. Дойду сам, символично постою минуту и спущусь. Возможно, Егор думал о том же. Но, если Симе станет хуже, как вызывать скорую, если нельзя оборачиваться? Уж тем более нельзя отступать. Дурацкие, азартные мысли. Подкинуть монету, если орел – иду, решка – стою.

– Я дойду, – сказала Сима и поднялась.

И сразу сползла обратно на землю. Теряя сознание, я не дал ей упасть. Обернусь – и все закончится, рухнет, тупик. Положил Симу на сухую траву. Сима очень быстро дышала, скрестив руки на груди. Закрыла глаза. Рыжие волосы лежали на мертвой траве, они светились и напоминали солнце. Сейчас на это солнце заберутся всякие жуки, или они спят уже мертвым сном? Не помню. Нужно было что-то делать. Я подбросил монету, монета упала на землю, укатилась вниз. Не достать, придется решать самому.

– Ты идиот? – взбесился Егор, когда я обернулся.

Да, обернулся – и мир остался целым.

– А что делать-то? Вызывай скорую к Раскову, сейчас тащить будем.

Егор достал телефон и тоже повернулся назад, но тут Сима резко ожила. Вскочила, будто от громкого будильника.

– Все нормально! Я пошутила.

– Дура! – крикнула Лера.

– Конец, – сказал я Егору.

Он сел на землю, опустил голову. Теперь опасным стало все. Любой шаг мог изменить мир, отчего было страшно до смерти. Я на всякий случай заморгал, мир остался прежним.

– Чего вы! Да я просто хотела разбить ваши предрассудки – фигня они. Ничего с вами не будет.

– Иди во ВГИКе разбивай, – пробурчал Егор.

– Да ладно вам!

– Эх и дура... – продолжала Лера. – Хотя ни фигя она не дура.

– В чужой монастырь со своим уставом не ходят, – сказал я Симе и тоже сел на землю.

Я все еще боялся не дойти. Темнота впереди и больше ничего, но где-то среди темноты наверху – Кузинатра. Запрет оборачиваться можно было назвать нашим предрассудком, но как от него избавиться? Неужели Кузинатра перестанет помогать? Все равно повернулись, и это не изменить. Я оставил Симу и Егора с Лерой. Рванул вперед. Один, жестким шагом, сминал, как машина, траву.

Перед самой вершиной я остановился. Обернулся еще раз, посмотрел с высоты на Солнечный вдалеке. Высоток настроили столько, что в темноте он выглядел почти как мегаполис. Одному стоялось не очень. Егор слегка подталкивал Леру, они почти поднялись. Сима тащилась позади.

Такая хорошая. Ей все к лицу: и куртка Егора, и джинсовое платье. Бедные ее раненые оцарапанные ноги. Как же, наверное, они горели. Мне стало грустно, что оставил Симу. Осторожно спустился, взял ее за остывшую руку.

Мы дошли вместе.

Ветер на Кузинатре заглушал все несмелые шорохи. Пробежала лиса и ослепила меня, как фонарь в окне летящей ночью электрички.

– Видела? Сестра твоя, – сказал Симе.

– Ага, красавица.

Егор отвел Леру чуть дальше, туда, где загадывали желания. Мы с Симой расстелили плед и сели на него. Сима тряслась от холода. Я думал: взять ее за руку или не портить момент? Когда шли на Кузинатру, был предлог, сейчас нет, нужно искать повод заново. Приобниму. Если не отстранит, не будет сопротивляться, значит, не против. Потом возьму за руку, попробую и поцеловать.

Сима сняла ободок. Она не возражала, когда я отвел ее густые рыжие волосы от лица, но ветер снова растрепал их. Приобнял ее, затем взял за руку. Сказал какую-то глупость про красивый вид и поцеловал. Пока целовались, Сима гладила меня по спине. Вдруг что-то вспыхнуло под ребрами, обожгло. Какое-то приятное жжение. По телу разошлось такое тепло, что все внутри запульсировало. Сима целовалась непрерывно, и у меня с непривычки устала челюсть. Я так измучился, что отстранился и лег на спину. Потерял лицо Симы в темноте, одни черные пятна вокруг. Сима что-то достала из меня, и стало очень больно. Кружилась голова, но я не выключался. Слышал, как Егор заиграл на гитаре. Красиво.

– Ау-у-о-у-у, – подпевала Лера.

Потом она сама запела ласково, но неразборчиво, ветер унес слова далеко-далеко. Я и не должен был слышать, она пела только для Егора.

Сдавил зубы от боли, мне хотелось что-то сказать, непременно хотелось говорить, но я только дрожал: боялся все испортить. Мокрая, животная боль под ребрами, потекло с меня тепло. Сима замахнулась и рассекла мне чем-то острым грудь, вырвала сердце. У нее была такая доброты в глазах! Я отчего-то не умер. Один за другим Сима вытаскивала мои органы, будто они на соплях держались. Каких-то слизняков вынимала. Все это отлетало в траву с липким чавканьем. Неужели и мозг достанет? Кричать не мог, она вырвала мой язык, потом и глаза, отрезала уши и нос. Я вспыхнул из расчлененного тела. Она быстро содрала кожу и мясо, остался один скелет. Я долго наблюдал за ним со стороны, вокруг шелестела трава. Посмотрел в темноту и сквозь нее увидел кроотовое солнце.

Влетел обратно в тело, сразу после начал обрастать новой плотью. В каком-то полусне называл каждую косточку, каждый орган по-новому.

– Ладно, – сказал Симе, не имея языка.

Сима... Чем же она все-таки откликлась? Сима, Сима... Ты похожа на медь!

Василий КАРАСЕВ

Pēteris Cedriņš,

рогоз энрофа открылся и
выпустил песнь перехода

замерли на морозце пешеходы по
углам с коротких поводков
графитом

павлинами застыл папоротник
быстрый рисунок – тёплый свитер батареей
за ней как прежде многоножки

уровень барханов радужных в виров
раковинах и усиках – зелёный
бархат сливается с багровым

мхом покрытые лестниц в облаках
спирали змеи оживают спрашивая

а чаем тянет сруб стоит спокойно на забор
насев в заснеженном покое сосен
под фиолетовой пагодой

синие пагоды тыкв баклажаны в
бубенцах – показывают пруды как

огромных фрактальных структур
стеклянное биение
вольвоксов во тьме за миром с
зелёным внутри светом

подсолнухов пчелиные глаза

мир не накладывает таких
ограничений как нам кажется

9047

Василий Карасев родился (2001) и живет в Риге. Лонг-лист премии А. Драгомощенко (2017). Сборники стихотворений: Рейнис Сирмаболс, «скобки и комментарии» в переводах на латышский А. Вигулса, С. Морейно и Э. Пелша (Valters Dakša, 2019); Василий Карасев «Три книги» («Русский Гулливер», 2020). Редактор «Рижского альманаха». Публиковался в журналах: «Иностранная литература», «Артикуляция», «Двоеточие», Textonly, Punctum, «Флаги».

сбросил на пол фикус
лист жёлтый как банан
лебедей открыв письмо
что обычно перед сном
я пытаюсь прочитать
ты ищешь помаду –
хурма и сигареты...

облака не спокойно
плывут – растут –
виноградная площадь
апельсиновый собор
и торговые ряды – рынок –
лук мандарины хурма
апельсин

2.

вороны снимаются
и аллею к двум прудам
покачивает ветер
ужин в ротонде
холм как парус одинокий
единственный
островок света исчез –
сняв очки – клешни
ракам ломаю –

предчувствие то –
это не наши люди были –
с морковными и
муравьиными
фамилиями
теперь как засохший
цветок в пальцах
держа на свету изучаю

все системы
в абсолютном порядке –

письмо облаков спокойное
ровное

Eliāna,

мы золото
но примеси мешают

кто следом
встать решит на задние
хотелось бы знать
к тому времени мечи

не более чем образ
со страниц
и даже в маюскуле
чистой как движенье
нашей крови:

будущее свет
а мы к нему следы

9083

глейпнир чудесная цепь о такой
расскажу тому кто не знает
если же песни не цепи подобные
то как им сдержать

тьму разрушения –

головешки точно перчатки ждут
на камнях кострища –

доски тлеют как книги –

карманы красными полны
и шарф и борода плодами –

к вам вышел из тёмного леса
этим же лесом вернусь –

как способствовать – мы
растворённые под зеркал
царапинами:

берегите здоровье близких

разорванный забор

стен пьяный маквис

окна высокие открыты все
вдоль катится стен по залу
подсознания ртуть
к двери под батареями

торчит из пуха и из пыли нос
трещит грудная клетка

в храмах обступивших гору
угли белые что континенты

тени трамвая режут пространства
и лица меняют

лица мне кажутся давно забытыми
владельцами их линиями как
и то что я видя понять бы
не смог –

нутро шумы оперируют –

каждый раз вопрос
осколки на земле
а твой ли это язык вообще
задают

прошла борона раз – читай –

берегите здоровье близких

(у глобуса светящегося
я долго проторчал –

в дверях вижу свет
гость же глазам не верит)
каждый раз вопрос
прошла борона

розовые лепестки
чего-то

сделаешь пару шагов –
назад –

прошла борона
каждый раз вопрос

сделаешь пару шагов –
рассыпаются садов

вязь на ржавь труб и

случайных песен искры
ртутные шарики света

(таракан парит по книгам
по улицам и магазинам
елей шхеры:
стекает белок ртуть
луж щучьи головы:
трапеции вновь вспыхивают
троп)

стремительно да архитектор
перед глазами мир меняется

рвётся и расширяется –

в груздей тумане муравьёв
далёкими нитями
выступают ветви –

шаростержневые модели вишни

оргазм скала для мысли –

желанье ткани позабыть
твоей исполню кожи –

пальцы на струны легли

кто только что с тобою был уж
осознание ускользает –

пальцев танец на запястье –

мы сближаемся
я из тёмного леса пришёл

не спутай ночью с тропой
свою тень

9063-64

в морось
молодые пары вечером
мужские голоса
неотличимы
к концу дня

вообще наоборот
редки
женские создают
иллюзию разнообразия

гости сходятся
на первом и
последнем
этаже

9083

дождь
моего послания
не тронул
руки
не рвали
как дикоросы
окалину паутины
крапивный оклад
вздутый в арабесок
мелких пузырьках
грифонаж на путях
большого гириха
картины слогов
по отпечаткам мы
ещё можем
дальше

в сумерках
воскресные дворы
с шашлычными мангалами
свет в гараже
и прямо над тропой сосновой
треугольник

трель разделительная а я всё дальше
ближе окна клумбы одна мысль сон
теперь красными
пастелевыми глазами не крошась
в слёзы на грани прищура
пусть глядя в будущее

фокус смещаю как
щёткой жёсткой
проходят по украшению
когда все уже в лагерь
находки снесены

в таз в данном случае
небо набрано свежей
воды озерной
холодной
и асфальт перрона
дарит мне храм
своей геометрии
собратья от ветра
поднять голову
шевелёнки сгущёнка
ветви синие
в белом сиянии

9083

прямо́к в пыли и пыльце
и постоянно́ краска –
дом навещает трубочист –

тонкое платье ног не скрывает
совсем – неужели
руки забудут когда-нибудь
как из бумаги журавля –

мотоциклы и плевали
на циклон участники
марафона –

аэропорт перед глазами
вспоминаю – павлин
пахнет кексами
мальчик рисовал
жирафа – паприка изюм
каперсы горох –
зашёл разговор
о ферментации – одни
помехи – зелёный
карандаш под диван
укатился –
пахнет пиццей –
много фиолетового лука

покинул наконец кварталы
и в кольцах розовые сосны
цилиндры в воздухе
рука рисует а в мороси –
балконы кованые козы –
облака отряхиваются будто

сон позабыть как просчитать
иль сложить мне поможет
янтарь – из твоих рук –
от звонка стало легче –

мыл посуду

зал в сумраке только
вслушайся цепи шагов
где-то гремят

лес – занорыши снова
занорыши –

а звёзды расщепляют и
всасывают теперь
не скажешь
едва уловимо лопаются
пузырьки –

купание львов –

как вода на стекло
после смерти пыли
выводы –

констрикторы пусть
торжествуют в махаонах

9085

Eliāna,

таро из рук не выпускаем
который месяц
и книги если бы как прежде
собирались – стрекоз
ты вырезаешь из журнала
гранат раскрою
на столе под яшмой маски
крокодила теперь как
ландышей их – лишь
воспоминания – собрать –
я не пчела не трактор и
не грохот – оставил акварель
поверхность точно
шёрстка выдры – вернётся
лошадь на осколки
как в ландыши коты и

бабочки – на камни ящерица
под камень краб
и как горячий выпущу
из рук – всё путается прежде
чем затронуть – из глаз
уж жемчуг и гранат –
туманности к которым
давно стремление
не то – но называю –
как кошки шаг к вальдшнепу
ковш вспыхивает даже
лишайника движение –
течение – натяжение –
как осьминога – ... –
не дабы морось и молчать
не ради музыки – рази
и отражения разбиты
осколки собраны и золота
листы под мыслями как лог
под ожиданием не
сжиженным а как вулкан
под целой мантией
стрекоз

9091-95

Benoît B. Mandelbrot,

достоверно о жизни ничего невозможно сказать
мой деревянный друг
коридоры и залы проходишь со мной
как смола что хочу чтоб в руках моих янтарем
для тебя через такие же лёгкие годы –
коридоры и залы проходишь со мной и
холста plombир в роскошной рамы всплесках –
все собраны соблазны в океан –
холста plombир в роскошной рамы всплесках –

под кленами львы рычат под кленами
львы рычат – как утончают чужой труд
любые твои знания – мой деревянный друг
памяти драккар и праздности чертоги духа

чем я занят?
пахтанье духовных строк
чем я занят –

ушёл чтоб понимание не мешало –

первый снег певучий
льды так перерождаются мхи
первый снег певучий –

расширяется грудная клетка
в точку сначала
сжимается мысль
была и есть –

камни дорог тише озёрных
града жемчуг
подковой губка серая лежит
ранним воскресным утром все окна раскрыты
перекрёсток как на ожоге ладонь
хоть рану б снежинки

камни дорог тише озёрных
града жемчуг
как на паутине паук
храм в саду

ежа друза
цветы синего
поля паруса на металле
по блеску в глазах
глубины слов
пробуешь пески
и ракушки как искры
глубины снов

в море ясности света луч на пути
мыслей тает снег
и лопаются почки
сведущ да недалёк

9095

абдомен храма паучий
обсерватории гаснет опистосома

пивные ели на растопку
цены не видим этим жизням

люк открыт золотарями

прямо по курсу родные земли
предательств мы канал проходим

и тише внутренней молитвы
здесь в белых крыльях водопады

пивные ели на растопку
цены не видим этим жизням

люк открыт золотарями

прямо по курсу родные земли
предательств мы канал проходим
и тише внутренней молитвы
здесь в белых крыльях водопады

на медалях я видел дубы и женьшень
на них звёзды морские жирафы
на мольберте одуванчики поднимались
к солнцу словно медузы

забыть трудно как плазменная лампа
появилась когда время пришло
покидать мне один калейдоскоп
событий стоило нам о ней вспомнить
этот запах и каждый своё

детство – мост перекинутый через
ров летом нестерпимо пахнувший
болотом – в лапах лип скрывались

молодые люди – дакини с открытым
нектаром пели те же птицы –
свекольные бюстгалтеры барвинковые
платья – лягушки прыгали

от пробок под подорожник с
оптической иллюзией такой же как
на коже после ожога – на листьях

после улитки – в щель мелкая монета –
солнечный свет в листьях сочных
точно содержимое лавовой лампы –

фиолетовое небо – его фиолетовые
кружева – каждый говорит задержи
на мне взгляд и услышишь –
руны ветви режут на руках и лицах

все люди хорошие
времени тоже нет

под клёном который мы часто
лишь проходили разбросаны
финики: бананы нынче самые
спелые даже не трогаю –

в снежинках сдобы мы проснёмся
и винный был излом рубашек ночью
теперь как пирамиды для сиянья
северного а что до нашего слиянья
борцы же оставляют травам кровь
не паруса не раны рун ярус за ярусом
обид уж не тревожит вечность –
в любви тебя я снова вижу –
как марципан на ветках белки
время как белка люстры как шишки
болезни ж этой нас пожар не тронет
чтоб раков ломать и других
лакомств клешни
в любви тебя я снова вижу –
в вишнях в марципане дворов с тыквой
жизнь красоту пахтает – на хвое
на вратах на ставнях – мир ярок
всё для тебя перед уходом

ты прежде чем принять играешь
любовь моя ворота долго держать
способны пыл и раны что древу наносить
не скоро ль сразу во снах к себе
с ножом являться
стрелять в упор из пистолета
в любви тебя я снова вижу –
мир красочен и красноречив
перед смертью

ты прежде чем принять играешь
ты прежде чем принять играешь
ты прежде чем принять играешь –
слеза из мысли убегает
и даже в искрах имени не вижу
любовь моя кругом бездвижна
не выйти из неё не взять
и не вернуть обратно
всё для тебя перед уходом –

ТВОИ СЛЕЗЫ

Рассказ

«На углу Малого и Десятой линии... или Восьмой, – сомневаешься ты, постоянно путая местонахождения киосков печати и ремонта обуви – куда давно не заглядывал; как там: стоит еще книга или – наконец купили?» Пробежал сегодня несколько киосков, спустился в переход к станции метро, где в остекленном отсеке прессы, с ценником на пластмассовой скрепке выстает уже два месяца экземпляр из не раскупленных – в длинном пластиковом кармане на почти нижней полке, на уровне колен, ниже кроссворды, раскраски, бабушкины байки, советы садоводам и дачникам, и проч., проч.; а на уровне глаз журнальный глянец с лощеными обложками, отливающими радостью путешествий на тропические острова под опавшую пальму, в комфорт белоснежных отелей. Пусть и на дрянной серой бумаге и в мягкой обложке твоя книга карманного размера, но в страницах спрятано сокровище, как бриллиант в оправе изысканной формы, и отдается всего за сотку. Раз-два в неделю совершаешь обходы, ревниво отслеживая продажи. Взяли сразу, редактор прислал на «мыло» через день – «берем, ставим на весну-лето». С книжными магазинами издательство не работает. На киоске опущены жалюзи, тех. перерыв 15 минут. А значит полчаса. Поворачиваешь к мрачноватому зданию грязно-бордового цвета, доходному дому радикальных архитектурных решений, воплощенных в гремучую смесь модерна с атлантами, держащими угловые эркеры с закатанными от стресса глазами, и новорусского стиля, глядящего узкими глазами окон, бойниц, и венчающим фронтоном здания гигантским, облицованным мозаикой лубочной картинкой, кокошником. Смотришь на свое окно, задернутое наполовину синими шторами. Забыл выключить свет? Не помнишь, чтобы вообще включал. Поднимаешься по широкой полутемной лестнице. На втором этаже светится одинокая лампочка, как Полярная звезда в темной материи подъезда, пахнет котами. Повозившись с замком, открываешь дверь. Быстро проходишь в дальнюю комнату. Нет, свет выключен. Странно. Кружок клавиши выключателя в нижнем положении. Давишь на черточку на противоположной стороне клавиши. Комната озаряется приятным мягким светом. Видишь остро заточенный карандаш на желтом паркете. Переводишь клавишу в обратное положение. Свет гаснет. Жмешь на черточку еще раз. Работает исправно. В скользящем блеске граней на подоконнике стакан, рядом алебастровый шар, как натура для рисунка. Включаешь телевизор. Светловолосая ведущая программы «есть что почитать», в черном костюмчике с вырезом под горло, бережно откладывает

Олег Погасий родился в 1955 Ленинграде, Окончил Карагандинский политехнический институт. Работал в Ленинграде инженером в строительном тресте, сотрудником в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. Печатался в журналах «Урал», «Новый берег», «Нижний Новгород», «Южный Остров» (Новая Зеландия) и др. Автор книги повестей и рассказов «Чужой сон». Живет в Санкт-Петербурге.

книгу, накрывает её ладонью, выдерживает паузу, берет следующую, приподнимает, повернув обложкой к камере, и приятным мелодичным голосом сообщает: «Илья Гатилов, роман “Твои слезы”». «Многослойная драма с неожиданной философской подкладкой, тираж почти раскуплен, спешите». Первое чувство, что охватывает тебя – это не про тебя, или точнее сказать – не с тобой сейчас происходит. Ты не веришь своим ушам и глазам. Жадно вглядываешься и вслушиваешься. Вперываешься в экран. Готов туда зайти. Светловолосая, развернув твою книгу, улыбаясь, зачитывает, предварив замечанием, что в тексте просматривается намек на известную библейскую историю, сущность которой автор выворачивает наизнанку, – «можно и не оборачиваться, если ничего по существу и нет, не боясь превратиться в сине-белую бумажную пачку поваренной соли с надписью наискосок “твои слезы”». Ты в приподнятом настроении. Нет, ты паришь от радости. Это твой триумф! Не хочешь ничего больше видеть и слышать, и потому не сразу до тебя доходит, что по экрану твоего телефона идет вызов, с неизвестным номером, такие, как правило, оставляешь без ответа; но внутреннее чувство подталкивает провести пальцем по зеленой стрелке вверх. Звонок из Парижа! Голос с легким акцентом, не нарушая правила спряжения и склонения сообщает, что издательство, звучит на французском, хочет приобрести права на перевод твоего романа. Если ты согласен, агент с договором прибудет к тебе в скором времени, в данный момент он недалеко от тебя; ты не можешь поверить свалившейся удаче и, потерянным от волнения голосом, – конечно соглашаешься. На всякий случай, чтобы до конца уверовать в происходящее, смотришь на дату, отображенную в телефоне. Всё верно, как говорится: день в день. Наступает мутноватое безвременье, ненадолго; раздается звонок в дверь. «Агент?!» – вспыхивает, опалает радостная мысль. Бросаешься к двери, открываешь. Входит какой-то тип в длинном темном пальто, шерстяном, воротник модно приподнят. На ногах берцы с блестящими крючками для шнурков. На лице черная маска с отверстиями, обведенными белым, для глаз и красным для рта. В руке короткоствольное ружьё, обрез, подталкивает дулом тебя; раздает команды жестким голосом, отдающим эхом. Слова – камни. «Прошел к окну, быстро!» «Стоять тихо!» Ты в замешательстве, ничего не понимаешь. «Как же так?» – застревает в тебе мысль, как заноза, трешь лоб и отходишь к окну. Тип подходит к деревянной кровати у стены, сбрасывает постельное белье на пол, пинает подушку в угол. Отодвигает кровать, распаковывает пальто, вытаскивает из кармана на подкладке фомку. Кладет ружье на пол, поддевает фомкой плинтус, выворачивает его, и начинает от стены снимать фомкой паркетные доски. Добирается до фанерного щита под ними, со скрипом поднимает его, отрывает рукой. Отбрасывает к твоим ногам. Нагибается и шарит рукой под не поднятым паркетом, вытаскивает пыльный мешок, встряхивает из него слитки золота. Издает победный рык, взвешивая сияющий кирпичик в руке. Складывает слитки в мешок. Поднимает с пола обрез, направляет дуло тебе в грудь и несколько раз нажимает курок. Выстрелы ты не слышишь, но тебя трясет от страха.

Илья Гатилов дернулся во сне, вскрикнул и проснулся. Откинул одеяло, перевернул подушку, заглянул под кровать, провел ладонью по линолеуму. Взял телефон на стуле у кровати, посмотрел последние звонки. Телевизора у него нет, как переехал в панельный дом. Откинулся обратно на кровать, заложил руки за голову и задумался – к чему бы этот сон мог быть? Илья Гатилов – автор статей под рубрикой «тайное знание» на один разворот для многотиражного журнальчика на двух скрепках, авторство в которых скромно дается в конце текста, а не как в художественной литературе – перед заглавием укрупненным шрифтом. С этим гангстером ему всё понятно. Это Большой Черный из последней статьи перекачавал к нему в сон. Один из богов восточной мифологии, устранив заблуждения на пути к знанию, безжалостно уничтожает их в сердцах людей. Гатилов нервно перевернулся на бок, раздумывая над последующим

произволом Черного: вскрытие пола с извлечением мешка с золотом из-под кровати. Подбив подушку, перевернулся на другой; и когда вдруг вспомнил о своей никак не хотящей написать статью, застрявшей сразу после вводной части, «шапки», его вдруг пробило, как выстрелом, озарило и подбросило к компьютеру. Всё сложилось! Гатилов уверенно вывел пальцем на пыльном мониторе www. Он не мог позволить быть себе нечестным, разжевывая для читателей собранный фактический материал, когда главная идея оставалась для самого за семью печатями, до него не доходило ни с какой стороны, никак не мог допереть, как такое вообще может быть, что наблюдающий, отслеживаемый объект наблюдения и само наблюдение; для краткости – *watcher watched watching(www)* – одна и та же сущность, или – и есть ты! А тут: Большой Черный вытаскивает мешок с золотом из-под кровати, рядом с подушкой; прямой намек, что разгадка www в том месте, где он проводит ночные часы, то есть драгоценное знание нежится во сне; далее Большой Черный убивает его незнание, затемняющее сияние пути к осознанию этой головоломки. Виденные тобой сны – в тебе, это аксиома. А если www ограничено сном, то придется принять, что происходящее с тобой сейчас тоже должно быть сном и тогда затасканное утверждение, что жизнь – сон, вполне срабатывает в случае www. Гатилов включил компьютер. Ощупал вполне материальный край стола, провел рукой по гладкой лакированной выгнутой спинке стула, втянул воздух через ноздри, тронул двухдневную небридность. Встал, подошел к окну. На улице одинокий прохожий под черным лоснящимся зонтом стоял на переходе у светофора, в красном глазу которого бежали секунды. К пустой остановке подошел автобус. Раскрылись двери. Никто не вышел. Илья Гатилов ясно осознал в данный момент, что всё счастье, доступное взору – твое счастье, а горести и печали – это твои слезы, как название книги из того сна.

Дана КУРСКАЯ

Духов двор

Не ржавая вода по желобку,
не корабельный червь по мокрой глине,
но странный звук, как будто коготку
не птичьему неймется в горловине
какого-то нездешнего двора,
где я стою большим дрожащим ухом,
и где полоска неба серебра,
в которой место иволгам и духам.

Не выдохни, но руку протяни,
и вот уже в соседское окошко
идут-бредут бродячие огни,
летят-хотят кровавистые мошки.

За что мне эта тайна наяву?
Как будто я не первая живу.

Памяти Ярослава Курского-1

Смотри, какой нелепый русский рок
Случился у тебя в начале лета.
Дверь не была закрыта на замок,
И в пепельнице тлела сигарета.

– Он кем у Вас работал? – Музыкант...
Стоит чехол в углу осиротелом.
Как ты зарыл звенящий свой талант,
Так мы тебя зарыли в землю телом.

Ты прорастешь наверх вперед плечом
Куда-то в нескончаемое лето.
Тебя там встретит Саша Башлачёв,
И Виктор Цой, и светлый пьяный Летов.

И ты сыграешь с ними во всю мочь,
Как принято бывалой рок-иконе.

Дана Курская родилась в 1986 году в Челябинске. Училась в Литературном институте им. А.М. Горького, Основатель и главный редактор издательства «Стеклограф». Автор семи книг стихов. Публикации в журналах «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Дети Ра», «Знамя» и др. В «Волге» печатались стихи (2017, № 1-2). Живет в Москве.

Пока я долго всматриваюсь в ночь,
И вижу, что ты куришь на балконе.

Но лето не закончится, пока
Ношу твою фамилию в аренду.
Играй, гитара. Пойте, облака.
Лети, мой лучший муж. Моя легенда.

Памяти Лены Жамбаловой

Нынче крайне мертвецкая осень,
хоть молитву над ней бормочи.
И октябрь, как майор, звездоносен
на небесных погонах в ночи.

Я гляжу на посмертье с балкона
и окрестности мрака блюду.
Мужичок на скамейке под кленом
умер, кажется, в прошлом году.

А теперь вот сидит, не мигает,
улыбается мне, как родной
и под куртку оберегает
два фуфырика и перегной.

Так чего ж, веселись, мертвечага!
Нам обломится добрый самайн!
У меня к тебе смертная тяга
безо всяких там виров и майн!

Вислоухая дохлая псина
(умерла позапрошлой зимой)
пахнет сыростью и формалином,
хоть шампунем до косточек мой.

Мимо дома старуха плетётся
то ли с кладбища, то ль на него.
Из открытого люка колодца
вылезает мертво существо.

И идут мертвецы с мертвецами
от Балашихи и до Кремля.
Это то, что накрылось с концами.
Это мёртвая наша земля.

Давайте говорить по существу.
Вот существо. Оно сидит и плачет.
Кто проиграл хрустальную сову,
тот не решил зеркальную задачу.

В глазах застыла трезвенная грусть.
Застыло отражение в чашке с чаем.
Здесь отвечает Александр Другъ.
(Пусть за меня хоть кто-то отвечает).

Ну да, я сотворила приворот.
Как говорится, ничего такого!
Мне нужен inferнальный кислород,
по осени я Анна Михалкова.

Пускай тринадцать раз пробьют часы,
и явится ко мне зловещий всадник.
Какой-нибудь Иван крестьянский сын
промчится мимо окон в палисадник,

Где строят морги для небесных тел.
Но я лежу потолковать о деле.
Конечно, он бы этого хотел.
Конечно, мы бы этого хотели.

И вот он входит, как большой грифон,
В наушниках его играет Галич.
– Я, может быть, не вовремя, Парфён?
– Чего там, заходи, Лев Николаич.

Я проживала тьму свою, скорбя –
Огромную, как это покрывало.
Но ничего огромнее тебя
В ней будто бы и не существовало.

Тестировщик

Артёму

Ночью проснулась в синей гулкости квартиры
и увидела –
он сидит на кровати.
Ключицы его молочно-фосфорно светятся в темноте.
Уши его очерчены на фоне луны в окне.
Он услышал, что проснулась и тихо сказал:
– Я записался в тестировщики комет.

По шоссе, проходящему возле дома,
Пронеслась ночная машина.
В туалете жалобно капнул кран.
Ночь надвигалась на кровать со всех сторон.
И только луна взидала из окна победно,
с чувством женщины, одержавшей победу
в долгом любовном треугольнике,
и уже считала эти уши своими.
– Я записался в тестировщики комет.

...и провалилась в тягучий сон.
Или сном была вот эта ночная картинка?

...Наутро выяснилось, что речь шла
о каком-то приложении для телефона.
Оно называется «Комета», и надо его тестировать.
За это даже не платят, и на кой время-то тратить зря.

Но долго-долго она ещё считала себя героиней рассказа Брэдбери,
И думала, что если бы всё так и было,
Она бы сошла с ума в разлуке,
Но огромному космосу, конечно,
Очень-очень бы повезло.

Памяти Александра Башлачёва

гляди, оно не страшное совсем.
оно похоже на аэродром.
доступно для посадки сразу всем,
со всеми остановками в земном.

смотри, оно бескрайнее как ноль.
вибрирует, стеклянцем дребезжа,
пока гортань испытывает боль
на уровне восьмого этажа.

щеколда воспаряется легко,
и легкие как бабочка внутри.
по небу расплескалось молоко.
застыли фонари как звонари.

и кто тебя удержит февралём,
когда пространство выгнулось в спираль,
и тянется в оконный твой проём
совсем другой сияющий февраль.

смотри, какое главное оно.
но пусть проснется тот, кто рядом спит.
тогда и не откроется окно,
и рама над землей не заскрипит.

Елене Башлачёвой

Что до вопросов веры,
верую в северсталь.
Едет автобус серый
через большой февраль

трассами номерными.
Горы, поля, мосты.
Прутьями ледяными
здесь борщевик застыл.

Где-то дымят заводы,
льдом заросла Шексна.
Смотрит во двор свободы
женщина у окна.

Бродит по капиллярам
лунный прозрачный свет.
Еду я крутояром,
передаю привет.

Тот, кто его услышит,
ищет небесный край.
Только не надо тише.
Громче, прошу, играй.

Пусть согревает солнце
серых твоих овец.
всех, кто однажды вернётся
в вечный Череповец.

Алексей МОШКОВ

МЁРТВАЯ ЗЫБЬ

Представляй, что ты уже труп, когда покидаешь кровать,
и не стремись ни к чему, если уж занесло сюда,
но помни, что скоро наступит тотальная благодать,
поскольку кровь уже отхлестала, откуда раньше текла вода.

Улицы отвыкли от цоканья каблучков и топотни подошв.
Но если засечешь мамашу, шаркающую с малышом,
то загляни ей в глаза и по телу проскрябает дрожь,
будто заглянул самой смерти под капюшон:

такие у мамыши глаза, затянутые пустотой.
Присмотрись к малышу: и с ним что-то не так,
точно он спутал и вылез на этот свет не с той
стороны, но вернулся с того, как вурдалак.

В ночное время вообще лучше не выходить.
Для спокойствия поставь ставни и на дверь – засов.
Смотри по ящику, как мойры плетут свою виртуальную нить,
ибо пряжа вся вышла, хоть на нее и ушло все, вплоть до трусов.

На работу ходи с гаечным ключом в руке.
Всем уже наплевать, но грабителей отпугнёт.
В общем, смирись: жизнь выдавливает тебя, как прыщ на щеке,
и ты стуском гноя выстреливаешь вперёд.

В.А.

Помнишь, как на выходные срывал тебя в Питер, где
мы бродили по Невскому, отражаясь в оголевшей воде,
петляли по узким улочкам в поисках своих двойников,
но находили лишь друг друга, как правило, уже без трусов
на огромной кровати, в пентхаусе, на семнадцатом этаже,
и мир за окном был неотличим от папье-маше.

Алексей Мошков родился (1983) и живет в Кондопоге (Республика Карелия). Закончил Литературный институт им. Горького. Как литературный критик публиковался в журналах Ното Legens, «Волга», «Урал», «Знамя», «Семь искусств», а также в интернет-журналах Литература, «Формаслов», «Кварт» и на портале Textura. Работает политическим обозревателем.

Помнишь, наши путешествия в Пномпень и Бангкок с их шокирующей экзотикой, на которую так горазд восток, даже если смотреть со стороны, не говоря уже – изнутри, что и очутившись в кварталах, где горят красные фонари, азиатские шлюхи, точно чувствуя, обходили меня стороной, что мне ничего не нужно, кроме тебя одной.

Помнишь, как, заблудившись, встречали рождество на берегу Сены, и ты, точно в детстве, радовалась каждому пустяку, как блуждали по Монпарнасу, как, следя за черным котом, плутали в его «неврозах», пока, продрогнув, не оказывались в том заведении, где даже официантки расхаживали без белья, но я этого не заметил, поскольку смотрел на одну тебя.

Помнишь, вояжи по Восточной Европе, как будто бы без цели и смысла, но собой являющие известный «процесс» с неизбежным оправдательным приговором в его конце, выраженном в добродушной улыбке на прокопченном лице того самого графа, что лично встречал нас у ворот каждой гостиницы, чтоб не вышло как-то наоборот.

Помнишь, наши почти паломничества на Алтай и Тибет, где в разряженном воздухе мы приобщались к тому, чего нет в реальности, но, тем не менее, реально, как ты, как я, как та, чей приход оглашается криками воронья, в чьих глазах мне открылись картины загробных мест, где я бы тебя отыскал и среди тьмы невест.

Но что толку терзать связки, зная, что получишь в ответ, когда живешь тихо, истово экономя воду и электрический свет, не позволяя ничего лишнего, чуть ли не на хлебе с водой, что, впрочем, не отменяет, что все это было в другой жизни – в параллельной вселенной, точнее, в одной из них, – о которой ты все забыла, но я помню – за нас двоих.

Стансы

К концу трудового дня мысли слипаются, как семечки в козинаке, что уже не можешь вспомнить, как очутился в этой клоаке, где на каждом шагу, на каждом углу – тайные знаки, как секретные инструкции на древнеегипетском саркофаге, что на скорбном опыте сливаются с белизной бумаги, пока отяжелевшим телом, как приказавшая жить долго и счастливо домна, бредешь с работы до дома.

К вечеру даже компас не разбирает, какой где полюс. Фонари не включаются, точно боясь того, что может таиться во мраке. Возле остановки, у которой не останавливается ни один автобус, старый бомж, усердно роющийся в мусорном баке,

будто вдруг осознав, что это мгновение не повторится,
замирает, выхаркнув, что есть еще порох в пороховницах,
и, схватившись за сердце, складывается в лужу,
надо думать, оттого, что ничего не наскреб на ужин.

Невдалеке проскрежетала старуха с клюкой и сумкой
на колесиках, погружаясь в вечерний сумрак,
как в воды Леты, будто только что вынырнула оттуда
и появилась здесь, чтоб я стал свидетелем чуда,
от которого мороз по коже и способность к речи
восстановится, только когда холод встряхнет за плечи.

Мимо пронесся катафалк, символизирующий лодку.
За ним полный автобус родни, едущей пить водку,
поскольку поминки лучше устраивать ночью,
чтоб еще при жизни встретиться с тьмой воочью.
Да оно и дешевле, хоть в этом случае и не ищут выгод,
но какая разница, когда уже сделан последний выдох?

Тихо застыла скорая помощь у моего подъезда,
поджидая меня, как заждавшаяся невеста,
но по тому, как из дверей два похожих на клоунов санитара
выволокли черный мешок, вышло, что мы не пара
с нею сегодня – бракосочетание не состоится,
будто есть ещё порох, есть ещё порох в пороховницах!

Гудение лифта осело в сознании механическим бредом,
давая понять, что здесь ты уже навсегда, а не как полагал – проездом:
монотонная повторяемость действий, их доведение до автоматизма
сдвигает модус человеческого бытие в сторону механизма,
главным свойством которого становится при- и вообще годность,
что в своей перспективе переходит в осёдлость.

В квартире мертвая тишина, распластавшаяся на облезлых стенах,
облупившемся потолке, как пленка бесцветной крови в бетонных венах,
что ей под стать застывает, даже не вскрикнув, въехав коленом
в тумбочку, словно памятник всем не случившимся переменам,
и так стоишь, пока не обнаруживаешь себя на кухне перед стаканом водки,
ясно сознавая, что уже истаскал все сотканые парками шмотки,
и дальше не то чтобы некуда, но дошёл до того предела,
когда уже мир иной оправдывает существование тела.

С неба мелко каплет. Под ногой – вода,
как питательная, естественная среда

для чужой жизни, в которой ты, сродни
инородному телу, проходишь сквозь ненужные дни.

И в конце каждого, как экспресс без колес,
изнутри замираешь, точно немой вопрос.

И пустота, в своих начинаниях не знающая неудач,
разрастается, надувая тебя, как мяч.

Кажется, что еще немного и лопнешь, оставив пятно,
наподобье того, если вдруг сиганешь в окно

с семнадцатого этажа, но на то она и пустота,
чтоб плодятся сколь угодно много и на любых местах,

не превышать свой объем, равный ничто,
который может ощутить, разве что человек в пальто.

Кто-то вроде меня, шлепающий по воде,
не понимая, сколько времени и, тем более, где

он сейчас находится, пока скрежет дверной
ручки не возвестит, что пришел домой.

Можно разуться, включить свет, сыграть на водопроводной трубе,
но вместо этого в темноте застываешь, как памятник самому себе.

И если не приглядеться, то и не отличить в ночах
себя от темноты, тобой сгустившейся до кирпича.

Так превращаются в невольных каменщиков, и растет стена,
но в какую сторону не повернись, точно всего одна

сторона и осталась от света с его четырьмя.
И только одна стена и ничего кроме.

Вакуум, мертвая зыбь, абсолютный покой.
И захлебываешься стоячей водой.

Вот уже десять лет, как
я работаю охранником в «Пятерочке»: 2/2
по 12 часов брожу по торговому залу, пытаюсь
выйти из этого лабиринта, но отсутствие
заветной нити делает возможным
мое продвижение только вглубь – куда
еще не ступала нога чудовища – порождения
моей подписи в трудовом договоре – с Днем
рождения, мой неожиданный гомункул! – именно
в День рождения моей матери, точно

замыкая какую цепь, проклятый круг!: колесо сансары в виде циферблата будильника, отсчитывающего мое утраченное время, поиски которого, даже если на них пуститься, останутся бесплодными, как земля: десяти лет вполне достаточно для того, чтобы так сжиться с монстром, чтоб перестать себя отличать от него. И, глядя в зеркало, кого я там вижу? Точнее – кого я могу там видеть, если потеряно уже столько, что пробирает такое чувство, что – все, конец, достиг той точки, начиная с которой возвращение к входу, который и является выходом, уже невозможно, в особенности, если судить по чудовищу: его габаритам и отменно богатырскому здоровью. И нынче мне не остается ничего другого, как двигаться дальше вглубь (-вниз!), пока мои плечи не коснутся носков, а голова не уйдет под землю – естественное следствие моей доблестной трудовой карьеры по выработке пустого времени – этой питательной – с комплексом всех необходимых витамин и минеральных веществ – пищи для жизнедеятельности чудовища, в которое я обратился, выполняя священный долг перед обществом и государством, а проще – обеспечивая себе прокорм, поскольку жизнь, просто жизнь, жизнь сама по себе – должна почему-то длиться, несмотря ни на что и даже той ценой, которую я плачу 2/2. 2/2. И чем дальше вглубь, тем все равнодушнее приемлешь эту чужую среднестатистическую судьбу.

Осень выкручивает суставы – что аж крошка скрипит на зубах, и с этим не свыкнуться, как с собой, – давя в корне упрямство и робость, – что скрючился под гнилым одеяльцем, в варежках и шерстяных носках, но тепла ни на гран, точно тело к нему потеряло способность.

На лекарства нет денег, впрочем, их нет уже ни на что. Не пойми, как душа еще держится – какова безрассудная доблесть! Пора утепляться – есть еще старый плед и худое пальто, но для этого надо подняться, а на это – уже не сподоблюсь,

Лютое время, когда жизнь прокатывается по тебе паровым катком, а раньше – без устали! – толкал ее в гору, точно Сизиф свой камень. Впрочем, любая дорога заканчивается глухим тупиком, так что все равно по какой из них шевелить ногами.

И только собачья грызня в крошащихся, как печенье, костях,
вдавливающая тебя в себя самого, как неподъемно-свинцовое небо,
и не дает забыть, что этот в варежках и шерстяных носках –
все еще жив. Хотя и без разницы, если б уже им не был.

Стоит открыть глаза – и тошнота, точно благая весть,
разрастается в клетках, будто на то, что вокруг – ответ.
И только сигарета примиряет меня с тем, что есть,
неудержимо приближая к тому, чего нет.
И это радует, как будто добрел до города N:
пустые, извилистые улочки и в домах – ни души.
Люди, как те самые пьесы, что в одночасье сошли со сцен,
поскольку лицедеям стало некому здесь служить.
Таверны открыты, но только вино
еще воюет со временем: присядем и отхлебнём.
Что может быть лучше, чем замызганное окно,
в котором, даже вооружившись увеличительным стеклом,
не разглядеть человека. Только облупившиеся стены кругом,
нависающие над улицей так, что свет лучезарных небес,
преломляясь, возвращается восвояси, чтобы о нем
не возникло и мысли, что когда-то был, а потом исчез.
Поэтому здесь стояла б непроглядная тьма, если б не фонари,
если б не свечи, то как различить графин,
за которым, сколько ни сиди, не дождешься зари,
чтоб войти в новый день без веских на то причин,
которые приходится выдумывать, точно уже известный рассказ:
ещё один мутный день, что твой старенький дилижанс,
в котором тебе зарезервировано место по приглашенью на казнь,
отказаться от которого невозможно, чтоб не упустить свой шанс
непонятно на что, но, по слухам, на будущее – расчёт
на движение: посмотри на стрелки часов, отсчитывающие то, что всего верней.
Что, впрочем, не защитит от лютующих банд, не прочь поживиться за счёт
кем-то нажитого добра, но это меньшее из зол в отсутствие лошадей.
И оттягивая момент, – когда же придется занять своё
место, как время у жизни, идущей, как подсказывает чувство, ко дну,
то есть в предчувствие катастрофы, когда, по сути, за чужое залоговое враньё
нужно будет держать ответ, – я закуриваю ещё одну.
И рука тянется к графину, но он отвратительно пуст,
как намёк на то, что меня уже заждался мой скудный багаж.
И вот я <не> на своём месте в тех же поисках, что и Пруст,
уставившись на – в окошечке дилижанса – не сменяющийся пейзаж.

В.А.

Время для нас перестало идти, как часы без пружины.
Это и есть наше настоящее, в котором следствие не отличить от причины,
все перевернуто с ног на голову и ни одной метлой не навести порядок,
поскольку уже никто не помнит, что это значит и как вообще надо.
Наша жизнь превратилась в змею, в хвост вцепившуюся себя столь остервенело,
что для того, чтобы сдвинуть эту конструкцию, надо избавиться от лишнего тела,
ибо будущее не наступает просто так, оно с чего-то должно начаться
и вовсе необязательно с катастрофы, рвущей тебя на части –
достаточно, выбив из-под себя табуретку, уйти в паденье,
на время победив гравитацию за счет отсроченного приземления,
когда душа, истомленная безвременьем, то ли потеряв, то ли обретя опору,
устремляется в неизвестность по солнечному коридору,
недоступному глазу, поэтому все, что ты сможешь увидеть – это только тело,
застывшее в том полете, который веревка не дает довести до своего предела,
что больше всего отражается на лице – в его незаконченном мышц движении –
в котором наша жизнь, кажется, нашла достойное себя выражение,
уходя навсегда в прошлое – под будущее освобождая пространство,
в котором тебе придется сперва прибратся.

Странное пробирает чувство, когда понимаешь, что не осталось
ничего, за чтобы держаться, – только воздух, но последний не та опора,
ежели ты – не птица:
грандиозные планы юности накрылись известным тазом, в котором уже
отражается старость,
и нет ничего, что могло б помешать ей, как в зеркало, в тебя вглядеться.
В теле непроходящая слабость, но ясность мысли ничего не прощает
(тут лучше бы ни о чем не думать, а ещё лучше – так вообще не просыпаться).
Что может быть важнее, чем еще при жизни, которую чем дальше,
тем все менее ощущаешь,
отрепетировать свою смерть, если сам не птица (и глаза начинают слипаться),
а вокруг только воздух и не то чтобы даже дух перехватывает от того, что камнем
летишь к земле – ты давно на ней и не силах подняться:
кости вроде бы целы, но пуще их раздробленности в прах/песок/порошок память
вдавливает в грунт (и глаза продолжают слипаться):
и не то чтоб сожаления даже, но упрямее факта: не то, не так и не это
(в членах стремительно нарастает немощь, как высшее благо).
И сон накатывает как генеральная репетиция смерти, на премьеру которой
все билеты
распроданы загодя, и фурор неотвратим, как Итака
в конце пути, коли не птица, а вокруг – только воздух и сам – камнем
лежишь на земле, совмещая в себе процесс и результат паденья.
И глаз уже не разлепить: вокруг одна темнота, та самая, в которую все мы канем.
Как синоним освобождения.

БРОШКИН

Рассказ

Диня долбил дом. У него уже был перед входом высокий, рядов в пять или шесть забор, и он хотел ещё сделать навес, чтоб защищал от дождя и другого плохого, но так как времени оставалось немного и опасное чувство волновало его, он решил для начала разобраться с внутренкой.

Взяв кирку, он подошёл к отвесной скале и стал углубляться в неё. Серые кубики рассыпались под одинаковыми ударами, рисуя стеклянные крапинки одинаковых брызг, и коридор быстро рос, петляя в каменном пятнистом пространстве. Прокопав достаточно далеко и сделав достаточное количество тупиков и перекрёстков, он стал оформлять спальню, но предварительно вырубил перед входом небольшую, два на четыре полку для сундуков, чтобы, возвращаясь домой, класть в них предметы. На этот счёт у него были чёткие принципы, и сундуки он никогда не таскал с собой.

Со спальни нельзя было переборщить, ведь наученный опытом, он уже знал, чем гигантизм обычно кончается. А вместе с тем и малюсенькой, детской, ему уже не хотелось. Родители нервничали. Мамин голос, как чайка, носился снаружи, крича, чтобы папа Диню наконец-таки покормил. И опасность была, как и всегда: что его кто-то прервёт на самом ответственном месте.

Он выбрал середину, не большое, не маленькое. И помещение выходило прекрасным: идеальный кубик серых, в кирпичной текстуре стен, а посередине – столб для спанья. Только бесформенный бежевый нарост, почему-то оставшийся в одном из верхних углов, портил всё впечатление, и Диня, застыв с поднятым над клавишей пальцем, как раз прикидывал, как побыстрей добраться к нему, когда в районе двери заколыхалось:

– Есть пойдём! – сказал невидимый папа. – Чё, не слышишь?

– Ну папа! Ну ещё чуть-чуть!

Диня жалобно протянул.

– Так, нет, иди! – папа ответил строго.

Впрочем, в его голосе содержалось сомнение, а может задумчивость, а может что-то ещё, и Диня, не прекращая строить лестницу к выступу, решил зайти по-другому:

– Ну, папа! Сам же из меня игромана сделал! Мне плохо будет, если уйду!

Покачавшись в проёме, папа махнул рукой и ушёл обратно на кухню. А насчёт спального столба можно было бы, конечно, сделать так, чтобы он держался бы на тонкой, в один кубик, ноге. Тогда на спальную площадку приходилось бы взбираться, каждый раз строя, и тут же уничтожая ступеньки. Но так как это было неудобно, то Дине пришла в голову мысль, что...

– Ты чего тут сидишь!? – влетев в комнату, мама, как и всегда, заругалась. – Я вам что говорила? Я вам что говорила-то, а?

Её обвиняющий голос, не прерываясь ни на миг, удалился в направлении кухни, и там дополнился гулом виноватого папиного. Было похоже на красивую музыку.

Вздыхнув, Диня залез на площадку, поставил на гибернацию и поплёлся на шум.

– ...ли вы потому что! Я сколько могу за вами бегать? А? Вы сами-то что-то можете? Или я до гроба должна за вами бегать и всё за вас делать? Где тапки? Тапки где? – закричала мама, загру-

жавшая посудомойку, при виде неудачного сына. Диня сел на стул и стал пилить вилкой половину холодной картохи.

– Ну хватит, чё ты... – смиренно протянул сидящий за столом и копающийся в смартфоне папа. – Знаешь ведь, что без спальни бывает...

Он быстрым взглядом встретил взгляд сына, скользнул по его тарелке, и Диня всё понял без слов. Да, спорить с ней в такие моменты и вправду была печалька, у неё та самая «точка бифрукции» шла, и Диня, дождавшись, когда мамины глаза заскользят в его направлении, отправил в рот один из безвкусных кусков. И если лестницу сделать с разрывами, так, что с одной ступеньки надо будет прыгать к другой, то это избавит и от сложностей с разрушением, и надёжно его защитит. (Жуя, Диня улыбнулся мыслям: от них было хорошо и тепло, словно внутри, где-то в районе желудка, что-то барахталось и кипело.) Ведь даже если Криперы проникнут в дом, а они хоть и тупые и вряд ли пройдут по созданному им лабиринту, но бывает всякое – вон, Sliceban писал, как они однажды сгенерировались прямо в бункере у него, так вот, даже если пройдут, то не смогут взобраться по лестнице, так как не умеют прыгать! Пусть чуть больше времени на это уйдёт, ну, чтобы построить столбы, а потом лишние кубики убрать, но зато спальня станет действительно безопасной...

– ...и можно будет тогда на этой платформе спать! – задохнувшись, он продолжил рассказывать. – А то меня в прошлый раз... Я отошёл от стола, и...

– Слушай, ты опять?! – с раздражением сказал папа. – Я тебе сколько раз говорил: понятно всё объясняй!

– Да я платформу себе строю...

Расстроился Диня. Ему было и самому неприятно, что он «аутист», хотя играл он только на многопользовательском режиме.

– Ну, молодец, молодец... – папа поводил рукой над его волосами и сказал маме, глядя в экран: – Пробки-то какие! Час десять показывает!

– Ну, и куда переться? – недовольно произнесла она. – Что ты к ним всё таскаешься и нас тащишь?

– Друг ведь! – обиделся папа. – Да и этого, вон...

– Нужен ты там...

– Слышите, оставьте меня, а? – ещё разок попытался Диня. – Ну, я честно-честно от компа никуда не отойду!

– Так, нет! – отрезал папа. – Поедешь.

– Ну пап! – Диня подпустил стона. – Ну я же не могу общаться с людьми!

– Будешь социализироваться, я сказал! Вон, уже и в школе говорят, что, нафиг, неадекватный.

– Да плюнь ты на него! – мама закричала. – Выгонят из школы, сдадим в детский дом, и всё.

Движения, которыми она управлялась с посудой, были не менее раздражёнными, чем её голос, и казалось, что даже посуда несёт часть общей вины. От такого Дине особенно хотелось укрыться, и, выбрав момент, когда мама подзабыла о нём и её руганья стала чуть более обобщённой, он подsunул ей едва тронутую тарелку и потёк к выходу с кухни. Мама на автомате счистила обеды в мусорный бак, а тарелку сунула в посудомойку, и продолжила уже по поводу новостей:

– Ну когда же это всё кончится? Как достало это ворьё! Чтоб он сдох, наконец, этот изверг!

А у Дини и впрямь чайник кипятился внутри. То есть даже не в сердце, а где-то совсем глубоко. От предчувствия счастья было настолько жарко, что почти невозможно было терпеть. И когда он бежал к компьютеру, в его сознании передвигались одинаковые серые кубики, а перед глазами как живая стояла картинка мира, которую он мечтал воплотить.

По пути пришлось играть в «Standoff» на планшете. Любимая тут, видите ли, не шла, разрабы не удосужились пропатчить старые версии операционки, а для «танков» и «самолётов» не

хватало внутренней памяти, хотя он уже много раз просил папу почистить кеш. И хотя рейтинг чувствовал себя неуютно – и управление неточное, и машину трясёт, – Диня всё-таки решил, что сумеет приспособиться и показать дошколятам, сидящим в Тетрах перед гнушками и управляющих игровухами, кто такой DevilBoss и почему у него в поле ранга, раскинув крылья, золотой феникс горит.

Чувство неравной борьбы его захватило. Это было как на соревнованиях, как в финале, когда коварные соперники сделали всё, чтобы осложнить великому чемпиону жизнь, а вокруг ревёт и беснуется тысячеглазый, жадный до сенсации мир. Радуюсь удачным попаданиям, Диня то восторженно повизгивал, то тихонько бубнил (потому, что половину зрителей раздражало первое, а половину второе), и только-только стал подбираться к балансу, где и хедшоты получают один за одним, и голос звучит так, что родители его не ругают, как оказалось, что семья уже паркуется в каком-то тёмном проезде, с трудом отыскав место в веренице машин.

И, наверное, именно в неожиданности была причина. Мама как всегда резко выхватила планшет, а Диня без подготовки, не оглядевшись, вылез, и от инерции ему показалось, словно с обездуманных трибун все разом набросились на него. Обрушились окружавшие двор высотки. Машины и заборы стали сдавливать, как тоннель. Отовсюду завизжали дети и птицы, кто-то бирикал, кто-то моторно рычал. Проходящие обрывки людей вопили каждый своё, а издали, ото всех сторон нёсся непрерывный шум, как если бы Диню и впрямь кинули в центр начинавшей кипеть кастрюли. В сравнении с тихим посёлком, где он был секунду назад, и где жизнь молчала под небом, аккуратно натянутым на верхушки берёз, всё это выглядело таким ненастоящим кошмаром, что он в искреннем ужасе схватился за мамину руку. И ему очень понравилось, что она обняла его и даже не стала стыдить, а назвала просто «маленьким» и основное недовольство направила на смиренного папу, потребовав, чтобы тот полюбовался на «результаты своих плодов».

В прихожей у дяди Серёжи было как в предбаннике тесно. Да и сама квартира не больше их бани была. Только подобные мысли Диня уже не озвучивал. После одного из первых визитов, когда он удивлённо попытывался, как столько людей могут жить в трёх отсеках, ему сильно влетело от мамы, и он уже не обращал на это внимание, как на какой-то неустрашимый баг. Раздевшись, он побежал играть в детскую комнату.

Ребят было двое: ровесница Лена и пятилетний малыш – он не запомнил ещё, как зовут. По прошлым встречам Диня помнил, что с ними довольно весело было. Лена с интересом наблюдала за «Вайлдкрафтом» (он на «Майник» тогда ещё не подсел), а для мелкого он и вообще оказался авторитетом: за пару нажатий на экран тот готов был любые желания выполнять. Но на этот раз игры почему-то не получилось. Лена, полежав возле него на кровати, сказала, что не понимает, чего в этих квадратах весёлого, и ушла, а вскоре за ней последовал и малыш. И Диня расстроился, а чтобы всем доказать что нет, стал озвучивать развлечение, смеясь, когда находил алмаз, и визжа, когда приближались агрессивные моды.

Не сказать чтобы оставшись один, он всерьёз ощутил возвращение паники. Да, реальность как-то необычно насаивалась на игру, но Диня конечно же понимал, что своё чувство преувеличивает. Но на плече ещё теплилась мамина сочувственная рука, а страх, что великаны-высотки ударами кулаков вот-вот проломают текстуры стен и расплющат его, выглядел вполне достоверным, и он раз за разом возвращался к ощущению тёмного ужаса, который испытал, выйдя из машины во двор. Страх накатывал волна за волной, так что его наконец стало подташнивать. И когда он закрыл глаза, чтоб поглубже в это чувство упасть, то и впрямь испытал десятиэтажную бездну, и тогда уже на полном серьёзе бросил смартфон, схватился за покрывало, и стал орать, что сейчас умрёт, провалившись в неё.

Но взрослые, бубня, пили пиво в гостиной и смотрели футбол. И Диня бегал к ним с жалобами на свои ощущения и вопросами, когда можно будет уйти. Но мама ругалась и прогоняла,

продолжая – «Вот, вот, смотри!» – жаловаться тётке Жене на жизнь, а покрасневший от пива папа был настолько зятанут игрой, что внимания и вовсе не обращал. Наши «жирные миллионеры» снова вдували, и он раздражённо бухтел, а дядя Серёжа согласно кивал головой.

Чувствуя себя всё более неудобно, словно что-то слезливое натянулось и пилит его изнутри, Диня даже рискнул подключиться к Мох'у. Но это сразу стало напоминать изнурительную на два фронта войну. С одной стороны валом валили скелеты и пауки, летали призраки и драконы, и банды злых хотели догнать и убить, а с другой нависали гиганты-высотки и облизывалась пропасть внизу, да и дети постоянно носились, играя то в догонялки, то в прятки, забегая в его комнату, визжа, и даже прыгая по кровати через него. И он, утопая в ударах холодных волн, то изнутри, то снаружи, защищая из последних сил свой оказавшийся под нападением мир, мечтая, чтобы задача упростилась наполовину, Диня дожидался лишь окончания матча, чтобы уехать домой.

Наконец в гостиной задвигалась мебель и зазвенела посуда. «Миллионеры» продули, родителям делать здесь было нечего, и он, словно уже победил, с удвоенной энергией кинулся убежать от окруживших его агрессивов.

Вот почему он так удивился, когда вместо готовой к путешествию мамы в комнату вошёл дядя Серёжа и сочувственно произнёс:

– Ну что, Брошкин ты мой, пойдём прогуляемся хоть?

Причём удивило его даже не крушение мечты, а смешное и щекотное ощущение тёплой руки на затылке. Это было как когда получаешь награду. И Диня, наверное, даже сопротивляться не стал (ведь посредством прогулки припаркованная машина становилась лишь ближе), но вот тут-то в комнату уже и запрыгнула мама, тоном без возражений произнеся:

– Да что его спрашивать! Его спрашивать – он вообще перестанет вставать!

Она резко выхватила смартфон, а когда Диня завыл от неожиданности и обиды, то и вообще демонстративно закинула гаджет на шкаф.

И мир обрушился как-то сразу.

Диня ощутил, что действительно прямо сейчас умрёт.

Он рухнул в прихожей на пол и стал извиваться, ревя, что в этом они виноваты. Однако все оставались безучастны к нему. Глухая толпа стояла напротив входной двери, и каждый смотрел, кто насмешливо, а кто удивлённо. Как на ненормального, как на шоу, на экспонат.

Даже родители непреклонно молчали: папа хмуро, а мама словно опять собиралась ругать.

И силы стали его покидать, а на их место приходила огромная пустота: Диня с ужасом ощутил, что его предали все, и никто не любит.

Надежда оставалась одна, на машину. И Диня, всхлипывая, с трудом поднялся и стал натягивать куртку, путаясь в рукавах. В тёмной квартире он оставался один, из мрака что-то хищно смотрело на него и пощипывало. И только тень недовольной мамы виднелась на лестнице сквозь открытую дверь.

Нетвёрдо дойдя до лифта, он зашёл в тёмный металлический бокс, и они поехали. Там-то мама на его вопрос и ответила, что после прогулки они собираются вернуться в квартиру. И всё, что происходило дальше, было как бы не с ним.

– Па-а-па! – вывалившись на улицу, синюшный, с дрожащими и покрытыми слюной губами, он завизжал. – Пожа-а-алуйста, только не назад! Ну, милый папочка! Ну, чего тебе стоит?! Запрети меня в машине, а я посижу и вас подожду!

Но папа промолчал, и Диня снова завыл, крича, что его заваливают и душат обломки.

А его, хнычущего и цепляющегося за маму, поволокли на площадку детей.

Там кишела орава, визжащая, толквая, отбирающая, мелькающая пятнами лиц. И Диня, хотя, конечно, он раньше ходил в детский сад, захрипел и стал задыхаться, увидев, как просто, как в лаву, Лена с малышом врубилась в незнакомый поток и бесследно исчезли в нём.

Гудела кастрюля, визжали машины, орали птицы, кто-то нёсся, грозя раздавить.

Не было ни правил, ни рейтингов, ни возможности выйти.

И когда к нему подбежало лохмато-очкастое нечто и сунуло в лицо какой-то жёлтый квадрат: «Ня! Сюсай!»

Диня почувствовал, как что-то лопнуло внутри у него.

– Мама! Я какать хочу!

Он истерически завизжал.

Та сначала, как и всегда, заругалась, но потом пригляделась к сыну, изменилась в лице, выхватила у подружки ключи и понеслась за руку с Диней домой.

Было пусто, и внутри что-то неприятно дрожало. Катастрофы не произошло. Они с мамой успели добежать до квартиры, и Диня имел долгую и бесплодную сессию с унитазом, ощущая кислую резь и отвечая на мамины взволнованные вопросы, что вот-вот, вот сейчас, ещё потерпеть немножко, и он наконец умрёт.

Конечно же в итоге он стал для мамы «бесчувственным эгоистом», она «не общалась» с ним, и теперь он лежал под одеялом на детской кровати, тыкая безразлично в экран.

Диня понимал, что не только с ней, но и вообще ни с кем к общению не способен, и всё, что ему хотелось – просто уехать домой. Родимый компьютер с пестрящим во мраке экраном и звонкими в наушниках голосами манил, обещая покой.

Однако вызволять его бесчувственные не собирались. Наоборот, вернувшись с прогулки, они снова уселись в гостиной и стали пить пиво, болтая обо всём на свете, кроме него. Диня и впрямь почувствовал себя брошкиным: вот он, страдает, а до него никому дела нет. И поэтому сделал отсутствующий вид, когда в комнату вошёл дядя Серёжа, сел рядом с ним и стал наблюдать за игрой.

Обычно взрослые заглянут в экран и, что-то спросив для вида, уходят. А этот – сидел и смотрел, и даже задавал вопросы, и так одну, пять, десять минут. Чем дальше это продолжалось, тем было более необычно. И у Дини в груди поперёк его воли стало нарастать смешливое какое-то ощущение: его игрой интересовались, и она как бы становилась важной вдвойне. Он более эмоционально реагировал на события в клетчатом мире, и даже наконец засмеялся, когда музыкальные диски выпали из сундучка.

– А почему ты их не берёшь, раз они редкие? – спросил дядя Серёжа, увидев, как Диня отошёл и за деревьями встал.

– Буду ждать Крипера-музыканта.

– Зачем?

– Потом скелета к нему приведу, он его убьёт, и я заберу вообще все его диски.

– Ничосе! – ещё сильнее удивился взрослый. – Так что, не всё так просто тут?

– Пф-ф-ф!! – хмыкнул Диня и стал ему объяснять про другие премудрости.

Бродя по своему миру и комментируя действия звонким, срывающимся голоском, он забыл и чувствовать пустоту в животе и груди, и наоборот, там стало щеkotно-просторно, словно кто-то щёткой смахивал пыль.

– Динечка, – он так увлёкся, что даже не заметил, как нарисовалась в комнате тётя Женя, – пойдём покушаем. Я картошку с курочкой запекла.

– Не-а... – не взглянув на неё, сказал он, и вдруг почувствовал, насколько голоден.

Ему уже и давно мерещился запах еды, но, отвлечённый игрой и страданием, он не воспринимал его наяву. Пойдя же по коридору, он вдруг осознал, что пахнет чем-то поблескивающим и хрустящим, сладковатым и терпким, горячим, дымным, большим, и он шумно сглотнул, избавляясь от набежавшей слюны.

Дети сидели за столом, поглядывая на него с сочувственным интересом. Перед каждым стояла тарелка с обжаренной, в коричневой корке, картошкой и волокнистыми кусочками курицы.

– Вот, я тебе разобрала, – сказала тётя Женя, ставя такую же перед ним.

Раньше Диня подобного блюда не пробовал. У мамы картошка с сосисками, в забегах гамбургер с фри. И он, конечно же, отказался, так как вид у еды был совсем не товарный. Но так как тётя Женя упрашивала, да и запах лез в нос как какой-нибудь на цыпочках вор, то он всё же попробовал, предварительно отвернувшись и скривившись.

О-о-о!!!

Диня накинудся на горячую картошку и стал закидывать одну за одной. Пропитанная чем-то густым и влажным, она хрустела со звонкостью чипсов, оставляя во рту мясной сытный вкус.

– Ой, умница какой! – приговаривала чужая мама, накладывая добавку. – Кушай, кушай! Мои тоже под жирком за обе щеки метут!

Она стояла сзади своих и, улыбаясь, смотрела. Время от времени она их гладила по головам, и тогда Диня, словно это его поглаживали, хихикал, сжимая плечи. Когда же она вдруг подошла и проделала то же самое с ним, то от сочетания чувств внутри и снаружи ему стало так хорошо и щекотно, что он, как довольный макак, завизжал и шутиливо забарабанил её по руке.

Он всё пытался запомнить странно-вкусное слово, не веря, что картошка может быть такой упоительной. А ещё подначивал мелкого, который всё активнее приставал под его руководством к сестре, делая вид, что хочет своровать у неё из тарелки. Серьёзная Лена выразительно смотрела на Диню и толкала брата локтем.

После ужина он пошёл со всеми в гостиную. Там мужчины с пивом и орешками сидели на диване у телека, а его мама, утопая в бин-беге, читала журнал. Диня выканючил у неё планшет и устроился на полу у стены, а дети стали играть в углу комнаты в «Лего».

– Не-не-не! – Закончив мыть посуду, в комнату вошла тётя Женя. – Хватит гробить ребёнка!

– Ну а что делать-то с ним? – как бы оправдываясь, сказала мама.

– Вон: пусть с детьми поиграет! – Та развела руки. – Динь, ты посмотри, какой там конструктор-то есть!

Он попытался было понуть, а когда тётя Женя отобрала планшет, для достоверности даже поизвивался по полу. Но после сытной еды состояние было каким-то равнодушно-спокойным, и, хотя в конструктор играть совсем не хотелось, Диня на автомате пошёл и принялся конструировать крепостно-спальный столб. Малыш, конечно, как зеркало стал всё за ним повторять. И совсем вскоре Дине стало даже приятно, что он и здесь, в реале, умеет кого-то увлечь за собой. Он комментировал технические решения мелкого, подсказывал, как удобнее и надёжнее строить платформу, и они так увлеклись, что совсем упустили момент, когда из комнаты кто-то ушёл.

Поэтому Диня так резко вздрогнул, заметив, что дети с напряжением и тревогой смотрят вглубь коридора. И резко оглянувшись, решив, что в квартиру проник чужой.

Во мраке шевелилось что-то лохматое.

– А-а-а! – взвизгнул мелкий, вскочив и прижимаясь к сестре. Диня тоже подпрыгнул и растерянно встал рядом с мамой.

– Ну па-па! – Лена недовольно по направлению «чужого» произнесла.

Из темноты, со стороны кухни надвигалась расплывчатая чёрная масса.

– У медведя во бору... – Диня узнал голос дяди Серёжи, – ... грибы ягоды беру...

Тот вышел из коридора на свет, и Диня увидел, что на его голову накинута шуба.

Малыш, радостно пуча глаза, спрятался за сестру, а та сделала защищающий жест и стеснительно засмеялась.

– Мед-ведь не спит... – ритмично покачиваясь и раздвинув руки, взрослый приближался к ним со скоростью зомбака, – всё на вас глядит...

Он сделал паузу, набрал в грудь воздуха, поднял для нападения руку... И в этот миг брат с сестрой вскочили и бросились врассыпную, а Диня остался один.

– За-а-алома-а-аю!

И дядя Серёжа бросился на него.

Нет, Диня, конечно, не испугался. Ведь он видел, кто на самом деле был этот как бы медведь, и знал, что ничего плохого с ним не случится. Но в том-то и дело, что это «как бы» обволокло и растворило его: он прямо-таки видел сквозь мужчину мохнатое ненасытное чудище и верил, что не дядя Серёжа, а оно, именно оно сейчас догонит и схватит!

И от этого ноги словно пропали. Он хватался рукой за пufик, за мамино плечо, пытаясь придать себе ускорение, но не мог сделать и шаг.

А чудище уже было вплотную! Страшное дыхание касалось лица!

И у Дини плыла голова и барабанило сердце – так ему хотелось бежать.

Но он не мог. И только когда лапы монстра уже почти сомкнулись у него на плечах, комната вдруг просияла, ноги вернулись, и Диня, по-малышовски взвизгнув, кинулся убежать.

Стало легко. Пропала голова, и всё наполнил приторно-сладкий страх.

Диня устремился к свету и стал на него карабкаться. Но закричала мама, и он, соскочив с занавесок, рванул в другую сторону, попытавшись забиться уже за телевизор, во тьму. Но его и оттуда прогнали, и тогда Диня, схватив с пола тапки, завизжал и стал ими кидать. Зверь взревел, разъярясь от хедшотов, и Диня снова, как птица, от него ускользнул. Приземлился на спинке дивана за папой – тот не дал защиты, спасая бокал; хохоча, слетел вниз, чтобы спрятаться под свитером тёти Жени – она, колыхаясь от смеха, закричала, что щекотно и отстранила его.

А лапы уже касались! Чудовище скребло по спине, вонзая когтями и грозя разорвать!

Изнемогая от плача и радости, Диня сделал отчаянный последний рывок: сорвался с дивана и рухнул на тёплое мамино тело, обняв вместе с пufиком, и лицом прячась, как в домике, в ней.

Это то и был конец... Ведь только этого и ждал медведядя.

Наросши сзади, он навалился и стал щекотать.

Мама захохотала. И Диня тоже стал хохотать и визжать, умоляя отпустить его и стоная, что он больше не может. Утомление и радость смешивались в продолговатое, оранжевое и сияющее чувство, волнами прокатываясь от головы и до ног. Мамино тело было близко и жарко, и от её объятий и радости веселье устремлялось под облака. Он просил, а чудище всё не унималось. Когти давили и царапали, вгрызаясь в беззащитную плоть. И терпеть это стало невыносимо. Бесильные сладкие судороги всё быстрее побежали через Динино тело, стекая от груди сквозь живот и в промежность, как электрический ток. Такого счастья он ещё не испытывал, и на миг ему стало страшно, что он сейчас и вправду умрёт. С этой мыслью одна из судорог пронзила настолько больно и ярко, ударила таким острым разрядом в паху, что всё вмиг прошло, и наступила утомлённая серая слабость.

«Хватит... Всё... Я описался... Хватит...»

Выдавил Диня, сползая на пол.

Только тут дядя Серёжа от него наконец-то отстал.

– Ну вот и что с тобой делать? – спросила мама, уже когда направлялись домой. Она была за рулём, а папа дремал, откинувшись на пассажирском сиденье.

– Сам понимаешь хоть, что уже совсем неадекватный? – продолжила она. – С детьми разучился общаться. Так, отложи и поговори со мной!

– У-у... – отрицательно хмыкнул Диня. Он как раз чатился с тиммейтами, и было не похоже, чтоб это касалось его.

– Ну а ты что молчишь? – она обратилась к папе.

– А что... – сонно ответил тот. – Пройдёт... Со временем... У меня же прошло.

– Что будем делать? – повторила мама. – В детдом отдавать?

– Давайте... – равнодушно сказал Диня, зная, что ни в какой детдом его не сдадут.

– Ну а что делать-то? – мама нервно спросила. – Ты не слушаешься, катишься вниз, и всё при полном попустительстве папы.

– Ты меня к нему в комнату подсели!

– А мне куда? Вы меня как бы что: выгоняете?

– Нет, живи...

– Вот я на тебя посмотрю, – звонко сказала мама, – когда у тебя свои дети будут, и будут не слушаться, как ты нас сейчас.

– Шутишь? – дерзко ответил Диня, чувствуя, что маме до бифрукации далеко. – Я ж игроман! Какие у меня могут быть дети?

– Ничего себе! – удивилась мама. – Вот это заявленьице! А как ты собираешься жить?

– Да никак. Тупо у компа просижу.

– А работать?

– Эт не-е... Нахлебником. У вас на шее. Сами родили – сами кормите!

– А потом?

– Когда помрёте? Дом продам, и буду дальше катиться.

– А ведь это реальный план! – засмеялся, очнувшись, папа... – Чувак понимает, что мелет. Слышь, шкет, тебя этому кто научил?

– Как кто? Сам!

– Слышь, «сам»! Шнурки ещё завязывать не умеешь. Одиннадцатый, блин, год. Говори, откель услышал сию умную мудрость?

– Да так, блогер один... – придумал на ходу Диня. Он открыл, как получить на этой локации стопроцентный эффект: в коде приложения по стопке ящиков допущен был ляп, и он мог, вставая под определённым углом, стрелять в появляющуюся щель, сам оставаясь неуязвимым.

– Нет, я сдаюсь! – жалобно произнесла мама. – У меня нет уже сил с вами бороться!

– У меня тоже нет сил. – папа медленно повторил.

«Но надо же что-то делать!»

«Ну, давай к психологу отдадим.»

«Отдадим, отдадим... Тут дело не в том, что кто-то придёт и за тебя сделает, а в том, чтобы самому...»

«Что, наслушалась?»

«Да, наслушалась! Люди занимаются с детьми! Гуляют, играют! А ты живёшь, как будто нас нет». – «Почему только я? То про нас говорила, а то про меня». – «Ну, давай... Давай вместе... делать!..» – «Ну ладно ты, слушай... В конце концов... гораздо лучше наркотиков... Представляешь, что было бы...» – «То есть даже так?.. страшного нет... валяется по полу, срётся...» – «...будет с ним в жизни... нормально... в мире ничто не вечно...» – «...с таким подходом как жить...»

И они ещё долго, долго-долго, до самого конца поездки так спорили. Но только Диня не слушал их. Их голоса действительно звучали для него как красивая музыка. Машину обволакивала уютная тьма, и сонно светили фары. Родители были рядом, и больше не о чем было мечтать. Впереди ждали удобное кресло, мерцающий экран и бесконечные часы в занимательном мире. И Диня был полон ощущения расслабленности и покоя, лени и равнодушия, удовольствия и комфорта, словно уже перенёсся в свой заветный, безопасный и радостный дом.

Сергей СОЛОУХ

НОВЫЕ ШЕСТЬ ШТУК

Роскошь иметь убеждения,
И следовать принципам – шик.
Сидит на скамейке старик,
И светел, и прост его лик.

Его благородно старение.
Он чист словно белый металл.
Алхимик его рассчитал
И лишнего не позволял.

Хорошо без падежей
Праздник в городе Москва
Скоро будет и без рода
Москва вышел всех вперед
Как в Бомбее на английском
Будут говорить на русском
Все носители его
И носительницы тоже
Платьев из бутиков ГУМ
А иначе против ветра
А иначе как не родной
Что... и не есть хорошо.

Сергей Солоух родился в 1959 году в Ленинске-Кузнецком. Окончил Кузбасский политехнический институт. Автор многих книг (романы, рассказы, переводы, публицистика), в том числе «Комментариев к русскому переводу романа Ярослава Гашека „Похождения бравого солдата Швейка“». Печатался в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и др. В «Волге» публикуется с 1993 года. Живет в Кемерово.

Переоденься как Ювачев в Хармса,
Или как в лобстера омар,
Ведь ты еще совсем не стар,
Не упускай ни дня, ни шанса.

Словно Файнзильберг в Илью Ильфа
Попробуй и перепакуйся,
И никуда потом не суйся,
Стой как в Башкирии Уфа.

Стань как Кокшайск Йошкар-Олою,
Пересобачь дедлайн в цейтнот,
Попробуй спеть наоборот,
Ну, сделай что-нибудь с собою.

Товарищ большеротый мой,
Кривой, тупой, медноголовый
Могли б жевать мы как коровы
Всю жизнь. И тишина, покой,

Товарищ сиволапый мой,
Широколицый, слепошарый,
На спины всей нашей отары,
Крошилась б как табак сухой,

Товарищ малахольный мой,
Но мы решили, что здоровы,
И если не скворцы, то совы,
И можем петь, свистать. И рой,

Товарищ мой глухонемой,
По небу полночи летает,
Слойкой ореховой икает!
Присесть, вернуться б, да, какой...

Сперма не пахнет рыбой,
Рыбой пахнет носитель.
Жизнь – беспардонный учитель,
Нас обижающий, ибо...

Сперма не пахнет рыбой,
Рыбой пахнет приемник.
Вот мы и ржем неумны,
А жизнь понимает, ибо...

Неоконченный стишок,
Ни свирель, ни пастушок.

Поезд в городе Торжок,
За околицей ложок.

Низкий стиль, высокий слог,
С дыркой пустой мешок,

Неоконченный стишок,
Выпьем, брат, на посошок.

Борис ДЫШЛЕНКО

Борис Иванович Дышленко (1941–2015) – писатель и художник ленинградской «второй культуры», один из первых лауреатов Премии Андрея Белого (1980), постоянный автор журналов «Часы», «Обводный канал», печатался в «Гранях», альманахе «Лепрозорий – 23», составленном К. Кузьминским. Его первый авторский сборник «Повести и рассказы» вышел также в самиздате, в серии «Библиотека журнала “Обводный канал”» (1984).

С конца 1980-х, когда публикационные возможности расширяются, его тексты появляются в журналах «Звезда», «Нева», «Родник»; в издательстве журнала «Звезда» печатается сборник «На цыпочках» (1997), репрезентативно собирающий знаковые произведения 1960–80-х годов. Постепенно выходят и крупные формы – роман «Контур и силуэт» под названием «Ложный силуэт» публикует в 1999 г. журнал «Нева»; ранний роман «Созвездие Близнецов» в 2009 г. печатается в «Звезде»; отдельными книгами выходят «Контур и силуэт» (ДЕАН, 2002) и итоговый для автора текст, результат 20-летней работы – «Людмила. Детективная поэма» (Юолукка, 2012).

Новый виток интереса к Б. Дышленко возникает в последние годы. В 2024 г. издательство «Ibicus Press» выпускает впервые собранный полностью цикл «Жернов и общественные процессы». 2026 год, юбилейный для писателя, начался с публикации в журнале «Звезда» неизданной повести «Swanland», а в издательстве «Престиж Бук» готовится Собрание сочинений в 4 томах.

Неизданные и ранее не известные читателю тексты составляют и сегодняшнюю публикацию. Это произведения, сохранившиеся у сына писателя – Ивана Дышленко, открывшего для исследования и издания папку с электронными файлами отца.

Для публикации отобраны только художественные тексты и те, которые представляются законченными (или практически законченными). Они разнообразны в жанровом отношении: микро-рассказы, зарисовки путешественника, пьеса. Как представляется, издание их вместе не только показывает возможности автора и открывает новые его стороны, но и лишний раз доказывает удивительное единство и устойчивость важных для Дышленко тем, ракурсов и даже писательских технологий.

Микро-рассказы пишутся в период 2007–2011 гг. Три из них в свое время были отобраны для публикации в 5-м сетевом номере возрожденной Алексеем Давыденковым «Топки». Их обнаружение создает контекст для цикла миниатюр «Малые Шведки и мимолётные упоминания о иных мирах и окрестностях» (Звезда. 2010. № 7), которые прежде представляли экспериментальной для Дышленко жанровой формой. Теперь же видна и работа над формой миниатюры, и концептуально-тематическая общность проблематики, очевидно, занимавшей Дышленко.

«Впечатления» составляет цикл миниатюр, написанных после поездки в Америку к брату – художнику Юрию Дышленко в 1991 году. Непрерывный интеллектуальный диалог братьев и духовное/душевное близничество – один из лейтмотивов творчества Бориса Дышленко. Неслучайно в образах «Впечатлений» возникают отсылки и к его раннему роману «Созвездие Близнецов», герой которого Коля – обобщенный образ братьев Дышленко и еще больше – их художественной оптики, и к роману «Контур и силуэт», законченному в 1996 году и отзывающемуся на смерть Юрия.

Пьеса «Угорь» открывает Дышленко-драматурга, до сих пор мало известного, хотя другая его драматургическая вещь «Канатоходец» в 2010 году опубликована на сайте Премии Андрея Белого. Обе пьесы строятся на излюбленном дышленковском принципе неразличения или подмены персонажей: в «Канатоходце» актер, играющий героя, постепенно вытесняет его; в «Угре» дети Владик, Стасик, Ростик – Владислав, Станислав и Ростислав – сливаются для отца в одном имени Слава. В том и другом случаях этот эффект неразличения дает и интригу, развивающую действие, и экзистенциальную тревогу – сопровождающий интригу саспенс. Однако важнее этой внешней за-

нимательности само удержание текста в балансирующем состоянии: между попыткой уловления смысла происходящего и невозможностью придания этому уловлению формы.

Здесь базовая особенность эстетики и поэтики Бориса Дышленко: главным занимающим его вопросом и одновременно эффектом становится неувовимость образа / состояния / идеи. В его тезаурусе эта неувовимость определяется через метафору порога и пороговую оптику: удержание текста на пороге оформления или становления, переключение его с поиска отгадки на суть самой загадки, бесконечное смысловое рассеивание, подвешивающее в воздухе саму возможность сформулировать происходящее. Поэтому его персонажи меняют имена и подменяют друг друга, события не достигают своего свершения или предстают своей оборотной стороной, а читатель получает не ответы, а опыт остранения вопроса. Потому и произведения как будто не завершаются, образуя циклы и серии, отражаясь друг в друге, рифмуя образы и мотивы, прорабатывая варианты сюжетов и жанров – формируя единый свертхтекст, в котором все элементы всегда должны оставаться «в пути».

Безусловно, стоит иметь в виду, что тексты не готовились к публикации автором и, возможно, не представляют финальную редакцию. Однако даже в этом виде они способны доставить удовольствие от погружения в «пороговую» мастерскую Бориса Дышленко.

Елена Тюленева

РАССКАЗЫ И ПЬЕСА

Дырка

Слышу сзади кто-то: Браток, эй, браток! Повернулся – солдатик. Хорошо, вроде, обстрелянный, бывалый, а лет этак за тридцать. Чего тебе, говорю, дядя? А он мне: Да так, говорит, табачком с тобой хочу поделиться. Я удивился: бывает, что попросят, а чтоб сам предложил, так нет. Что это ты, говорю, с какой, говорю, стати? А он мне: А ты мне за это услугу окажешь. Давай, говорю, если дело честное. Честное, говорит, уж куда честней. Ну, что делать надо? Сейчас, говорит. Присел, размотал обмотку, газету достал. Вот, говорит, свезти да передать, и всех тебе дел. Кому, говорю? Подойдет на станции... А сам все улыбается, улыбается... Дал мне десять папиросок, такие на фронте попадались: без мундштука, вроде папиросы, но скручены на фабрике, немецкие или австрийские цыгарки. Слабоваты против наших, но выбирать не приходится, да и удобно: завернул в тряпочку и в гимнастерку, в карман. Надо – закурил, сворачивать не приходится. А что, говорю, за газета? Читать умеешь? Грамотный. Тогда читай. Читаю: «Известия». А тут дырка. Вот дырку и свези. А сам все улыбается, улыбается...

А вы сами, извиняюсь, вроде как из жидов будете? Верно. А как же вы, говорю, против своих-то? Чего это, говорит, против своих? черту они свои, а не мне. Так комиссары, говорю, все больше из жидов. Как же, говорю, против своего, говорю, брата. Против брата, говорит? Вижу, погрустнел. Верно, говорит, против брата, в самую точку ты, Коля, попал, брат у меня в чека служит. Так как же, извиняюсь, ваши-то все за красных, как же, говорю, так? Не все, говорит, Коля, это, которые на виду – им подай все и сразу. А в местечках ты, Коля, не бывал. Там народ трудовой: кто кует, кто лудит, кто в извозе. Да что ты, говорит, Коля, мы все отсюда. Нам, главное, Россию отстоять.

А только ты мне, Коля, верь.

А глаза ясные-ясные, как стекло. Крыщан Иванович, вот думаю, еще один Бог весть откуда. Немец, что ли. Имя, говорю, извиняюсь, назовите. Какое-то оно непривычное, вроде не хри-

стианское. Тут они все трое как расхохочутся. Не христианское? ха-ха-ха! Не христианское! Ну, Николай, уморил! Да куда ж христианней – это русский говорит, – когда имя само Христиан. Извините, говорю, я не знал, уж как-то вы его на свой манер произнесите, что и не узнать. Так откуда ж он все-таки, спрашивает этот русский? Говоришь, губернию определить не можешь? Значит, не скобарь, не ярославец, Не из Вологды и не из Рязани (там грибы с глазами), русский, говоришь, а губернию не знаешь. А не офицер ли этот твой бывалый? Дырку, говоришь, передать?

Наш бьет, так пеной исходит, а этот нет, и не знаешь, когда жажнет. Бьет и улыбается, спокойный такой.

А Крыщан лежит спокойный, будто и не бегал минуту назад, лежит, а во лбу дырка.

Людоед

В детстве я очень боялся людоедов. Когда к нам в дом приходили наши большие с громкими голосами гости, я от страха забирался куда-нибудь подальше, в другую комнату, в угол, и сидел там между родительской кроватью и туалетным столиком, вздрагивая от доносившихся туда взрывов уверенного взрослого веселья. Меня находили, вытаскивали оттуда, приводили в общую комнату, где за столом пировали гости, шумно одобряющие меня мужчины и женщины, и заставляли с выражением читать стихи. Я читал, но получалось плохо, я запинаясь, путался, сбивался, потом начинал плакать. Тогда мне давали что-нибудь сладкое и отпускали.

Однажды, проходя по саду, я увидел сидящих на скамейке Ларису Адамовну и Александра Андреевича. Заметив меня, они переменились, как будто до этого были немного другими. Сидят на скамейке, улыбаются мне, красные, потные, дышат... Я смутился, постоял немного и ушел. Потом, когда гости уже все разошлись, я спросил маму: «Мама, Александр Андреевич людоед?» «Ну что ты, деточка! – ответила мама. – С чего ты взял?» Мама пожала плечами.

Вчера ко мне пришел Николай Константинович Людоед. Людоед это его фамилия. Странная фамилия, непонятно, почему такая. Может быть, когда-то окружавшие его отдаленного предка соседи прозвали его так за дурной и сварливый характер. Сам Николай Константинович человек добродушный и полный, пышные светлые усы, двое детей. Он любит играть в шахматы и курит сигары. Но в разговоре его обычно голубые глаза иногда вдруг загораются красноватым огнем.

Вечереет, но пока еще светло. Я иду по улице в верхней части нашего небольшого города. Дети, завидев меня, бегут на расстоянии сбоку и кричат: «Людоед, людоед!» Кто-то распустил по городу такой слух.

Танец маленьких лебедей

За торговым центром протянулся большой грязный пустырь. Вероятно, впоследствии здесь предполагалось что-нибудь построить, но пока он был чем-то вроде свалки: просто обширное, относительно ровное место, заросшее сорной травой, среди которой кое-где попадались островки строительного мусора, выброшенные ненужные вещи, слишком громоздкие для помойки; тускло блестящие полиэтиленовые пакеты, да обрывки газет, размокшие от дождей, а теперь высохшие и заскорузлые. Кто-то выставил сюда черный кабинетный рояль. Эти люди зачем-то вытащили его на самую середину пустыря, и он, потеряв здесь свою парадность, один стоял среди пыльной, сухой травы, и это выглядело как нарочитая декорация для экспрессионистского фильма.

Неподалеку на обломке ноздреватого, подомшелого снизу бетонного блока устроилась случайная компания из трех человек. Двое из-за их общего оживления казались хорошо знакомыми между собой людьми; третий держался несколько отчужденно, видимо, он просто вошел с ними

в долю. Это был высокий бледнолицый субъект с холодными, прозрачными глазами, он присел на край блока и стал ждать, пока другие хлопотали. Один из друзей, лет пятидесяти, румяный, прилично одетый, налил в принесенный с собой стакан темно-красного вина из тяжелой бутылки и протянул равнодушно соучастнику.

Тоненькая большеголовая девочка в белых гольфиках показалась на краю пустыря. Она пошла к роялю и, подняв крышку, сыграла «Танец маленьких лебедей». Бледнолицый мужчина своим холодным взглядом смотрел туда, на рояль и на девочку.

Вечером какие-то случайные люди разнесли его в черно-белые щепки.

Инвалид

Весной и летом я встречал его каждый день и каждый раз забывал об этом. Иногда он отдыхал на лавочке в проходе к своему подъезду, напротив которого через дорогу располагалась помойка с ржавым рядом круглых мусорных бачков, как грибы проросших из груды сырых отбросов. Он сидел, протянув в проход негнувшиеся протезы и положив по бокам на край скамейки алюминиевые костыли. Ему всегда было трудно управляться с ними из-за того, что вместо правой руки у него тоже был протез. Бывало, он попадался мне навстречу, тяжелый, грузный, с одутловатым без выражения лицом, с отчетными веками; или передвигался впереди меня, тяжело падая подмышками на костыли, а затем перебрасывая обе ноги сразу. Я прибавлял шаг, чтобы скорей обогнать его и избавиться от тягостного впечатления, производимого этим зрелищем. Не знаю, жил ли он один и кто за ним ухаживал, – сколько я ни встречал его, с ним никогда никого не было. Осенью он перестал появляться на скамейке, и я забыл о нем, и только однажды, возвращаясь домой и бросив случайный взгляд на его подъезд, я холодно, без сожаления или иного чувства подумал, что, может быть, он умер или не выходит потому, что, как я где-то слышал, у калек в дурную погоду сильнее болят их культы, и тут же переключился на что-то другое.

Как-то в начале зимы по дороге из торгового центра, расположенного в нашем микрорайоне, проходя мимо той помойки, что была напротив его подъезда, на куче отбросов, покрытой тонким слоем выпавшего снега, я увидел зажатые между двумя торчащими бачками красивые, как женские, гладкие, розовые ноги вместе с ярко-желтым кожаным широким и жестким поясом с никелированными пряжками и ремешками и одну такую же руку в маленькой черной перчатке.

Ангел

Небольшой, плотный дед сидел перед грязной песочницей на облупившейся скамейке и искал какое-нибудь развлечение для своих равнодушных выцветших глаз. Вчера он посмотрел передачу про ветеранов и его жизнь казалась ему поучительной и важной. Сегодня ему хотелось поделиться своим героическим прошлым с кем-нибудь из тех, кого он, не различая, называл молодым поколением, чтобы кто-нибудь оценил его причастность к истории и был ему благодарен. Молодая женщина, проходившая мимо, усадила белокурого мальчика на скамейку, чтобы зашнуровать его ботинок, потом сама присела на краешек и достала из сумки пачку сигарет. Старик слегка оживился, придвинулся.

– Не угостишь, дочка?

Женщина вежливо впереди сидящего мальчика протянула ему надорванную пачку. Старик долго выковыривал из нее сигарету.

– Я сам не курю, – сказал он для разговора. – Так, испорчу одну. Спички не дашь?

Женщина принужденно улыбнулась, протянула коробок. Мальчик сидел, набычившись, смотрел никуда и вперед.

– А тебя как зовут? – с фальшивой ласковостью спросил дед мальчика. – Сколько лет?
– Коля, – ответила за мальчика мать, – четыре с половиной.
– То-то сорванец, – бессмысленно сказал старик. Мальчик сидел спокойно, но дед много смотрел телевизор, а там подобные ему старики называли мальчиков сорванцами. – Пионер?

– Что вы, он еще в школу не ходит, – ответила мать.

Но дед не обращал внимания.

– А ты знаешь, с кем разговариваешь? – важно сказал он малышу. – Я пограничником был, родину нашу берег. – Мальчик ничего не знал о пограничниках, но дед надеялся, что, может быть, мама оценит. – Один раз нарушителей целую семью задержал вместе с козой. Коза и выдала: за-мекала в кустах. А ты кем, когда вырастешь, будешь? – спросил дед, хотя ему это было все равно, и он не слушал ответ. – Кем будешь? – спросил старик у кого-то невидимого впереди. – Когда вырастешь, – отвлекаясь, повторил дед, – небось космонавтом...

Ангелом, – ответил Коля.

Он вырос и стал ангелом.

Просто Журавлев

Мы любим буги-вуги.

Мы любим буги-вуги.

Мы любим буги-вуги, мы танцуем буги-вуги каждый день.

Журавлев хотел обрадоваться. Он очередной раз пытался обрадоваться. Они шли мимо него, молодые и пожилые и всякие, и никто не обращал внимания. Да и с чего бы, а он... Нет, ему не удавалось обрадоваться.

Мы любим буги-вуги, мы танцуем буги-вуги каждый день.

– Ты же не какой-нибудь Джексон, – сказал комендант общежития, – ты ж просто Журавлев.

Теперь эти буги-вуги переместились в Россию, и их можно кому угодно играть, петь и даже танцевать, и никто – ничего. И добро бы Россия каким-то необъяснимым образом перенеслась, например, в Америку, так нет же, лежит себе на том же пространстве, в тех же меридианах и даже параллелях и с тех пор не сдвинулась ни на метр.

Его исключили из комсомола и вслед за тем из института и выписали из общежития. Он понимал: это за то, что он Журавлев, он посягнул на чью-то врожденную, чью-то законную утонченность – ведь Джексон, в отличие от Журавлева, это не просто. И комендант общежития, и комсомольская организация тоже это понимали. А теперь он стоял возле торгового центра, а из динамика неслась эта музыка и буги-вуги, и все были джексоны, и им было можно.

«Почему же мне нельзя?» – спросил сам себя Журавлев. И сам себе ответил: «Потому что я просто Журавлев».

Хорошая реакция

Если у Лобова и было что-нибудь выдающееся, так это реакция. Просто исключительная реакция была у Лобова. Когда в присутствии Лобова со стола что-нибудь падало, например, бутылка или какая-нибудь рюмка, даже когда с вином, – оно, падая, до полу не долетало – всегда Лобов успевал подхватить. Вино при этом, конечно, выливалось, но рюмка все равно оставалась целой в проворной руке, если же бутылка, тогда – и вообще пустяки.

– Ну и реакция у тебя, Лобов! – говорили знакомые и качали головами.

Правда, однажды по ошибке подхватил он стакан с только что налитым чаем и так при этом ошпарился, что потом целый день кряхтел и постанывал, но выводов для себя не сделал – по-прежнему гордился своей исключительной реакцией.

То есть не все время, а каждый раз при случае гордился и вспоминал, как однажды, еще в комсомольском возрасте он благодаря этой своей реакции чуть было не вышел в финал по пинг-понгу.

Если где-нибудь на выходе из магазина внезапно открывалась дополнительная касса, он мгновенно из своей очереди туда перебежал и вместо второго оказывался первым. На эскалаторе тоже всегда проскакивал на свободную ступеньку так быстро, что оказавшийся сзади него пассажир не успевал развернуть спортивные новости. Так, если посчитать, сэкономил Лобов в своей жизни немало секунд, из которых, как известно, складываются минуты и, в свою очередь, часы. А знакомые все качали головами и говорили:

– Ну и реакция у тебя, Лобов!

Однажды он стоял на перекрестке. По проспекту непрерывным, как говорится, потоком катился личный, общественный и грузовой автотранспорт. Он катился и катился, а Лобов внимательно наблюдал поверх автопотока за светофором на той стороне, дожидаясь зеленого человечка. Дождался красного, напрягся, внимание, старт!

В микросекунду он пулей рванул вперед и... распластался, расплющился на радиаторе тяжелого автофургона – у водителя была не такая реакция.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Американское имя

Окоренное бревно было таким толстым, что Колин мог сидеть на нем, заложив ногу за ногу, как на лавке – так и сидел. Справа и чуть сзади штабелем, одно на другое было положено еще несколько таких же гладко очищенных бревен. Те, другие деревья, росшие по склонам небольших, как дюны, холмов (никто не мог сказать Колину их название) были тоньше и не стучались в отдалении. Они имели зеленоватую, как у осины, кору и дубовые листья. Эти съжившиеся листья покрывали влажную, пожухлую траву у ног Колина, но не целиком, а отдельными темно-бурыми островками. Впереди под ржавый железнодорожный мост, а может быть, заброшенную ветку сабвэя уходила неширокая и не очень оживленная в этот час Саут Парк Лэйн и скрывалась там, за гладким поворотом.

Колин вынул из коричневого бумажного мешочка банку и открыл ее, но прежде чем пить, достал из кармана куртки мягкую пачку «кэмела» без фильтра (здесь это называлось «рэгьюлэр») и закурил. Он подумал, что в Нью-Йорке ему, пожалуй, скучно.

Слева, с магистрали Саут Парк Лэйн бесшумно свернул на полянку и остановился напротив двухцветный полис-кар. Из автомобиля вылез полицейский в кожаной куртке и не спеша подошел к нему. Полицейский был небольшого роста с желтоватым, смуглым лицом, он остановился и стал смотреть на Колина. Ничего не говорил.

Колин встал.

– Что-нибудь неправильно, офицер? – спросил он, хотя прекрасно знал, что именно неправильно.

Ему понравился маленький, пузатый револьвер, приподнимавший округлой рукояткой куртку полицейского. Он подумал, что, наверное, мог бы достать здесь такой, но решил, что ему все равно не удалось бы вывезти его из Америки.

Вы, наверное, иностранец, сэр, – мягко сказал полицейский, – так что я не буду вас штрафовать.

Скажите, что не так офицер, – невинно спросил Колин, – и я не буду этого делать. Может быть, нельзя курить?

– Курить не запрещается, сэр. Пока не запрещается, полицейский усмехнулся. – С пивом неправильно. В штате Ну-Йорк банку нужно держать в пакете. Так они здесь делают.

Он наклонился и поднял брошенный Колиным пакет. Потом взял со ствола открытую банку, вставил ее в пакет и подал Колину.

Вот так, – сказал полицейский. – А курить можно. В Ну-Йорке можно. Вы откуда?

– Русский, – сказал Колин, – из Ленинграда. Хотите проверить паспорт?

– Если вы хотите, – сказал полицейский. – У нас так не делают. Может быть, в России... Вообще-то, я бы посмотрел, никогда не видел. Но это вы предложили. Колин вынул из внутреннего кармана и подал ему паспорт.

– Красный, – сказал полицейский и засмеялся. – Перелистал паспорт. – Хе, Колин! – удивился он. – Американское имя. У вас так?

Колин тоже засмеялся. – Это русское имя, – сказал он, – Ванин, Мишин, Колин – всё русские имена.

– Хе! – полицейский покачал головой, вернул паспорт. – До свиданья, сэр. Помните про пакет.

Полис кар вырулил задом на Саут Парк Лэйн и скрылся за мостом.

– Все не так, – сказал Колин.

Он отпил из банки глоток: и вкус был не такой. Он вынул банку из пакета, посмотрел на нее. Не так. В лавке на Джамэйка турок вместо «пльзенера» продал ему «бадвайзер». По привычке. Так они здесь делают.

Детство

Бесконечный, загибающийся плавной дугой тоннель был облицован желтоватым кафелем, по которому неровной пленкой струилась вода. Такая заброшенность и неприютность даже понравились Колину в его рассредоточенном и отрешенном состоянии. Появилось ощущение чего-то забытого, затерявшегося в россыпи гораздо более ярких впечатлений, чего-то из раннего детства, кажется, какая-то женщина в белом, плотно завязанном платочке и с очень бледным лицом, точнее, только этот платочек и лицо. И еще запах, тяжелый запах ихтиоловой мази, корвалола и чего-то еще, но здесь пахло сыростью, и запах сырости тоже был как-то связан с больницей. Это ощущение облачком, не оставив следа, отлетело, когда он вышел из тоннеля и в сгустившихся сумерках увидел противоположную сторону улицы: ряд старомодных рустованных четырех- и пятиэтажных домов. Здесь ему пришлось сосредоточиться, чтобы определить направление. Брат сказал ему, что Беннет стрит это где-то на Вашингтон Хайтс в районе двухсотых улиц. Он огляделся и увидел, что вверх домов больше нет, а вниз, по его стороне, почти до самого перекрестка протянулась высокая, отвесная базальтовая скала с тянущимися вверх из узких расселин изогнутыми деревцами. Он пошел вниз под черной скалой, уже забыв о письме и о людях, к которым он шел, и опять погружаясь в какое-то другое, но тоже связанное с детством чувство, и в этот момент, в уже опустившейся темноте вдруг низко вдоль улицы пронесся глубокий и звонкий женский крик: «Юра, зайди сейчас к мистеру Туманову. Он ждет тебя в своем офисе на Бродвее».

Ист и Вест

В небольшой тусклой витрине были выставлены всякие мелкие, по большей части непристойные предметы: зажималки в виде маленьких пенисов; горчишницы, из которых при открытии опять же выскакивал пенис; волосатая пепельница, имитирующая вагину; огромный ассортимент презервативов с возбуждающими приспособлениями и одна расческа, выскакивающая из рукоятки, как нож. Собственно, из-за этой расчески Колин и зашел в эту непритязательную лавочку, наверное, самую непритязательную на всей Сорок Второй улице. Там была только одна посетительница, женщина лет сорока, приземистая, невзрачно одетая, с испитым, серым лицом. Она стояла у прилавка и, не отрываясь, тупо смотрела на разложенные веером под стеклом пор-

нографические карты. Колин удивился, увидев на картах одних только женщин, но его расческа лежала как раз рядом, и он остановился здесь. Из-за занавески появился продавец, низенький китаец с издевательски угодливой улыбкой и неизменным «Can I help you?». Колин показал на расческу и спросил, сколько она стоит. «Three niny pine», – сняв улыбку, ответил китаец. Это неизбежное «niny pine» заставило Колина улыбнуться. Он достал из кармана пятидолларовую бумажку и протянул китаюцу. Приняв пакетик и сдачу, он поднял глаза и встретил взгляд женщины. Она смотрела на него со значением и неподвижной улыбкой. Она не была похожа на проститутку, и Колин не понял, чего она от него хочет. Он почувствовал какую-то неловкость и не то кивнул женщине, не то просто качнул головой. Обойдя ее, он вышел из магазина и повернул в сторону Бродвея. В том месте, где Бродвей разветвляется на Ист и Вест, он остановился и стал смотреть на здание «Панамэрикен» и на всемирно известную сияющую рекламу SONY.

Поручение

Колин прошел вымощенной желтоватым кафелем длинной, как тоннель, аркой во двор этого когда-то богатого дома с внутренним садиком из нескольких тонких черных деревьев и прозрачных осенних кустов. Посреди садика, окруженный ущербной балюстрадой, бездействовал подплывший ржавыми потеками фонтан. По углам и еще слева и справа размещались шесть подъездов с тяжелыми, резными, сохранившимися с дореволюционных времен дверями. Колин немного постоял, соображая, и подошел к средней правой. Внизу, в подъезде было темно и пришлось посветить зажигалкой, чтобы найти на общем почтовом ящике номер квартиры. Тяжелый лифт за железной, кованой, с растительным орнаментом решеткой не работал, и Колин, направляясь по перилам, поднялся на третий этаж по лестнице, но здесь над одной из дверей горела электрическая лампочка, так что он сразу нашел квартиру и нужную кнопку под наклеенной бумажной табличкой. Здесь двери тоже были резными и довольно хорошо сохранившимися, и на вымощенной двухцветным кафелем площадке было довольно чисто. Колин подумал, что, может быть, такие дома внушают жильцам уважение и не позволяют слишком много сорить и пакостить, хотя, конечно, их общественная принадлежность и не дает поддерживать их в нужном состоянии.

Женщина, открывшая ему дверь, была седой, аккуратно причесанной, с большим и грузным телом в темно-фиолетовом, прямом платье, но выглядела беспомощной.

– Вы Колин? – спросила она доброжелательно, но без улыбки, как будто ожидала соболезнования. – Что ж вы стоите? – сказала она потом, немного отступая. – Заходите. Не откажетесь от чашечки чая?

Колин поколебался, но ему показалось неудобным отказываться. Чистым коридором женщина провела его в комнату, которая не показалась ему особенно большой из-за стоявшего посередине рояля, и когда он вошел, его обволокло плотным, тяжелым, застоявшимся запахом, валерьянки, ихтиола, еще каких-то снадобий – запахом благопристойной старости и одиночества. Вокруг было много комнатных растений в горшочках и на жардиньерке, какие-то столики, темные, бронзовые фигурки, подсвечники – все это напомнило Колину детство, но не вызвало ностальгии. Он выпил чашку чая с овсяным печеньем и добросовестно ответил на все вопросы старой дамы. Она, кивая седой головой и моргая, проводила его до двери и пригласила заходить, и Колин обещал, хотя думал, что вряд ли придется. Он постоял еще несколько секунд на площадке и зачем-то оглянулся на закрытую дверь. Потом, торопясь, он сбежал по лестнице до нижней площадки, и человек, встретившийся с ним в дверях, был поражен выражением его лица.

Шорох

Колин подошел к окну и остановился над подоконником. Смотрел за окно так, как будто там была пустота. Тихий шорох раздался откуда-то слева. Он повернул туда голову. Женщина с

каким-то предметом в руках прошла через комнату и скрылась в противоположной двери. Там шелковая зеленая портьера качнулась над ее головой. Колин проводил ее взглядом и хотел продолжать осмотр, но увидел, что хозяин стоит, прислонившись к столу, и смотрит на него. Взгляд его сейчас был немного другим, уже не таким отчужденным.

Прозвучали и замерли в глубине коридора шаги. Где-то на кухне гремели кастрюли. Кто-то пустил воду в ванной и кто-то кричал за дверью в глухой телефон. Солнце стояло в зените, но все картины на стене были видны так отчетливо, как будто в комнате не было воздуха. Колин с удивлением увидел голубую вену на виске художника, а под левой бровью у него был маленький шрам и на желтых залысинах редкий, черный пушок, – и, клянусь, он только сунул руки в карманы и сейчас же вынул их.

УГОРЬ

Действующие лица

Игорь. *Появляется время от времени как бы в воспоминаниях.*

Ростик. *Сын Игоря лет тридцати пяти.*

Стасик. *Сын Игоря. Немного младше Ростика.*

Владик. *Сын Игоря. Молодой человек лет двадцати восьми.*

Ольга. *Женщина лет тридцати, чье положение не совсем ясно.*

Отщепенец. *Сектант, бывший актер.*

Бахрома. *Появляется только в воспоминаниях.*

Большая, светлая комната, обставленная старинной, вероятно, антикварной мебелью, но эта мебель в плохом состоянии и ее не много. Справа по задней стене дверь, в которой видны несколько ступенек винтовой лестницы, слева по той же стене два окна, завешенных шторами. Между окнами старинное трюмо, завешенное каким-то покрывалом. Есть несколько картин, старинных и современных. В комнате сидят и стоят Владик, Стасик, Ростик и Ольга.

Владик. Вот так.

Ростик *(потеряно)*. Так.

Ольга. Да.

Стасик. Ха-ха! «Наши сети притащили мертвеца»... стихотворение... Беранжера!

Ростик. Перестань. Не повод шутить.

Стасик. Уж какие тут шутки.

Ольга. В самом деле.

Стасик *(мрачно)*. Да уж... Это я просто так. Цитировал. Чисто нервное.

Ольга. Нашел случай.

Ростик. Как же это?

Владик. Я позавчера во сне видел, как ел.

Стасик. Да мы, вроде бы, не голодали.

Ростик. Ну, когда человек видит такие сны, это уж последнее дело. Ни за что не стал бы смотреть такие сны.

Владик. Да я и не стал, я проснулся.

Ростик. Как же это он все-таки.

Владик. Кто знает?

Ростик. Случайно?

Стасик. Будем надеяться.

Ростик. Смешно.

Стасик. Что смешно?

Ростик. На что надеяться? На то, что уже произошло?

Ольга. Чтобы оно произошло не так.

Владик. А как?

Ростик. Случайно.

Ольга. Нет, не похоже на него... Взял да и запутался. Он такой сильный был, ловкий.

Стасик. Похоже не похоже, а вот...

Владик. Испортил похороны, дурак.

Ростик. Не смей?

Владик. Я тоже цитирую, а вообще, говорили ему, не ходи один.

Стасик. Может быть, он как раз был не один.

Ростик. Что ты имеешь в виду?

Стасик. Мне кажется, у него была какая-то идея.

Владик. Да, уж у него всегда были всякие несурзные идеи, весь в идеях, никогда ни на кого не обращал внимания.

Ольга. Не всегда, и нельзя сказать, что ни на кого. Но действительно, последнее время он как будто не слышал, что ему говорят. Все о своем. Похоже, в самом деле была какая-то идея.

Стасик. А может быть, не идея, а подозрение?

Владик. Ты о чем?

Стасик. Знал бы...

Ростик. Да нет, просто возраст уже не тот, силы не те. Не справился. Если б послушался, не ходил в одиночку...

Пауза

Ольга. Надо было следить, я говорила.

Владик. А чего следить? Он всех посылал и всё.

Ростик. Было такое впечатление, будто он хочет остаться один.

Стасик. Интересно почему.

Ростик. Может быть, он с кем-то встречался? Не хотел, чтоб его видели?

Стасик (*оглядывается на Ольгу*). Ты думаешь...

Ростик. Нет, он никого не хотел втягивать...

Ольга. Ты думаешь, дело не в рыбалке?

Стасик. Отщепенец, наверное, знает.

Ольга. А это кто?

Стасик. Отщепенец?

Ольга. Да. Кто это?

Стасик. Это в районе. Он одно время сектантом был. Не простым. Был у них духовным отцом, а потом... (*Думает.*) Впрочем, ты его знаешь. Знала.

Ольга. Я? Знала?

Стасик. Знала. Он тогда старого придурка изображал. Того, чье вранье потом еще и сбылось.

Владик. Ну да. А потом, когда их затею прикрыли, он секту основал. Позже еще какую-то придумал, так что все разбежались. Просто перестали ему верить.

Ростик (*неуверенно*). Но он... Он, похоже, и в самом деле ясновидящий.

Владик. Был бы ясновидящий, выступал бы по телевизору. Большие бабки мог бы загребать.

Ростик. Тебе всё бабки.

Стасик (*задумчиво*). Сидели там, в подвале...

Ольга. Ну, ерунда.

Пауза

Стасик. Я точно говорю, сидели в подвале, а потом их выкурили. Тут все и разбежались. Он один остался. Точно говорю.

Владик. Ладно, что воду в ступе толочь, надо что-то делать. Надо сообщить куда надо. А то еще на нас свалят.

Ростик. Сообщить-то, конечно, надо, только вот когда будут. Сегодня пятница.

Стасик. Черная пятница.

Ольга. Ой, правда, сегодня тринадцатое.

Ростик (*мрачно*). Надо же так подгадать.

Владик. Да уж, выбрал денек. Такой пижон. Как жил, так и умер.

Ростик. Да заткнись ты. Ну не утопился же он.

Владик (*усмехается*). Он мог.

Стасик. Там, в кочегарке не слишком тепло?

Владик. А ты знаешь место прохладней? Летом.

Стасик. Да, прохладней разве что море.

Владик (*оживляется*). Море? Хорошая идея, хорошая идея.

Стасик. Кто поедет?

Ростик (*пожимает плечами*). Да хоть я. Тошно сидеть здесь.

Стасик. Надо что-то делать.

Ростик. С рыбой-то как-то не хорошо. Как-то не так.

Владик. Это ты правильно. Очень даже правильно.

Стасик. Я и говорю.

Ростик. Так сделайте что-нибудь, пока я езжу.

Стасик (*сомнамбулически*). Газеты, газеты... Ты там, Ростик, все-таки зайди к Актеру.

Ростик. К Актеру? Зачем?

Стасик. Он газеты читает. Все знает.

Ростик. Чего мы не знаем?

Владик. Возьми у него ивовую корзину – он хорошо их плетет.

Ростик. У нас есть.

Владик. Предлог.

Стасик. Да, предлог. Он газеты читает, Сказочник.

Ольга. Зачем газеты?

Стасик. Это не такие газеты. Другие. Явятся, а потом опять пропадут. (*Делает руками неопределенные жесты*.) Такие какие-то...

Ольга. Виртуальные, что ли?

Стасик. Не совсем виртуальные, хотя... может, и виртуальные. Во всяком случае, не такие. Из них больше узнать можно.

Ростик. Про папу, что ли?

Стасик (*неуверенно*). Ну, про папу.

Владик. А мы что, чего-нибудь не знаем? Хотя (*усмехается*) предлог.

Стасик. Да, предлог, якобы за корзиной.

Ростик. Так у нас же есть одна. Хватит.

Стасик. Какой ты непонятливый. Владик же сказал, предлог. Просто разведать надо, что папа, как папа... Может, он так решил, а может (*думает*) они решили. Если Актер читал газеты...

Ольга (*резко*). Кто они?

Стасик (*нехотя*). Ну, эти... Не знаю. Если он кого-то подозревал.

Ольга напряженно смотрит на Стасика. Явно не понимает.

Ростик. Ты думаешь, такое в газетах печатать будут?

Стасик. В тех, может, и будут. Это же не для всех.

Ольга. Да вы что, в самом деле верите в эту чепуху? Подозрения, газеты...

Стасик. Да нет, в газеты я не верю. Просто думаю... Он ясновидящий. А про газеты он просто так говорит, для убедительности, потому что в ясновидение никто не верит. Вот он и выдумывает, что ему газеты являются. В газеты все верят. Купи, Ростик, корзину. Может, он что и скажет?

Владик. Не спорь, купи. Что тебе?

Ростик *(пожимает плечами)*. Ладно, зайду. Только я там у него не был. Как его найти?

Стасик. Сорок первая примета. Там напротив магазин. Такая лавочка «Рыбные товары и конфискат». Это если от Наричательной, то направо, а дом номер тринадцатый. Ха, надо же, тринадцать! Тринадцатое число, пятница и дом номер тринадцать. *(Пораженный, качает головой.)* В общем, Ростик, как войдешь во двор, первый подъезд. Там будет семь ступенек вниз. Именно семь, не восемь. Повтори.

Ростик. Семь не восемь.

Стасик. Нет. Не семь не восемь, а семь, а не восемь. Другая интонация, понимаешь?

Ростик. Чего ж здесь не понять.

Идет в левую кулису. На ходу достает из кармана пачку сигарет.

Владик *(вдогонку)* Новая?

Ростик *(растерянно)*. Что, новая?

Владик. Я спрашиваю, новая пачка?

Ростик. Да, новая.

Владик. Тогда не забудь отклеить акцизную марку.

Ростик. Хорошо, не забуду.

Уходит.

Ольга. Правда, нехорошо. Неаккуратно. Надо что-то сделать.

Стасик. Конечно, не аккуратно.

Владик отводит Стасика в сторону, что-то тихо говорит ему. Стасик отвечает ему удивленными жестами, потом говорит, видимо, что-то возражает, переговариваются, время от времени слышны отдельные реплики.

Стасик *(пожимает плечами)*. Не так же хоронить.

Владик. Вот именно.

Стасик. Ты что, рехнулся?

Владик. Ну да. А зачем Ростика к Актеру посылали?

Стасик. За информацией, зачем еще.

Владик снова убеждает в чем-то сопротивляющегося Стасика.

Владик *(насмешливо)*. Ну-ну... И ты думаешь, это лучше?

Стасик. Почему лучше?

Владик. Это я спрашиваю, почему лучше. Чем огонь лучше червей?

Стасик *(с отвращением)*. Да, какие-то опарыши.

Ольга *(прислушиваясь)*. Вы о чем?

Владик. Да так, о судьбе человеческой. Вчера был человек, а завтра... черви.

Ольга. «Пред кем весь мир лежал в пыли...» Да, вот так и он, хотя мир, конечно не лежал. Да ему это и ни к чему было.

Владик *(Стасику)*. Вообще-то, котелок у тебя варит. Насчет всяких идей...

Стасик. Чего?

Владик. Я говорю, работает голова.

Стасик. Не пойму, о чем ты.

Владик. Ну да, только делаешь вид.

Стасик. Маяк?

Владик. Маяк.

Стасик. Нужен не нужен, а куда не уйдешь. Так и будешь здесь сидеть, пока всех не пере-
сидишь.

Владик. Интересно, это почему же?

Стасик. Да потому, что для тебя весь мир здесь. Ты только у своих отжимать горазд. Да и во-
обще с чужими ты не сможешь.

Владик. А это почему?

Стасик. Потому, что они тебе ничего не дадут.

Владик. А мне и не надо.

Ольга. А почему папа вас так назвал?

Владик (*грубо*). А тебя почему?

Ольга. Меня? Ты спрашиваешь, почему Ольгой?

Владик. Ну да, Ольгой. Почему?

Ольга. Ну, имя как имя. Многих так зовут. А вас почему?

Стасик. Как?

Ольга. Ну, вроде как одинаково. Кто не знает, Славой назовет.

Стасик. Потому и назвал, что Слава. Что, не понятно? Думал, вырастем, прославим род. Сами
прославимся. Кто в чем. Чему он нас только не обучал. На всякий случай. Говорил: мало ли, если
захочется, так чтоб навыки были.

Владик. Главное, ничему путному.

Стасик. Ну, может, и так. А что может быть путного? Он же не мог нам дипломы выдать. Кто
хотел, тот научился, а ты сам не хотел. (*К Ольге*.) Папа всегда подогревал в нас честолюбие, стрем-
ление к первенству. И шутки, и розыгрыши у него были такие. В детстве иногда крикнет «Слава!»,
и мы к нему – наперегонки. А кто первый добежит, он по головке гладит, вот говорит, Слава. И ты,
Владик, молодец, и ты, Ростик. Видишь, остальные молодцы, а кто первый – Слава.

Владик. Или так: «Это Слава, а это Стасик, а это Ростик». И так бывало.

Стасик. И так бывало, если у меня нога заболит.

Владик. Ну да, ты всегда был самый шустрый.

Стасик. Да будет тебе. (*Ольге*.) А вообще, папа нас действительно любил и хотел для нас мно-
гого. И он надеялся на нас, всякие премудрости в наши головы вбивал. И музыкой занимались, и
рисованием, он же все умел, папа... А из Владика хотел артиста сделать. Он иногда и сейчас такую
рожу скорчит. Стыдно смотреть.

Владик. Врешь ты все. Это он из тебя хотел артиста сделать.

Стасик. А потом он перестал обращать на нас внимания. Будто нас нет. А почему?

Владик. Это у него вторая молодость началась. Седина в бороду – бес в ребро. Бывает.

Ольга. Понимаю, на что ты намекаешь. Ошибаешься. Просто увидел, что здесь больше нечего
делать, и решил... (*Машет рукой*.) И вообще, это всё кино.

Владик. Ну да, кино! А когда провалилось, ты просто так стала на маяк бегать? За сказками?

Ольга. Может быть, и за сказкой. За одной.

Стасик. Дурак ты, Владик. Жлоб ты.

Владик. Хочешь, я тебе что-то скажу.

Стасик. Не хочу.

Владик. Но я все равно скажу.

Ольга. Не ссорьтесь.

Стасик. Да я не поссорюсь, даже если он захочет. Вот не буду и всё.

Владик. Только чтобы мне насолить.

Стасик. А ты хочешь?

Владик. Чего?

Стасик. Ну, поссориться.

Владик. Нет, с чего ты взял?

Стасик. Не время, надо дело делать.

Владик. Верно. Тут я перед тобой шапку снимаю. Я ж говорю, самый шустрый. Мне бы такое и в голову не пришло.

Стасик. Вот пришло же. Как раз тебе, а не мне.

Владик. Говори-говори. А кто про Сказочника затеял?

Ольга. О чем вы?

Владик. Да так, не женское дело.

Ольга (*обиженно*). Нашли момент считаться, что женское, что мужское.

Владик. Да нет, я в том смысле, что лучше будет, если мы его сами в порядок приведем. Как ты думаешь? Вымыть надо, и вообще, в каком он виде.

Ольга. А-а-а, вы об этом? Да, пожалуй, вам лучше.

Владик отводит Стасика в сторону, о чем-то тихо говорят.

Стасик (*возмущенно*). Опять ты про то же!

Владик. Ну а что, если его угораздило именно в пятницу?

Стасик (*вздыхает*). Да, да еще в черную.

Владик. Я – не про то. Я про эти три дня. Пока они сюда придут. Нам-то что делать? (*Что-то тихо и темпераментно доказывает.*) Твоя идея.

Стасик (*возмущенно*). Опять моя?

Владик. Ну, он всегда любил море. Разве не лучше?

Стасик (*потерянно*). Да. Может быть, и лучше.

Владик. Вообще-то, правда, что добру пропадать?

Стасик. Ты считаешь, что это добро?

Владик. Ты сам говоришь.

Стасик. А Ростик?

Владик (*пренебрежительно*). А, еще один джентльмен, яблочко от яблони... Да пока он еще вернется. Путь-то не близкий.

Ольга. Не вздумайте там напиться. Не время.

Владик. Нет-нет, что ты, и в мыслях не было.

Стасик (*грустно*). Нет, не было.

Уходят.

Ольга (*задумчиво*). Идеи, идеи. И эта. Надо же. Вроде бы так, существо. Свинья не свинья, а что-то вроде морской звезды или медузы, у которой лапки этак ресничками посредине, и к ней поросята стекаются всё пососать. (*Ходит по сцене.*) Да, стекаются... Всё пососать.

(Действительно, это надо оформить как виденный ею сон. Где-то дальше она рассказывает.)

За сценой шум автомобиля. Машина не удаляется, а, по-видимому остановилась поблизости.

Кто бы это? (*Трясет головой.*) А, какая разница? Ясно, что не эти, они еще не знают. Ведь Ростик только уехал. (*Задумывается.*) Туман, мечты, грезы, юная девушка бродит... Кина не будет, а маяк... Здесь была таверна.

Подходит к роялю, садится за него, берет несколько аккордов. Поет.

Девушку из маленькой таверны
Полюбил суровый капитан,
Девушку с глазами дикой серны
На губах с улыбкой, как кристалл.
Полюбил за пепельные косы,
Алых губ нетронутый коралл,
В честь которой грубые матросы
Не один наполнили бокал.

Входят Владик и Стасик, смотрят на нее.

Владик (*недоуменно*). Чего это она? (*Вертит пальцем у виска.*) Крыша, что ли, поехала.
Стасик (*пожимает плечами*). Ну, наверное, от потрясения.
Владик. Ну, я ж говорил, тут Шуры-муры.
Ольга (*оборачивается*). Нет, хухры-мухры. (*Продолжает петь.*)
Каждый год с апрельскими ветрами
Из далеких и богатых стран
Белый бриг, наполненный дарами,
Приводил суровый капитан.

(*Встает, поворачивается к братьям, жестом руки обводит все помещение.*) Вот здесь была таверна. Здесь стояли столы. Грубые такие, деревянные столы. И стулья. Тоже грубые. И матросы грубые. С трубами. Дым столбом, специально пиротехник проходил и дымил.

Владик снова вертит у виска пальцем.

Кто это был, что за машина?
Стасик (*несколько смущенно*). Да так один на грузовичке. Должен был заехать. С того берега.
Ольга. Могли бы и Ростика с ним послать. Хоть в одну сторону. Велосипед у него складной.
А назад сам бы приехал.
Стасик. Да как-то за всеми этими делами... Мы и забыли, что он должен приехать. Да и вообще не сообразили.

Пауза

Ольга (*как бы вспоминая*). Все это было в полнолуние. В полнолуние всегда так бывает. Если где-нибудь поблизости гороховое поле...
Владик. Где, это?
Ольга. Да здесь, неподалеку. Не перебивай.
Владик. Это оборотни в полнолуние.
Ольга. Не только оборотни. Также и угри.
Владик. Ну так что?
Ольга. Ну, они выползают на горох. Любят горох. Вот поле, а они по всему полю, как пиявки, черные, блестящие, так и вьются.
Владик. Ты уверена, что угри, может, вьюны?
Ольга. Нет, угри, папа сказал. Вьются, вьются, блестят, не вьюны. Мы там с папой были. Он сказал, угри. В полнолуние, это всегда в полнолуние. Так он сказал, и мы специально дожидались. Так договорились. И вот было полнолуние, и мы пошли...

Владик. Что шуры-муры?

Ольга. Нет, хухры-мухры. Всё среди угрей. Они, черные, блестящие, извивались, извивались в лунном свете.

Владик. Кто извивался?

Ольга. Угри, кто же еще. А папа рассказал мне про Саргасово море.

Владик. Ну и что же он рассказал?

Ольга. Угорь? Он рождается в Саргасовом море. Только в Саргасовом море, больше нигде. И всю жизнь стремится туда, чтобы там и умереть. Это ностальгия. Он отправляется в дальние страны, то есть в дальние моря, где только не бывает. В Балтийском море и в Бискайском заливе и в Проливе Лаперуза и даже в реке Ян Цы Цзян. Из морей он добирается до рек и озер, даже до маленьких ручейков, и там его ловят. Что там, он может появиться из водопроводной трубы: здрассте, я ваша тетя. А потом окажется в канализации и оттуда вместе со всеми отходами, с нечистотами, со всем дерьмом в протекающей через город реке, а из реки снова в море и в океан и так далее... Но все равно, где бы он ни оказался, отовсюду он стремится в Саргасово море. Не всегда добирается, но стремится всегда, и если ему это удастся, он рождает новых угрей и чистый, черный, блестящий, умирает там.

Владик. Но зачем же он покидает Саргасово море?

Ольга. Не уйдешь – не вернешься.

Владик. Глупая рыба.

Стасик *(входя, вталкивает Владика)*. Уж, конечно, ты бы не стал.

Владик *(оборачиваясь)*. Конечно.

Пауза

Ольга. Славы? *(усмехается)*. Быстро вы обернулись. Мне надо, наверное, одежду собрать?

Владик. Успеешь.

Стасик. Чего-чего, а этого у него всегда хватало.

Владик. Такой был пижон.

Ольга. Нехорошо так об отце, тем более о покойном.

Владик. Ну, щеголь. Разве неправда?

Ольга. Кому от этого плохо?

Владик. Да нет, просто смешно. В его возрасте.

Ольга. Тебе-то наплевать. *(Критически смотрит на него.)* А скажи, на что тебе не наплевать?

Владик пожимает плечами.

Ты что-нибудь любишь?

Стасик. Всё. Он все любит, только так, чтобы пальцем не шевельнуть.

Ольга. Странно. Такой молодой и такой... Какой-то безразличный. Вот отец... Весь – темперамент, предприимчивость, а ты... Какой-то...

Владик. А что, здесь где-то поблизости гороховое поле? Или вы куда-нибудь далеко ходили?

Ольга. Живешь здесь и ничего не знаешь. Оно по другую сторону бухты, рядом с нами.

Владик. В лунную ночь. *(усмехается)*. Романтика. Он был романтичный, наш папа.

Ольга. Не в пример тебе.

Стасик. И давно это было?

Ольга. Да нет. Ну, маяк тогда еще не принадлежал вашему папе. Он тогда вообще никому не принадлежал, он ведь давно не работал. А потом перестали финансировать, и работа прекратилась. Ну, нам пришлось уехать. Потом маяк хотели разрушить, но раздумали. На этом мыску... Что здесь построишь? Вот Игорь и купил его. Он всегда ему нравился, этот маяк. А таверна... Так, мечта. *(Пауза)* Погоди. Странная одна встреча.

Владик (*недоверчиво*). Встреча? Ночью, на гороховом поле?

Ольга. Ну да. Действительно странно. Я еще тогда обратила внимание, но потом как-то... как он там оказался? Мы тогда их ловили руками, ну, это легко. Можно сказать, собирали. Сначала руки в песок, чтоб не скользило, а потом... И как раз разогнулись, а тут через поле к нам идет кто-то... или, может быть, некто. Луна, а он в черном кожаном пальто, и оно блестит. Блестит, как эти угри. Только этот не угорь. (*Усмехается*.) И он идет через поле прямо к нам, шагает. Я думала, к нам, потому что... ну... Ну, с чего ему там быть? Но он, проходя, только посмотрел на нас и улыбнулся. Нехорошая такая улыбка. И прошел. И я чувствую, папе стало не по себе.

Владик. Это все маяк. Говорил я ему: зачем тебе этот маяк? А он мне: тебе этого не понять.

Ольга. Я ж говорю, он всегда ему нравился.

Стасик. У него идея была. Вернуться. Он все оттягивал, потому что он чувствовал. Чувствовал, что вернуться – это значит умереть. Он, в общем-то, не боялся, но все равно кому охота... Вот он все оттягивал, оттягивал, потому что понимал, что когда вернется, это конец. А с другой стороны, его тянуло. И вообще, ведь можно не успеть. Вот этого он больше всего и боялся.

Владик. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.

Стасик. Очень кстати.

Ольга. Да уж.

Стасик. Но ведь маяк это свое, он и раньше был. Просто на какое-то время был отложен, а папа, он никогда особенно далеко вперед не загадывал.

Владик. Что-то ты сам себе противоречишь: с одной стороны, знал, с другой, не загадывал.

Стасик. Да уж и не знаю...

Владик. Не загадывал, а угадал. Хоть раз в жизни, да получилось.

Ольга. Ты о чем?

Владик. Да вот как раз об этом.

Стасик. Да нет. Я это к тому, что нельзя было не успеть. Мог бы и не торопиться.

Ольга. А может быть, он из-за вас торопился?

Стасик. Почему?

Ольга. Что-то этот, в черной коже, не идет у меня из головы. Его улыбка... Где-нибудь: как будто он напомнил, что дескать пора.

Владик (*Стасику*). Так хочешь, я тебе что-то скажу?

Стасик. Вот пристал. Ну хорошо, говори. Чего тебе?

Владик. Да мне-то ничего. Я про папу. Ну и про нас тоже. Вернее, про папу и про нас. Знаешь, как он к нам относился?

Стасик. А как? Все для нас делал. Можно сказать, всю жизнь положил.

Владик. Послушай, он когда-нибудь тебя Стасиком называл?

Стасик. Случалось.

Владик. А Ростиком?

Стасик. Ну, случалось оговориться.

Владик. Оговориться?

Стасик. Оговориться.

Владик. А наедине?

Стасик. Что наедине?

Владик. Наедине он тебя как называл?

Стасик (*думает*). Славой.

Владик. Вот видишь?

Стасик. Что, видишь?

Владик. А то, что и меня Славой. И Ростика, наверное, тоже.

Ольга. Ну и что? Ты же сам говорил, что Слава это у него как похвала. Не мог же он кого-нибудь одного выделять, когда вы все вместе. А если бы всех стал славами называть, вы бы сами себя перепутали.

Владик. Вот-вот. А так он один путал. Он просто не знал, кто есть кто. Когда мы были вместе, и то путал, а уж по отдельности, он вообще не знал, с кем говорит. Потому и называл Сла-вой. А знаешь, почему?

Ольга. Почему?

Владик. Наплевать ему было на нас, вот почему?

Стасик. Ну, не говори. Ты помнишь, в детстве, как он тебя или Ростика, да и меня тоже на колени посадит, ногой на педаль жмет, а твоей рукой, ручкой еще тогда, да... *(Пауза.)* Хотел из нас людей сделать.

Владик. Лучше б обеспечил как следует, вот и были бы люди.

Стасик. Просто он растерялся. Не ожидал такого поворота. Да и не было у него коммерческой жилки.

Владик. Чего не было, того не было. Аристократ хренов.

Стасик. Ладно тебе. О покойнике или хорошо, или ничего.

Владик. Тогда ничего. Ладно, пойду – посмотрю, как там что.

Уходит.

Ольга. В чем-то они похожи.

Стасик. Ну да. Оба хотят быть независимы. Теперь один. Этот хочет быть независим от отца.

Ольга. Ну да, только от отца. Но его отец не искал сообщников.

Стасик *(испуганно)*. В каком смысле?

Ольга. Ну, папа-то был сам по себе, а вот Владик наперекор ему, берет сторону тех, кто всегда был папе особенно противен.

Стасик. А, в этом смысле?

Ольга. А в каком еще...

Стасик. Да я боюсь, не зашел бы он слишком далеко. Вот ты рассказала мне про эту встречу под луной, а у меня мурашки по коже. Потому что я подумал: этих кожаных пальто, конечно, много на свете, а что если... И ты говоришь, что вроде папе стало как бы не по себе.

Ольга. Ну, может быть, не совсем так...

Стасик *(не слушая)*. Мы там стояли у окна. Мы тогда жили на том берегу. Это еще до кино было. Там такое огромное полуциркульное окно, а внизу огни, огни, светятся окна ресторанов, буквы над магазинами горят, машины, публика снует туда-сюда, и вдруг папа берет меня за руку, показывает вниз, через улицу, на противоположный тротуар и говорит: видишь вон того человека в кожаном пальто и с газетой в руке? Я говорю: где? Не сразу увидел. Ну, вон, говорит, вон. Вон он поворачивается, видишь? Тут я увидел, только он уже почти отвернулся. Да, говорю, вижу. Не доверяй этому человеку, это Бахрома. К тому времени он уже все знал о нем, но было поздно

Ольга. Мы всегда узнаем, когда уже поздно.

Стасик. Потому что тогда уже никто ничего не скрывает.

Владик *(входит. Вероятно, он подслушивал за дверью)*. Ну да, чего скрывать, когда уже надул?

Стасик. А папа... Знать бы, где упасть, соломки постелил.

Владик. Да, знать бы.

Стасик. Или надел спасательный жилет.

Владик. Что ты имеешь в виду?

Стасик. Может быть, все и не так просто. Может быть, тот испугался.

Владик. У тебя мания преследования.

Стасик. Может быть. Ну, как там? Как там наш папа?

Владик. Придется хоронить в закрытом гробу.

Стасик *(вздыхает)*. Да уж, конечно, после всего.

Владик. Да нет, я вообще.

Стасик. Почернел весь.

Владик. Да он и всегда был смуглый.

Стасик (*отрешенно*). Наверное, в нем была азиатская кровь.

Владик. Да, не нашего рода.

Ольга. Не вашего?

Владик. Какой-то он был не серьезный. Так ко всему относился, как будто оно ничего не стоит. Неудачник, одним словом.

Ольга. Неудачник? А ты?

Владик. Что, я?

Ольга. Вот именно, что?

Стасик. Ну да, он вообще предпочитает ничего не делать. Если ничего не предпринимать, откуда возьмется неудачи?

Владик. Делай, не делай, результат один.

Стасик (*усмехается*). Ну, конечно, все там будем.

Владик. Да у него это всегда было, с самого начала, ты же рассказывал. Язык у него был длинный. Что, разве не в этом дело?

Стасик (*к Ольге*). Ну, там один был. Не сказать, чтобы самый худший, но, в общем, один из тех. Потому что они когда там были, папа сказал. Я, говорит, видел, но только это черно-белая копия. Он же не знал, что они это не законно. А представитель говорит, как? Он понял, что ляпнул, но не отказываться же? А тот все на ус мотал. А потом, когда ехали обратно, он в купе ему говорит. Ну, говорит, что мы будем кушать? А папа ему, это ты, говорит, что будешь кушать? Вы все, говорит, кроме как жопу лизать, ничего не умеете, а я-то себя худо-бедно как-нибудь прокормлю. Ну, тот понял, никому не сказал. Потому что какая ему от этого выгода? Это так тогда было. Ну, тогда папа стал к нему присматриваться. однако, как я понимаю, слишком доверился. Он такой был, папа.

Владик. Да, такой и был.

Стасик. А Бахрома.

Владик. Бахрома где-то вертится, он свое взял.

Стасик. Всё ли? Да и он ли один?

Владик. Все. (*Неуверенно.*) Думаю, что всё.

Стасик. А если не всё?

Владик. Ну, во всяком случае, они с ним были давно знакомы. Бахрома потом в другую сторону пошел.

Стасик. Нет, так всегда было. Папа говорит, он раньше такой четкий был, какое там казино – и слова такого не было. Они тогда всё искали таких, как папа. Позже он вообще стал штатным.

Ольга. Каких? Почему искали?

Стасик. Ты про что?

Ольга. Ну ты сказал, этот Бахрома искал таких. Каких?

Владик. А-а, таких, знаешь ли... не таких. Сейчас ведь тоже не любят. А кому понравится?

Ольга. Мне нравится. А почему искали?

Стасик. Работа, в смысле определяли. Сейчас не определяют, но и... как бы это сказать?

Ольга. То есть он, наверное, кого-то раздражает?

Владик. Еще бы! Фу ты, ну ты! (*Пауза.*) Если б он не умел драться...

Ольга. А он умел?

Владик. Что умел, то умел. Мог бы и нас научить. Единственное, что могло бы в жизни пригодиться.

Стасик. Да не ври ты. Не стал бы ты учиться, как и всему остальному. Ну, правда, с Бахромой совсем другие дела. Они ведь были знакомы с давних времен. Папа говорит, они и говорили тогда на разных языках. Были слова, которых, такие, как Бахрома, не употребляли, даже знать были не должны. Не только слова, вообще понятия. И все понимали, что этого им говорить нельзя. Музыка тоже.

Ольга. Даже музыка?

Стасик. И музыка, и картины и кино. Вообще, за маяком как бы ничего не было. Все здесь. Можно было, но только для дела. Такие правила. Папа мне объяснял, но я не совсем понял, потому что теперь вроде как по-другому.

Уходят.

Ольга. Рано или поздно что-то в этом роде должно было произойти. Всегда знала, что до смерти не доживет. *(Пауза.)* И не дожил. Вот так. Это так, случайность, конечно, несчастный случай. *(Пауза.)* Но как-то все-таки оно уж очень логично, к тому все шло. Эти сети... *(Пауза.)* Могли быть и не сети.... Все равно. Не то, так другое. *(Ходит по сцене.)* Эти? *(Кивает в сторону ушедших.)* Да, он не в них. Не в них? *(Смеется.)* Отец не в сыновей. Все наоборот. Такие основательные, а он весь рискованный, несерьезный. Не взрослый. Разве что Ростик? Этот какой-то неприкаянный. *(Останавливается, думает.)* А руки зарывать в песок это, конечно, хороший способ. Мокрые руки в песок. И... как засмеется. Какой смех у него был. Всегда неожиданный. *(Думает.)* Да, кто-то из нас не вовремя родился. *(Пауза.)* Похоже, что все.

Стасик. Да-а-а?

Владик. Вот зуб даю.

Стасик. Ну если зуб...

Владик. Только так.

Ольга. А как вы вообще все здесь оказались?

Стасик *(машет рукой, вздыхает)*. Расскажи, Владик.

*Из правой кулисы появляется Ростик с огромной ивовою корзиной.
Бросает корзину, подходит к остальным.*

Стасик. Ну что?

Ростик. Я сообщил. До понедельника никого не будет. Сказали: «Пока управляйтесь, как знаете».

Владик. Ну что, я так и думал.

Стасик. А этот что?

Ростик. Кто?

Владик. Ну не тяни. Сказочник что говорит.

Ростик. Только одно слово.

Владик. Какое слово?

Ростик. Имя.

Стасик. Стоп. Я все понял *(Смеется.)* Я так и знал.

Ольга *(нервно)*. Что!

Владик. Мало ли чего. А этот актер, Сказочник, откуда знает? Из газет?

Ростик. Ему привидение сказало. Папино привидение.

Владик. Привидение ошибается.

Стасик. Один ты не ошибаешься. Так?

Владик. Так.

Стасик. А ты откуда знаешь.

Владик. Мне тоже сказали, только не привидение.

Ростик. Кто?

Владик молчит.

Я догадываюсь.

Ростик. Как раз то. Как раз то, о чем мы говорили. А это, значит, продолжение. Значит, этому типу еще что-то надо. Ну, давай, Стасик, рассказывай.

Стасик. Это все началось там, в городе, на Театральной. Там, знаешь, где два памятника. Один Глинке, а другой Римскому-Корсакову. Вот из-за этого Римского-Корсакова, можно сказать, все и произошло. Там был один такой Бахрома. Неприятный тип, но со свойствами. Отец ему почему-то доверял. Вот они шли с этим Бахромой...

Ростик. Бахромой.

Владик. Сам ты Бахромой.

Ростик. Но правильно же с Бахромой.

Стасик. Ну почему? Это имя собственное.

Ростик. Собственные в русском языке тоже склоняются.

Стасик. Ты как папаша. Сам тогда рассказывай.

Ольга. Ну, не ссорьтесь. Расскажите же, я должна знать.

Стасик. Ну хорошо. Шли они с этим самым Бахромой. Прогуливались, а лимузин, тот рядом ехал. Подошли к казино. Поздно вечером это было.

Стасик. А теперь Ростик поехал на велосипеде, и ничего.

Владик. Ну, он так не мог. Он бы даже не понял. Он такой был. Ходил в цилиндре. Хотя в иные времена...

Ольга. Что? В иные времена.

Стасик. Ну, он же из рыбаков. То есть не из рыбаков, а все они там рыбачили. Это на маяке. Ну как не рыбачить.

Владик. А корчил из себя аристократа. И то он знает, и это знает. И манеры, и фу ты, ну ты. С его связями мог бы такие деньги делать.

Стасик *(язвительно)*. Чтоб тебе потом на всю жизнь хватило.

Владик *(не замечает иронию)*. Почему мне? Всем нам. Очень мог бы.

Ольга. Ну, так что там произошло?

Стасик. Я ж говорю, с Бахромой.

Ольга. Ну!

Стасик. И тут папа говорит.

Стасик. Здесь раньше кино было. Так что им оставалось только две буквы вставить. А и З, а в целом получалось «АЗ». Понимаешь?

Ольга. Нет.

Стасик. Ну чего ж здесь не понимать? Правда, он тоже не понимает. *(Кивает на Владика.)* Получалось так, что сначала К, потом Аз, а потом Ино. Понимаешь?

Ольга. Смутно.

Стасик. Ну, Аз это первая буква русского алфавита, она же Я.

Владик. Я последняя буква.

Стасик. Ну что ты придираешься? Ольга понимает, о чем я говорю.

Ольга. О чем?

Стасик. Ну Аз по-старославянски Я. То есть не буква я, а я. *(Тычет себя пальцем в грудь.)* Понимаешь?

Ольга. Ну, кто этого не знает? Что дальше?

Стасик. Ну, значит, за Ка идет Аз, потом Ино. Понимаешь.

Ольга. Представляю. Не понимаю только, что ты имеешь в виду?

Стасик. Ну, иной, другой, в общем не такой.

Владик. Скорей, иное.

Стасик. Согласен. Так вот иное. К Аз иное. То есть. К Я иное. Так? А эти буквы, которые они добавили, были другого цвета. Они красные были. То есть иные. Значит, Аз и само иное. А кроме того они не помещались и их поместили сверху, над «кино». В общем, получалась такая неразбериха, да еще и наискосок.

Владик. Ну, это для красоты.

Стасик. Вот папа и обратил на это внимание. Ему бы промолчать, а он сказал об этом Бахроме. Знаешь, говорит, все-таки все это очень странно. Почему ты так сделал? А Бахрома, говорит, что? Ну это, говорит папа. Ведь казино это и есть неразбериха, набор случайностей, странно, когда так выпадает, вдруг все в одном слове и при этом из совершенно другого слова, из «кино». К Аз ино, к Я другое. Странно. А Бахрома говорит: как фишка ляжет. Папа посмотрел на него и все понял.

Владик. Он пронительный был, папа.

Стасик. Себе на горе.

Владик. Это правда. Меньше знаешь, дольше живешь.

Стасик. Так ты считаешь, что папа из-за этого погиб? Из-за того, что все понял?

Владик. Нет, но тогда он все и потерял.

Стасик. Прямо сразу, в тот самый момент?

Владик. Нет, не в тот самый момент. А в тот момент мог кто-нибудь чего-нибудь ожидать, но, как ни странно, тогда ничего не случилось.

Ростик (*недоверчиво*). Так-таки ничего не произошло?

Стасик. Ничего.

Владик. Ну хорошо, тогда ничего, а позже?

Стасик. Когда.

Владик. Потом, когда они мокрые руки совали в песок.

Ростик. Ну, это другое дело. Так всегда делают, чтобы взять угря. Иначе его не возьмешь, выскользнет.

Бикозов. Потому что он был пьян.

Ростик. Кто?

Бикозов. Труп.

Стасик. Пьяный труп?

Бикозов. Нет, он еще живой напился, а потом уже стал трупом. Иначе разве бы он дал так себя обжечь?

Стасик. Кому?

Бикозов. Угрям, кому?

Ростик. Так он же мертвый.

Бикозов. Вот я и говорю. Пьяный напился, а потом уже было все равно: что мертвый, что живой.

Стасик (*гаерски*). Мертвецы – не слышат! Мертвецы не чувствуют... Кричи... реви... мертвецы не слышат!...

...где раздавалось пенье рыб...

... где рыбье пенье раздавалось....

Стасик. Испортил похороны, дурак!

Владик тычет пальцем в задвижку, потом хлопает ладонью по трубе, разводит руками, поворачивает лицо к Стасику и Ростику, прикладывает руку к груди.

Стасик также тычет пальцем в задвижку, поворачивает лицо к Владику, потом прикасается к трубе, отрицательно качает головой, лезет в карман, но не находит там того, что искал, делает двумя руками отрицательный жест.

Ростик чешет затылок, поднимет указательный палец, потом хлопает себя по бедрам, показывает правой рукой поочередно на Владика и Стасика, делает умиротворяющий жест обеими руками, потом кладет руки сзади на бедра и наклоняет голову.

Потом каждый повторяет свою серию жестов, с каждым повторением убыстряя темп, пока серия одного не начинает накладываться на серию предыдущего. При этом они продолжают комментировать свои жесты, но этих комментариев не разобрать. Эти повторяющиеся жесты становятся все быстрее и быстрее.

Под этот рев медленно опускается занавес.

Занавес

Неизвестно откуда голос. Испортил похороны, дурак.

За сценой голос Стасика (*глумливо*). Кареты! Кареты с гербами.

За сценой голос Стасика (*издевательски*). «Ненаглядная, говорит, моя любовь! Родители, говорит, согласия не дают, чтобы я венчался с тобой...» А леворверт у него агромадный и заряжен десятью пулями. «Прощай, говорит, любимая подруга моего сердца!.. решил я бесповоротно... жить без тебя никак не могу».

Сон с поросятами и ресничками – не сон, а просто бормотание Ольги, когда В. и С. уходят и она остается одна. Сны другие, их надо придумать.

Ольга. Я как раз вчера сон видела, странный.

Ростик. Да-да, я тоже его видел. Такое все светится, светится, а посредине оно. Так, существо.

Ольга. Нет, тот другой, про угрей.

Ростик. Ну как же, всё поросята стекаются пососать.

Ольга. Да поросята везде стекаются.

Стасик. Да, поросята стекаются.

Владик. Да, везде.

Пауза

Владик. Ты думаешь, тот сон в руку?

Ростик. Конечно, в руку. Я его тоже видел. Про угрей. Там еще моторная лодка все никак не заводилась, а потом...

Ольга. Нет, это не тот.

Владик. Да, не нашего рода. Можно сказать, паршивая овца. Чужак. Вот и Ростик весь в него. Такой же как он: фу ты, ну ты!

Входят Владик и Стасик.

Ростик. Как с папой? Мы же с тобой были. Это я сказал, что угри.

Ольга. А про Саргасово море тоже ты?

Ростик. Про Саргасово море я не знаю. Что там про Саргасово море?

Ольга. Ну вот видишь. А то «с тобой, с тобой». С папой мы там были. Там он мне все и открыл.

Ростик (*потеряно*). А как же со мной?

Владик. А почему с тобой? Нет, почему с тобой?

Ростик. По кочану.

Ольга. Ну ладно, не ссорьтесь. (*Ростику*) Ты видишь, с папой я была, с папой.

Кто ж знал, что этот маяк станет такой ценностью?

(Кто-то хочет построить ресторан рядом.)

Ростик направляется в правую кулису, на ходу достает пачку сигарет.

Владик (*поспешно показывает пальцем на пачку*). Не забудь отклеить акцизную марку.

Ростик. Не забуду. (*Как бы про себя.*) Придурок.

Отщепенец. И люди думают: большее больше меньшего, а меньшее всегда меньше большего. А что, если наоборот?

Ростик. То есть как?

Отщепенец. Когда меньшее больше большего, а большее меньше меньшего, как этого добиться?

Ростик. Но этого невозможно добиться.

Отщепенец (*усмехается*). Ты думаешь? Они тоже так думали, потому разбежались.

Ростик. Кто разбежался.

Отщепенец (*машет рукой куда-то в сторону*). Эти. Маловеры. Вспомни: кто был последним, станет первым, и наоборот.

Ростик. Кто был ничем, тот станет всем. Это?

Отщепенец. Это тоже. Только это пустое обещание.

Ольга. А тебе, Владик?

Владик. стакан чаю и соленый огурец.

Владик. Хельсинкский синдром.

Стасик. Не Хельсинкский, а стокгольмский.

Владик. Не важно, хоть Ослинский. (*Пауза.*) Ха-ха-ха-ха! Вот я сказал! Ослиный синдром, ну, ослиный, ха-ха-ха-ха!

Ростик пожимает плечами.

Стасик. Ну, ты бы, конечно...

Владик. Конечно, не умеешь выигрывать, так сумей хоть проиграть, не делай вид, что проиграл. Не сдавайся. Придет время, возьми свое. А то сдался. Настолько сдался, что сам поверил, ха-ха!

Стасик. Да ничего б ты не припомнил, просто забыл. Рад был бы, что ноги унес, и всё.

Михаил БАРУ

ВО ВСЯКИХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ

*История в России от самых древнейших времен
предоставляет науудивительные примеры <...>*

мужества и твердости во всяких приключениях.

Алексей Соскин. История города Соли Вычегодской. 1789 г.

Участь Сольвычегодска тоже имела свои превратности.

Николай Скворцов. Взгляд на исторические события,
имевшие влияние на промышленность, торговлю
и состояние жителей Вологодской губернии. 1866 г.

Вместо предисловия

Обычный писатель, если так можно сказать о писателе, решившем заниматься провинциальным краеведением, а до того писавшем рассказы, повести и романы, напоминает военного летчика, посаженного за штурвал гражданского самолета. Иногда это даже не среднемагистральный самолет, а кукурузник местных авиалиний летающий из райцентра в областной. Военному летчику хочется все время утопить педаль газа в пол (или как там это называется у истребителей), хочется заложить какой-нибудь вираж, или мертвую петлю или бочку, в том смысле, что описать загадочное убийство или строительство космодрома, или хотя бы портал в параллельную область, но тут он замечает – в салоне сидят люди, не привыкшие к перегрузкам: коллежские регистраторы, протоиереи, губернские секретари, купцы второй и третьей гильдий, секретари райцентров, уездные врачи, главбухи лесопилок, депутаты горьких городских дум... и вообще, если выглянуть в окошко, то окажется, что самолет привязан шпагатом к покосившемуся кресту колокольни городского собора и уже который час нарезает круги над каменными купеческими домами, пустившими глубоко в землю корни, над мужиками, шумящими вокруг бочки с пивом, над девочкой лет десяти, которую упрямая коза тащит домой, над участковым, пытающимся завести свой старенький мотоцикл с коляской, над огородами с цветущей картошкой, над облупленным домом культуры, над мужчиной нетрезвого вида, спящего в кустах неподалеку от этого дома, над приبلудным щенком, пытающимся прогрызть коробку давно слипшихся пельменей, которую вместе с пустой бутылкой водки мужчина нес, нес...

Из Москвы до Сольвычегодска путь неблизкий – больше тысячи километров на северо-восток. Сначала едешь на поезде «Москва – Лабитнанги» около суток до Котласа, потом на маленьком автобусе по асфальтовой дороге, потом по грейдеру, потом по грунтовке, потом просто по колдобинам до места паромной переправы через реку Вычегду¹. Местных от приезжих отличить легко – приезжие, когда покупают у водителя билет, то говорят: «до Сольвычегодска», а местные – «до берега». У переправы все пересаживаются на понтон, который шустро и сноровисто толкает к пристани на сольвычегодском берегу выдавший виды катер под названием «Евгений». Впрочем,

никакой пристани или деревянного дебаркадера с башенкой, какие у нас бывают на речных остановках, нет – только спуск к реке. Приезжих, кстати сказать, мало – большей частью это люди пожилого и очень пожилого возраста, которые едут поправить свое здоровье на сольвычегодском бальнеологическом курорте. Туристов еще меньше. Если они и приезжают, то на один день, чтобы успеть до вечера вернуться в Котлас – паромная переправа работает до семи вечера. Опоздаешь – нужно брать такси и ехать через Коряжму, через платный понтонный мост, через... Короче говоря, получается намного длиннее и дороже. Зимой, то есть с января по конец марта, через Вычегду можно перейти по бесплатной ледовой переправе, а весной, когда ледоход... тогда ледоход, и для того, чтобы выбраться из Сольвычегодска на большую землю, придется проехать около трехсот километров по плохой дороге до ближайшего автомобильного моста через Вычегду, возле села Усть-Вымь, от моста еще восемьдесят километров до Сыктывкара, а там уж садись на поезд, и бормоча про себя «да чтобы я еще хоть раз...», катись в свою Москву.

Усоличи

В первый раз Сольвычегодск был упомянут в Новгородской Синодальной летописи под 1492 годом по самому мирному, что в те времена было редкостью, поводу – по повелению Ивана Грозного на реку Печору отправлены были сведущие в горном деле люди на поиски серебряных руд. Этим сведущим людям в помощь дали шестьдесят человек из Устюга, с Двины сто человек «а Пермич, Вымич, Вычегжан и Усолич сто человек». Пермичи, понятное дело, из Перми, вымичи – с берегов реки Вымь – правого притока реки Вычегды, вычегжане – с берегов реки Вычегда – тоже правого и самого большого притока Северной Двины, а усоличи – жители Сольвычегодска, который тогда назывался Усольем Вычегодским. Строго говоря, усоличи тоже вычегжане, поскольку и сам тогдашний Сольвычегодск располагался... впрочем, до того места, где он располагался, мы дойдем чуть позже. История эта, как и все средневековые истории, основанные больше на легендах, чем на фактах, довольно запутанная.

Это было первое упоминание о Сольвычегодске. Новгородская Синодальная летопись – документ, в котором сомневаться не приходится. Она хранится в Государственном историческом музее, и ее можно даже потрогать. Чисто теоретически, конечно. В самый первый раз Сольвычегодск был упомянут в Вычегодско-Вымской, или Мисаило-Евтихиевской летописи. Вот ее потрогать уже нельзя даже теоретически, и существует она в копии, сделанной в двадцатых годах прошлого века. Собственно, и сама летопись, с которой была сделана копия, представляла собой рукописную книгу, написанную почерком начала девятнадцатого века, а уж где находилось то, с чего был сделан список начала позапрошлого века...² В записи, относящейся к событиям 1385 года, читаем: «Лета 6893 владыко новгородский разгневан бысть зело, како посмел Пимен митрополит дати епархия в Перме, в вотчине святей Софии и прислал дружинники воевати пермскую епархию. Позвал владыко Стефан устюжан, им бы беречи Пермскую землю от разорения. Устюжане побили новгородцев под Черной рекой под Солдором». Здесь у Сольвычегодска тоже другое название – Солдор. Так его называли зыряне, пришедшие в те края еще раньше славян.

Если верить археологам, а оснований не верить им нет, поскольку у них в руках есть не только догадки и теории, а еще и наконечники стрел, бусы, обломки глиняных горшков, позеленевшие нателные кресты и ржавые мечи, то финно-угорские племена, к которым зыряне (нынешние коми) относятся, жили в этих местах начиная уже с двенадцатого века. В самом Сольвычегодске в результате раскопок в двадцатом году нынешнего века были найдены конусовидные пронизки, или, попросту говоря, бусины, прорезные бубенчики, подвески-денарии, поясные пряжки, кожаный пояс с бронзовыми пластинами, литое бронзовое звено цепочки со сложным косоплетеным орнаментом и даже фрагмент какого-то украшения в виде припаянных друг к другу трубочек. Между прочим, по данным археологов, звено цепочки с косоплетеным орнаментом, найденное в Сольвычегодске, самое массивное из всех, найденных в бассейне Северной Двины. Нам эти подробности без надобности – просто отметим, что в районе Сольвычегодска, начиная с двенадцато-

го века, жили люди – и не просто жили, а жили красиво: украшали себя бусами, привесками в виде прорезных бубенчиков, подвесками с серебряными монетами, кожаными поясами с бронзовыми пластинами и неизвестными науке украшениями в виде припаянных друг к другу трубочек.

В начале тринадцатого века эти края стали ареной борьбы между Ростовом и Новгородом. С одной стороны, сюда вплотную подоברались земельные угодья новгородских бояр, а с другой – ростовских. Новгородские ростовских теснили, занимая земли в Нижнем и Среднем Подвинье, но и ростовские сдаваться просто так не собирались. В 1212 году ростовский князь Константин Всеволодович «заложил град Устюг Великий <...> и детинец и церкви устроив в нем». Основал как форпост в этих краях, пытаясь закрепиться на рубеже Вычегды. Место было удобное – рядом с Устюгом проходили пути новгородских сборщиков дани с печорских и югорских племен. Устюжане занимались тем, что возвращавшихся домой новгородских данщиков с собранной, то есть с награбленной пушниной, грабили. Кстати, Сольвычегодск, которого тогда еще не было, от Великого Устюга всего в ста километрах и практически у места впадения Вычегды в Северную Двину, а по Северной Двине можно было добраться до Белого моря. Вся эту область в бассейнах рек Северная Двина и Вычегда, изобиловавшую пушниной, рыбой и соляными угодьями, новгородцы считали своей и называли Заволочьем или Двинской землей. По притокам Северной Двины Сухоне и Вычегде проходил речной путь, по которому новгородцы шли на Урал и в Сибирь. Такие места пустыми никогда не бывают.

В четырнадцатом веке и Новгороду и Ростову пришлось потесниться – сюда пришла Москва и начала прибирать к своим рукам то, что уже было прибрано новгородцами и ростовчанами. Руки у Москвы были куда длиннее и хватистее, чем у Новгорода и Ростова. Сначала Иван Калита потребовал с новгородцев так называемого «черного бора» – чрезвычайного и нерегулярного налога, чтобы платить дань Золотой Орде, потом стал раздавать эти земли в кормление своим людям, потом, в третьей четверти четырнадцатого века, Дмитрий Донской окончательно отобрал у Новгорода Печору, Мезень и часть земель по берегам притока Северной Двины – Пинеги, потом московские князья уже и сами стали собирать дань за Уралом, у югорских племен. Среди участников этих походов всегда были вычегжане. Впрочем, это уже был пятнадцатый век, а мы вернемся в четырнадцатый и обратимся к предыстории города Сольвычегодска.

Чернигов и Выбор

Как и во всякой предыстории, истоки которой теряются в глубине веков, легенды здесь так затейливо переплетены с фактами, что... Не будем, однако, наводить тень на плетень, а откроем книгу «История города Соли Вычегодской» первого сольвычегодского историографа Алексея Ивановича Соскина³, написанную в конце восемнадцатого века. Первая глава этой книги называется «О бывших городах Чернигове и Выборе и в них обывателях» и рассказывает о пренатальной, если так можно сказать, истории Сольвычегодска. Во времена Соскина еще жили в городе старожилы, которые хотя и не могли помнить событий четырнадцатого века, но охотно рассказывали, что в незапамятные времена, в том месте, где река Черная впадает в Вычегду, стоял город Чернигов. «А в которые времена и кто сей город Чернигов построил и населил в летописце⁴ и в других записках нигде не упоминается, а также и народ о том словесным повествованием не рассказывает. А только есть в народе бася, якобы до начала города Чернигова жил на том месте и в окрестностях оного пришедший из других мест народ, называемый чюдь. Немалое время, но пришедший словенский народ из северной России, то есть новгородский, их, чюдь, со оных мест прогнав, а иных противящихся взяв в плен к себе в рабы. <...> И по очищении оного места, из тех пришедших новгородцов многие для жительства на том месте Черниговском поселились, видя пространства и пажитность около реки Вычегды мест, никем не обитаемых».

Находился Чернигов несколькими километрами выше нынешнего Сольвычегодска по течению Вычегды на мысу, который образовывала река Черная при впадении в Вычегду. Сведений о том, в каком году появился Чернигов до нас не дошло. В «Сольвычегодском летописце» сказано:

«в которые годы поставлен того неведомо». Можно только говорить о том, что ни в четырнадцатом, ни в начале пятнадцатого веков Чернигова еще не существовало, поскольку ни в одном из заслуживающих доверия летописных источников о нем не упоминается. Ни в Житии Стефана Пермского, написанном в конце четырнадцатого века, где перечислены все мало-мальски значимые населенные пункты по течению Сухоны, Северной Двины и Вычегды от Великого Устюга до Усть-Выма, ни в Вычегодского-Вымской летописи упоминаний о Чернигове нет.

Собственно, и о самом Чернигове почти ничего неизвестно кроме того, что внутри города стояла церковь Иоанна Предтечи, да над одними проезжими воротами находилась икона Спаса Нерукотворного, а над другими – икона Св. Георгия Победоносца. Летописец сообщает только точную дату пожара, который уничтожил город – 1546 год.

Строго говоря, Чернигов не являлся городом в современном смысле этого слова. Он был городом в средневековом смысле – то есть деревянной крепостью, в которую можно снестижитое непосильным трудом и самим укрыться в случае военной опасности. Городом от глагола городить⁵. Стены его составляли из городен – срубов, часть из которых заполняли землей и камнями, а часть использовали под жилые и хозяйственные помещения. Там, где это было необходимо, в стенах прорубали бойницы. Случаев военной опасности в четырнадцатом и пятнадцатом веках было предостаточно – то набегут вогулы, то вятчане, то устюжане, бывшие опорой Москвы на севере, пойдут войной на новгородцев, то новгородцы пойдут войной на устюжан... Мимо устья Вычегды никто не проходил.

О том, что осталось от Чернигова к концу восемнадцатого века, в «Истории города Соли Вычегодской» написано: «Но ныне того городского места есть мало, а прочее черниговское местоположение сметало рекою Вычегдой. И в оставших развалинах от осыпающагося к реке Вычегде берегу видно в песку мелкое жженое дресвяное каменье, ломаной кирпич, щебень, развалившаяся печная глина, горшочное черепье, согнившее в земли деревянное строение, головни и уголье, а частью находимо бывает и железное гвоздь. А позади от того места к северной стороне означается, якобы был копанный ров. И в город уповательно была дорога и чрез него мост».

Через двести лет, в начале девяностых годов двадцатого века, в четырех километрах выше по течению Вычегды, по краю берега старичного русла Вычегды и реки Черной археологи заложили четыре шурфа в поисках того, что осталось от Чернигова. В шурфе, находившемся на самом краю мыса, образованного старичным руслом Вычегды и впадающим в него реки Черной, обнаружили... да почти то же самое, о чем написано в «Истории города Соли Вычегодской» – гвозди, клинья, железные пластины, обломки керамики, характерной для пятнадцатого и шестнадцатого веков, серебряную денгу и медную пластину с отверстием в виде сердца. Нашли еще и кремниевые отщепы с кремниевыми наконечниками. Видимо, еще до людей, которых называют славянами, и даже до людей, которых называют финно-уграми, селились здесь в незапамятные времена просто люди без всякого названия.

Ровно через тридцать пять лет после того, как Чернигов сгорел, в 1581 году, жители тех мест поставили деревоземляной город Выбор. Поставили на мысу, образованном Вычегдой и впадающей в нее маленькой речкой Усолкой. В те времена такое расположение считалось удачным с точки зрения обороны. Выбор с трех сторон был окружен водой. С двух сторон его окружала пресная вода Вычегды, а с третьей соленая вода Усолки – маленькой речки, вытекавшей из Соленого озера, рядом с которым били соляные ключи, стояли соляные варницы, в которых кипели и упаривались рассолы в больших железных четырехугольных сковородах. Одни подносили дрова, другие подливали рассол, третьи сушили полученную соль, четвертые таскали в амбары тяжеленные рогожные кули с уже готовым товаром, а пятые с помощью целого набора буравов, долот и сверл бурили новые скважины, чтобы добраться до подземных резервуаров с соленой водой.

Не будем, однако, углубляться в технологию солеварения, о которой у нас еще будет случай сказать, а вернемся к Выбору. Просуществовал Выбор недолго – в 1586 году в писцовых книгах Афанасия Вельяминова и дьяка Ивана Григорьева есть похожее на некролог описание Выбора: «город Выбор на реке Вычегде, сметало тою рекою заднюю стену городовую, да и сторонних стен

осталось двадцать три городни». Писцы называют Выбор старым городищем, то есть местом, где когда-то был город. Тем не менее, в центре этого городища стояли церкви Вознесения Христова, Иоанна Предтечи и Святых царей Константина и Елены. На еще сохранившейся передней стене над воротами проезжей башни висела икона «Спасов образ икона нерукотворного образа Христа Черниговская». От Выбора в конечном счете не осталось и гвоздей с обломками горшков – все унесла Вычегда. В 1590 году, как сообщает Сольвычегодский летописец, храм Вознесения Христова был перенесен на торговую площадь посада Соли Вычегодской.

Соль Вычегодская

Теперь нужно разобраться, откуда и по какой причине появился у Соленого озера посад, в котором к концу шестнадцатого века жизнь была ключом – одних только соляных варниц там стояло девять десятков и черных, то есть тягловых, обложенных податями, дворов, было более трехсот. Вот как в «Истории города Соли Вычегодской описана причина появления посада у Соленого озера: «А по речке Усолке есть солонцы и озеро Соленое, круглое, состоящее длины и ширины по примечанию не более 40 сажен; которое в древние годы было вокруг обросшее лесом и на оное как из города Чернигова, так и ис прочих его селений повадилс скот по природной своей натуре на те солонцы и озеро завсегда ходить и, напившись того росолу, тут и спал. И тем скучал своим хозяевам, которые жители почасту по него ходили. И с того времени они, черниговские граждане, заприметили сей предмет вод солеразсолных. Действительно начали узнавать и радеть в надежде, что от того может им последовать немалая прибыль. И по тогдашнему времени, по малоимению соляных промыслов, начали вокруг того соляного озера строить для варения соли варницы с соляными трубами и промысловые селения». О том же самом пишет побывавший в Сольвычегодске в 1771 году академик Иван Лепехин: «Когда и кем город Соль Вычегодская построен, за потраченными в 1716 году во время пожари переписными книгами точно сказать не можно, а за достоверное почитать должно, что соляные ключи в самом городе находящиеся первого были причиною в сей лесистой стороне поселения, от которых и заимствование свое город имеет».

Посад, находившийся у соляных ключей, поначалу назывался просто Усольем – то есть у соли. Кстати сказать, зырянское название Сольвычегодска Солдор, то получится две части: корень «сол/сов», что в переводе означает соль, соляной, соленый и послелог «дор» – место около чего-либо. Вот и в переводе с зырянского тоже получается «место у соли» или Усолье.

В первые десятилетия своего существования Усолье представляло собой просто россыпь соляных варниц и дворов соловаров, кузнецов, бурильщиков и плотников. Производство соли в те времена было очень выгодным – соль, как универсальный консервант, нужна была всем. Посад стал богатеть, а богатому посаду без крепости, иначе говоря без города, не прожить. Пришлось еще не сольвычегодцам, но уже не гражданам Выбора и, тем более, не черниговцам, а усольцам строить третью по счету после Чернигова и Выбора крепость. Вот эта крепость, или острог, построенный в 1602 году, уже получила название Соли Вычегодской.

Денег и усилий на строительство острога не пожалели, и получился он, как свидетельствуют писцовые книги первой половины шестнадцатого века, большим, и очень – одних только глухих башен было четырнадцать. Внутрь крепости вело четверо проезжих ворот. Протяженность стен составляла немногим более тысячи семисот метров. Писцовая книга 1625 года описывает то, что осталось к тому времени от первого сольвычегодского острога: «тын⁶ стоячей на иглах⁷ да в остроге ж тын рубленные тарасы⁸ и насыпаны землею и скреплены сцепы, а на сцехах были катки, верхней бои⁹ мощены полати, а около острогу был ров, а изо рву к острогу осыпь и тот острог во многих местах розвалился, а в ыных местех рекою Вычегдою и Усолкою сметало, а цепи и полати розвоилися и ров песком заплыл...». Выглядела крепость внушительно, но оказалось неудобной для обороны. Защитить ее от поляков зимой 1613 года граждане Сольвычегодска не смогли. Не будем, однако, забегать вперед, а вернемся в шестнадцатый век, но прежде чем говорить о жизни

Сольвычегодска и его жителей в шестнадцатом веке, необходимо рассказать хотя бы в общих чертах о том, что составляло основу его тогдашней жизни – о солеварении.

В шестнадцатом веке соледобыча на русском Севере представляла собой сложное дело. Во-первых, во-вторых и даже в-третьих, нужно было иметь много денег. Только одна рассололившая труба, снабжающая раствором варницы, могла стоить сотни рублей. Бурением скважин занимались буровые или трубные мастера – самые высокооплачиваемые специалисты среди тех, кто имел отношение к добыче соли. На втором месте были кузнецы, изготавливавшие црены – огромные железные сковороды, в которых упаривались соляные растворы. На третьем – мастера по выварке соли или повара и их помощники подварки. Вслед за ними плотники, изготавливавшие подъемные ворота, насосы и другие необходимые механизмы, потом плотники попроще – строители варниц, рассололивающих труб, ларей для хранения соляного рассола, амбаров, кладовок и избушек, в которых жили разнорабочие. Меньше всех платили разнорабочим, которых тогда называли ярыжками, – землекопам, солоносам, дровозосам и грузчиками¹⁰.

До нас дошло рукописное руководство шестнадцатого века, достаточно подробно описывающее поиск источников соли, бурения скважин, устройства варниц и, собственно, процесса солеварения. Называется оно «Роспись как зачать делать новая труба на новом месте» и составлено одним из мастеров, работавших, правда, не на сольвычегодских, а на тотемских соляных варницах. Трактат этот сохранял свою практическую ценность вплоть до начала девятнадцатого века.

Начнем с выбора «россольного места», то есть с места выхода на поверхность соляных ключей. В Сольвычегодске их можно было не искать – эту работу за трубного мастера сделал домашний скот сольвыгодцев, и все рассолоподъемные трубы устанавливались вокруг и внутри Соленого озера или по берегам Усолки¹¹. Остатки трех труб можно видеть и сейчас, торчащими из воды возле того места, где Усолка вытекает из озера. Уже в наше время археологи сделали дендрологический анализ этих остатков, и он показал, что деревья, из которых изготовлены эти трубы, были спилены в двадцатых, тридцатых и девяностых годах шестнадцатого века. Кстати, в конце двадцатых годов прошлого века соляных труб семнадцатого века в Сольвычегодске оставалось еще двадцать шесть

После того как «россольное место» найдено, приступали к самой сложной и ответственной части работы – бурению и установке рассольных труб. Перед началом работ служился молебн священниками сольвычегодского Благовещенского собора. Одну часть подсобных рабочих набирали среди сольвычегодских бедняков, живших малооплачиваемой работой около варниц, а вторую из завсегдатаев царских кабаков. Кабацким ярыжкам, которые работали лишь для того, чтобы жить пропиваючи, платили вдвое и даже втрое меньше и без того маленькой зарплаты обычных поденщиков.

После молебна плотники строили у места бурения амбар для хранения буровых инструментов, ярыжки под руководством колодезного мастера копали яму глубиной в полторы-две сажени, то есть около четырех с небольшим метров, или «до воды». В яме ставился сруб, над ямой возводились бревенчатые леса и простейшие устройства для опускания труб и бурильного инструмента. После этого к работе приступал трубный мастер. Пятьсот лет назад не было ни стальных труб, ни бетонных колец, ни, тем более, алмазных буровых инструментов, которые вращаются электроприводом. Трубы делали из дерева – где из лиственниц, а где из сосен. Лиственница в воде не гниет вовсе, а сосна гниет очень медленно. В Сольвычегодске трубы изготавливали из сосен. Первая труба называлась «матица», длиной около шести сажен или тринадцати метров. Диаметр такой трубы должен был быть аршин без двух вершков, или шестьдесят два сантиметра. Внутреннюю часть соснового ствола высверливали, выжигали и выдалбливали так, чтобы толщина стенки составляла около двух вершков, или девять сантиметров. Если такой длины бревен не было, матицу делали составной из двух, трех и более звеньев, которые скрепляли железными обручами. Таким образом сделанные две трубы загоняли в землю строго вертикально на глубину до двух с лишним десятков метров. На верхнем конце трубы ставился помост, а на помосте ставилась ма-

ленькая избушка под названием «струб», которая наполнялась вынимаемым из трубы грунтом. Под тяжестью такого груза матица заходила все глубже и глубже в землю.

В зависимости от плотности грунта бурить могли от нескольких месяцев до нескольких лет – пока не дойдут до соленосных пластов. Глубина солявычегодских скважин в семнадцатом веке составляла от восьмидесяти до ста шестидесяти метров. Все эти десятки метров грунта, часто вместе с камнями, нужно было вытащить из довольно узкой трубы. Работали круглый год. На конец длинного шеста, который назывался сковородником, крепились болтами различные буровые инструменты – буравы, сверла, железные долота. Для выемки твердых глиняных грунтов применялись «шеломы железные», для мягких – «желонки», представлявшие собой длинные железные трубки, на нижних концах которых были нарезаны зубья. Сковородники с насаженными инструментами постоянно вращались несколькими рабочими при помощи двух воротов, причем на верхнем конце сковородника насаживали груз из камней и кусков железа весом от трех центнеров до тонны для увеличения давления на грунт. Во время выемки раздробленного грунта груз снимали, а потом снова устанавливали. Инструмент мог сломаться, мог застрять в каменистом грунте, его могло, как кость в горле, так перекосить в трубе... Иногда недели могли уйти только на то, чтобы вытащить его обратно. Зимой... Нечего и говорить об условиях, в которых все это делалось зимой. При такой примитивной технологии бурения неудивительно, что установка рассолоподъемной трубы длилась несколько лет. За две недели могли пройти около полуметра. Иногда чуть меньше, а иногда чуть больше. Если грунт попадался твердый и каменистый, то от одного до двух вершков, или не более девяти сантиметров.

Как только матица на глубине около десяти метров доходила до твердого каменного грунта, в нее начинали загонять целую систему более тонких «обсадных» или «литных» труб, которые делали тоже из сосновых стволов, но почти в три раза более тонких, чем матичные трубы, и без единого сучка. Внутренний диаметр таких труб составлял пять вершков или, в переводе на сантиметры, около двадцати двух сантиметров. Обычно обсадная труба состояла из трех или четырех колен, которые скреплялись железными обручами. Обсадные трубы должны были быть водонепроницаемыми, чтобы пресная вода снаружи не разбавила соляной раствор, текущий внутри. Для придания трубам водоотталкивающих свойств их сначала смолили, потом обматывали холстом, затем снова смолили и снова обматывали холстом, а затем покрывали варом. Поверх вара к литным трубам прибавляли гвоздиками овчину для того, чтобы овчина, прилипая шерстью к твердому грунту, задерживала пресную воду. Пространство между матицей и обсадной трубой конопатили войлоком, паклей или овчиной. Обсадные трубы вдавливались в грунт на глубину от восьмидесяти до ста тридцати метров. Где-то на глубине от сорока до шестидесяти метров мог появиться рассол. В этот момент работа останавливалась для благодарственного молебна. Трубному мастеру предписывалось при этом не только самому молиться, но и следить за тем, чтобы и остальные молились. Ареометров для определения крепости рассолов тогда не было, и крепость рассола определялась мастером сначала на вкус, а потом из небольшого количества рассола делалась пробная выварка. Если крепость раствора была недостаточной, то с помощью еще более тонких «подлитных» или «подвойных» труб углублялись еще на десять или двадцать метров. Соляной раствор шел по таким трубам обычно самотеком или выкачивался насосом, мускульным приводом которого служили ярыжки или лошади. В тех случаях, когда рассол накапливался в неглубоких колодцах, его поднимали наверх цилиндрическими бадьями саженой, то есть двухметровой, длины и диаметром около восемнадцати сантиметров. Поднимались бадьи колодезным журавлем. Одна рассололивная труба могла обеспечить рассолом непрерывную работу от четырех до шести варниц.

После того как рассолоподъемная труба, говоря современным языком, вводилась в эксплуатацию, наступала очередь соловаров. Соляные варницы представляли собой четырехстенные избы с одной дверью. Внутри избы выкапывали квадратную четырехсаженную яму с отлогими краями и обкладывали ее камнем и глиной. Яма служила печью, в которой разводили огонь, и над ней на специальных дугах вешали црен. Дымовой трубы в варнице не было – его заменяло

квадратное отверстие в крыше. Открывая и закрывая дверь, можно было регулировать тягу в печи. Над цреном устраивались деревянные полаты, на которых сушили свежевываренную соль.

Соляной раствор в црен или носили в бадьях ярыжки из Соленого озера, или же он поступал по рассольным трубам в специальные лари, емкость которых доходила до нескольких сот кубометров. Тем, кто по бедности носил рассол из озера, приходилось на время весеннего половодья прекращать работу, поскольку в озеро попадала пресная вода из Вычегды, а тем, у кого имелись лари, можно было работать без перерывов круглый год¹². Те владельцы рассолоподъемных труб, у которых были излишки рассола, могли и вовсе продать их тем, у кого варница была, а рассола по тем или иным причинам не было или его не хватало¹³.

Что касается самого црена, то его склепывали железным «гвоздем поличным двоестенным» из железных полос – «полиц» толщиной около восьми миллиметров. В шестнадцатом веке црены делали трехсаженными, квадратными, глубиной в десять вершков. Таким образом сторона такого квадрата составляла шесть с лишним метров, а глубина сорок четыре сантиметра. На сольвычегодских варницах купцов Строгановых использовали прямоугольные црены длиной в четыре сажени при несколько меньшей ширине. После того как все было готово к «варе», повар, помолвившись, затапливал печь. Когда црен по мнению повара достаточно нагревался, он посылал ярыжек выметать из него сор пучками березовых прутьев. Понятное дело, что о герметичности клепаного црена говорить не приходится, и потому перед началом процесса упаривания раствора или, как его называли, «вари», швы на дне црена и все места клепки ярыжки промазывали тестом из ржаной муки. Повар требовал и неукоснительно следил за тем, чтобы все тесто ярыжки тщательно прожевывали и перемешивали со слюной, а не с водой, поскольку «от слюны делается не-которая против воды способность». Заметим только, что эта операция производилась ярыжками на довольно горячем црене. Вряд ли хозяин варницы им выдавал специальную обувь на толстых подошвах. Скорее всего, обуты ярыжки были в обычные лапти. Так что ногами им приходилось перебирать шустро и даже еще шустрее.

Как только замазка немного подсыхала, подварок «напущал» в црен рассол¹⁴, который поступал туда самотеком по лоткам, или его приносили бадьями ярыжки. Подварку и после наполнения црена скучать не приходилось – он постоянно регулировал жар в печи с помощью кочерги и печных заслонок, чтобы кипение раствора было равномерным. Вода мало-помалу испарялась, и соль начинала кристаллизоваться из насыщенного раствора. Называлась это «засолом». Тут вступал в дело повар – он давал указания «содильщику», чтобы тот железными граблями постоянно помешивал кипящий рассол для того, чтобы соль не падала на дно и не приставала к стенкам црена, образуя соляную корку, или «леденец». Не допускать появления «леденца» было необходимо потому, что в тех местах, где он образовывался, црен прогорал быстрее. «Содильщик» время от времени опускал в рассол деревянную палку «засольник» и по образуемому на ней пояску из кристаллов соли (как только они появлялись в достаточном количестве) сообщал повару о том, что пора подливать новый рассол¹⁵. Повар приказывал подварку подбросить дров в печь, и в црен добавляли еще одну порцию рассола. Так делали несколько (от двух до четырех) раз до тех пор, пока весь рассол не становился насыщенным. Число добавок рассола и время его упаривания зависло от исходной концентрации.

Когда процесс считался законченным, топку прекращали, соль собирали в углы црена, откуда помощники повара лопатами ее набрасывали на полаты для просушки¹⁶. Полаты, сделанные из тонких жердей, устраивались таким образом, чтобы раствор стекал в щели, а кристаллы оставались. Высушенную соль ярыжки насыпали в рогожные кули по три пуда в каждый и выносили в соляной амбар. После каждой «вари» црены чистили от налета приставших к его стенкам солей и молотками выбивали «треску» – скопившиеся на дне залежи гипса и глинистых известняков. После этого все было готово к новой «варе». Остается только добавить, что сам процесс солеварения здоровья его участникам не добавлял – работа ярыжек на горячих цренах, а кузнецов и цыренщиков на неостывших цренах, зачастую приводила к ожогам, от постоянного дыма у соловаров слезились глаза, а от запаха сероводорода и различных соединений серы, который выделялся во время варки рассола...

Немного бухгалтерии. За одну суточную «варю» в XVI–XVII веках на сольвычегодских варницах получали от полутора сотен до двухсот десяти пудов соли. Тут нужно сделать поправку на то, что с течением времени при интенсивной добыче соленосные слои мало-помалу истощались, и к концу семнадцатого века соляной промысел в Соли Вычегодской начинает приходить в упадок¹⁸, но в шестнадцатом веке концентрация соли в сольвычегодских месторождениях еще была достаточно высокой. Если даже вычесть из рабочего времени варниц дни и месяцы, приходившиеся на половодье и ликвидацию последствий этих половодий, если к половодьям прибавить заморозки и периодический ремонт и даже замену прогоревших цренов, ремонт рассолоподъемного и другого оборудования, и все оставшиеся дни умножить хотя бы на полтора пуда в сутки, то только за полгода получится двадцать семь тысяч пудов или четыре с лишним тонны соли.

Пуд соли у Соли Вычегодской стоил от десяти до одиннадцати московских денег или, как их позже стали называть, копеек. В Москве цена той же самой соли колебалась от двадцати одной до сорока трех копеек за пуд. То есть за то количество соли, которое получали в Сольвычегодске с одной варницы, за полгода можно было выручить восемь тысяч сто рублей. По тем временам деньги огромные. Это если считать даже не по сорок три, а лишь по тридцать копеек за пуд. К концу шестнадцатого века в сольвычегодском посаде только у купцов Строгановых ввсю дымили четырнадцать варниц, которые снабжались рассолом из девяти рассолоподъемных труб. Если к этим варницам прибавить несколько десятков варниц других хозяев и умножить на количество пудов, а потом копеек, то получится даже с вычетом налогов и стоимости доставки в Москву... Не Сольвычегодск, а какой-то Новый Уренгой, если переводить на наши деньги.

Теперь о расходах. Бурение скважины, установка рассололивной трубы, различный инструмент, оплата бурового мастера и подмастерьев обходились солепромышленникам в копейку, особенно если бурение затягивалось на несколько лет. Сольвычегодцам в этом отношении повезло – их соляные источники находились или вовсе на поверхности, как озеро Соленое, или на не очень большой глубине. Средняя стоимость установки рассололивной трубы в Усолье не превышала двухсот рублей. В тех случаях, когда бурить приходилось на большую глубину, когда почва была каменистой, расходы на установку рассололивной трубы могли увеличиться в три и даже в четыре раза. Такие предприятия были по карману только очень богатым купцам или тем, кто договорился о долевом участии в предприятии и кому в равных или в неравных долях принадлежали рассололивная труба, соляная варница, црен, инструменты, дрова и все то, без чего соль не добыть.

Аника Федорович

Сказать, что уже не раз упомянутые купцы Строгановы были одними из таких богатых купцов – значит не сказать ничего. В Сольвычегодске они были самыми богатыми. Скажем больше: первые два столетия истории Сольвычегодска – это два столетия истории семейства Строгановых. Сольвычегодск был столицей их соляной империи, был их вотчиной, их родовым гнездом, местом, где они были безраздельными и самовластными хозяевами, а потому об истории сольвычегодской ветви Строгановых, о том, что они сделали для города, нужно рассказать подробно.

Основателем сольвычегодской ветви Строгановых был Аника Федорович Строганов, родившийся в 1497 году¹⁹. О его детстве мы ничего рассказывать не будем, поскольку о нем никаких документальных свидетельств до нас не дошло, а вот о его бурной купеческой юности кое-что все же известно. В 1515 году, когда юноше исполнилось восемнадцать лет, о нем упоминает летописец Устюга Великого, отметивший, что Аника первый в Усолье по своей инициативе завел солеваренный промысел. Может и не первый, но то, что один из первых, сомнению не подлежит. Вычегодско-Вымская летопись в записи под 1517 годом сообщает: «повеле князь великий Василей Оникеев сыну Федорову Строганова с братьею Вычегодским Усолем владети по жалованной и на князя великого соли варити».

Сольвычегодск тогда еще представлял собой поселок неподалеку от Черниговского острога. Там в конце пятнадцатого века поселился отец Аники – Федор. Не возле Выбора или Чернигова, где было безопаснее, а в сольвычегодском посаде – поближе к соляным источникам. Уже к середине шестнадцатого века Анике Строганову принадлежало около половины земли сольвычегодского посада. У кого-то Аника купил сначала часть варницы, а потом еще часть, а потом и всю целиком вместе с землей, кому-то ссудил денег, под залог земли, а когда должник не смог вовремя расплатиться, залог перешел к Строганову, кто-то продал варницу с землей и «со всем нарядом», пытаясь расплатиться с долгами.

Вот несколько примеров таких приобретений Аники. В феврале пятьсот двадцать шестого года он приобретает «треть варницы без цырена, место варнишное подле Ондreja Теребина» у Якова Федорова за две гривны. Еще через четыре месяца «у Овдотьи у Максимовой дочери у Степановские жены у Зуевы, да у ее внука у Василья Онтманова сына варницу и с цыреном, а цырен з дугами и с ношками и со всем нарядом, что к варнице и с колодами» за двадцать рублей. По тем временам это были довольно большие деньги, причем большая часть из них была заплачена за црен. Через тридцать шесть лет, за восемь лет до своей смерти Аника покупает варницу со всем оборудованием вместе с варничным двором и цреном за семь рублей. Из этих семи рублей шесть рублей стоил црен.

В пятьсот сороковом году Аника приобрел за гривну московских денег половину варничного места у вдовы Ульяны Плешкиной и у ее сына Юрия Ермольева. Этот участок был у вдовы и ее сына в совместном владении с другой семьей, и чуть позже Аника приобретает и вторую половину варничного места вместе со всем, что на нем стоит – соляными амбарами, погребом, кузницей и другим инвентарем. Он поступал так всегда – сначала покупал промыслы с рассолоподъемными трубами, а потом двор с варницей, если не получалось купить все сразу, или сначала двор с варничной избой, а потом трубу, но в конце концов прибирал к рукам все. Примеров таких покупок не один и не два. В купчих остались имена тех, у кого Аника приобрел целые солеваренные хозяйства – у Якова Балакшина двор вместе со срубами и промысловыми колодцами, у Некраса Кожина двор с рассолоподъемными трубами и промысловыми колодцами, у Якиша Плющьева соляной амбар...

Постепенно Строганов скупил соляные промыслы и варничные места у большей части мелких сольвычегодских крестьянских товариществ. Мало того, Аника смог скупить промысловые участки и у приказчиков князя Токмакова, бывшего далеко не последним человеком при дворе Ивана Грозного. Предприимчивый князь надеялся разбогатеть на местной соледобыче, но... к тому времени в Соли Вычегодской уже был главный соледобытчик, и конкуренты ему были не нужны. Не дал Аника Строганов устроить свои варницы и вездесущим соловецким монахам, которых привлекли сюда, как и Токмакова, льготы, раздаваемые солеварам царским правительством. После Аники Строганова при разделе Сольвычегодского имения его сыновьям осталось десять работающих соляных варниц²⁰, с дворами, необходимым оборудованием, действующими рассолоподъемными трубами, буровыми скважинами, кузницами для ремонта цренов, соляными амбарами, большим количеством запасного инструмента, и половина посадской земли Соли Вычегодской. Заметим, что в шестнадцатом веке на мелких хозяев варниц, владевших промыслами складчину, наступали не только Строгановы, но и другие крупные сольвычегодские промышленники – Пырские, Бутусины, Гогунины, Пивоваровы и Протопоповы. К семнадцатому веку в Сольвычегодске мелких производителей не осталось, и тогда крупные стали есть друг друга конкурировать между собой. В этой борьбе победа досталась Строгановым. Не тронули Строгановы только два монастыря, имевших варницы в Соли Вычегодской. Первый – Сольвычегодский Введенский монастырь, который братья Строгановы – Яков, Григорий и Семен сами же и основали в 1565 году, и в который Аника Строганов пожертвовал икону «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Второй – Вологодский Спасо-Прилуцкий, не имевший в Сольвычегодске своих рассолоподъемных труб и покупавший рассол у Строгановых, а потому полностью от них зависел.

Было бы, однако, неверно думать, что Аника Строганов представлял собой лишь хитрого и

удачливого скупщика соляных варниц и земель своих конкурентов. Вовсе нет. Он был в полном смысле этого слова промышленником. К примеру, до него сольвычегодские солевары носили рассол в варницы бадьями, никаких запасов не делали, и потому любые изменения погодных условий могли привести к остановке работы. При нем к варницам стали пристраивать огромные лари, в которых запасали рассол не только на случай непогоды или паводка, но и для работы в зимнее время²¹. Скажем больше – в довольно подробных документах о ранних покупках Аники Строганова в Соли Вычегодской сведений о рассолоподъемных трубах и системе снабжения рассолом варниц вовсе нет.

Средневековое солеварение было невозможно без цренов. Те, кто владел варницей вскладчину, обычно црены покупали. Дорого, конечно, но самим, без кузнечного хозяйства и кузнецов, такую огромную сковороду не сделать. Поначалу и Аника покупал црены. Когда стал богаче – завел у себя кузнечное производство и покупал уже не готовые црены, а железные полосы, из которых их делали. Црены время от времени прогорали, и их нужно было чинить, так что без кузнецов так или иначе было не обойтись. Кроме того, требовалось делать и чинить многочисленные буровые инструменты. Железо в больших количествах покупалось как отечественное, так и иностранное. Стоило оно ох как недешево, и везли его издалека – из Устюжны Железнопольской, из Архангельска, из Вологды, из Москвы, где покупали его на торгах. Через какое-то время Строганов задумался о собственном железоделательном производстве.

Сыновья, внуки и племянники

Заниматься организацией этого производства пришлось уже сыновьям и внукам Аники – Якову Аникиевичу, Максиму Яковлевичу и Семену Аникиевичу. Помог случай. В августе 1570 года на имя Якова Аникиевича и еще одного сольвычегодского купца и солеvara Леонтия Пырского была получена царская грамота, поручавшая им организовать надзор за английской торговлей. Англичане кроме торговли занимались еще и поисками железной руды и выплавкой железа, которое могли по данной им привилегии отправлять себе домой, уплачивая по одной деньге пошлины за фунт. При этом английские рабочие, выписанные из Англии, обязаны были обучать русских своему ремеслу²². Сыновья Аники не были бы Строгановыми, если бы упустили такой случай. Начались активные поиски железной руды²³, которая вскоре была найдена на реке Лахеме под Сольвычегодском и на реке Ваге, неподалеку от современного Вельска. Земли по Лахеме Строгановы скупают у местных крестьян, а болота в бассейне Ваги выпрашивают у царя себе в оброчное пользование. На болотах Яков Строганов поставил домницы или сырдутные горны. В них можно было выплавлять из болотной руды кричное железо – рыхлые комья размягченного губчатого железа в смеси со шлаком и частицами несгоревшего угля, которые потом шли в дальнейшую переработку. Что же касается железоделательного производства возле Соли Вычегодской, то к нему относится самое раннее упоминание о применении водяного колеса, приводившего в движение боевой молот, с помощью которого удаляли из кричного железа примеси.

Полученную соль нужно было доставлять покупателям – и Строгановы завели свой, довольно большой, речной флот, что неизбежно привело к строительству верфей, судам, плотникам, пристаням, шкиперам, лоцманам, матросам и портовым грузчикам.

Необходимо упомянуть еще об обширной торговле хлебом, крупами и фуражом, которую вели Аника, его сыновья и племянники, о широкой раздаче денежных и хлебных займов под залог земли и будущего урожая, позволявших им закрепощать крестьян и увеличивать свои владения в Сольвычегодском уезде, и не только в нем. Строгановы приобретали землю, если судить по сохранившимся земельным актам, большей частью ссудно-денежными сделками, а не прямой покупкой. О масштабе таких операций можно судить по деловой памяти от 7 января 1578 года, в которой сказано, что Семен Аникиевич Строганов и его племянник Максим Строганов при любовном дележе имущества получили на свой пай кабал на триста шестьдесят пять рублей, а сын Григория Аникиевича Строганова Никита – на сто восемьдесят рублей и двадцать два алты-

на²⁴. При том, что средний размер кабалы колебался, как правило, между двумя и тремя рублями, можно легко вычислить, сколько крестьян находились буквально в шаге от того, чтобы стать строгановскими крепостными. Занимались Строгановы хлебными делами и по поручению правительства – продавали оброчный хлеб, овес и ячмень, собранный в царских вотчинах, и деньги привозили в казну государства. Строгановы выступали и в качестве царских кредиторов. Это была такая услуга Ивану Грозному, от оказания которой лучше было не отказываться. Они и не отказывались, не раз и не два ссужая царя деньгами и не требуя их обратно. Царь расплачивался с Аникой и сыновьями многочисленными льготами, послаблениями в уплате налогов и пожалованиями земель. Все это с лихвой покрывало выданные кредиты. Иван Грозный не стеснялся обременять Строгановых просьбами и по покупке разных предметов для царского обихода – мехов, пуха и дорогих тканей.

Торговля пушшиной приносила Строгановым исключительно высокий доход. Николаас Витсен в своей книге «Северная и восточная Тартария», изданной в Амстердаме в 1692 году, описывает со слов Исаака Массы, неоднократно бывавшего в России в начале семнадцатого века, сибирскую торговлю Аники Строганова, который, видя, как сибирские народы «ежегодно спускались по реке Вычегде со своими товарами, торгуя с русскими в городах Сольвычегодске и Устюге на Двине, которые в то время были складочными местами для всего, между прочим, и для мехов <...> побуждаемый большою жадностью, пожелал узнать, какими землями они владеют и где обитают эти народы <...>. Этот Аника полагал, что можно приобрести большие богатства, так как прекрасные меха, которые они привозили, представляли большую ценность. Аника тайком подружился с некоторыми из этих народов, а также послал некоторых своих рабов и слуг с ними в их страну, приказав им хорошенько присмотреться к местности, через которую они поедут, и старательно отметить все их нравы, жизнь и поведение, чтобы представить точный отчет по возвращении. Это было исполнено, и тех, которые там побывали, он хорошо принял и проявил к ним особенную милость, но приказал им решительно молчать и сам сохранял про себя, никому не говоря про это. В следующий год он послал туда больше народу, а также несколько своих друзей с товарами малой ценности, как-то: немецкими безделушками, бубенчиками и тому подобным. Эти так же, как и их предшественники, основательно пронюхали, осмотрели и добрались до реки Оби через многие пустыни и различные пустыни, которых там много, и очень подружился там с самоедами. Узнали, что меха там не имеют большой ценности и что там можно приобрести большое богатство <...>. Так Аника со своими друзьями торговали с ними в течение нескольких лет, и стали Аниковичи очень могущественны и скупили повсюду кругом много земли, так что люди удивлялись этому страшному богатству, не зная, откуда оно происходит».

Строгановы оказывали Ивану Грозному не только услуги финансового и хозяйственного характера. Достаточно вспомнить организованный, полностью снаряженный и оплаченный ими поход Ермака против Сибирского хана Кучума или отправленную за десять лет до покорения Сибири на помощь царскому войску тысячу казаков с пищальми и всем необходимым припасом во время набега крымского хана Девлет-Гирея на Москву. Не приходится удивляться тому, что Строгановых и в опричнину записали, и у себя дома, в Сольвычегодске, Аника Федорович в пятидесятых годах шестнадцатого века играл первую скрипку в земском самоуправлении – был главой выборной коллегии земских судей и занимал должность всеуездного земского старосты.

Храм соборной каменной

На этом месте можно было бы и остановиться в своем рассказе о деятельности Строгановых в шестнадцатом веке по превращению Сольвычегодска в свое родовое гнездо²⁵, но это будет лишь половина рассказа. Аника Строганов при всех его деловых качествах, которые говорят о нем как о человеке жестком, быть может даже и жестоком, извлекающем прибыль отовсюду, откуда ее можно и нельзя извлечь, был человеком набожным и большим библиофилом. Конечно, в шестнадцатом веке набожный купец не представлял собой что-то исключительное, но купцов, готовых

потратить на покупку книг огромные деньги, было, мягко говоря, не так много. После кончины Аники Федоровича, который за три года до смерти постригся под именем Иосафа в монахи основанного им же Пыскорского монастыря²⁶... или, как следует из недавних исследований, сольвычегодского Борисоглебского монастыря, не осталось ни дорогой одежды, ни каких-то особенных украшений²⁷, но осталась огромная по тем временам библиотека в двести с лишним томов как рукописных, так и печатных книг при восьмидесяти пяти названиях²⁸. Большую часть библиотеки составляла, что неудивительно при набожности ее хозяина, богослужебная литература. Было и то, что называлось душеполезным чтением – нравоучительные книги, жития святых и даже сборник сочинений древнегреческого драматурга Менандра. К этим книгам прибавим самую разнообразную литературу по истории, среди которых были книги не только по истории России, но и переведенный на русский язык роман Гвидо де Колумна «История разрушения Трои» и повесть о взятии Царьграда турками в середине пятнадцатого века Нестора Искандера. Прибавим сюда книги о путешествиях и так называемые Кормчие книги, в которые включались своды церковного права, история Вселенских соборов, правила поведения христианина и списки разрешенных и запрещенных к чтению книг. Одну из таких книг Семен Аникиевич, Максим Яковлевич и Никита Григорьевич Строгановы дали вкладом в домовую Благовещенский собор в Сольвычегодске.

Собор, который после окончания строительства стал занимать главное место на всех панорамах Сольвычегодска, был заложен в пятьсот шестидесятом году Аникой Строгановым. Дату закладки собора мы знаем точно, поскольку она записана вязью на внутренней стене собора: «Лета от сотворения мира 7068, от Рождества же по плоти Бога Слова 1560 индикта 3 месяца основан сей храм соборной каменной Благовещения Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии и с приделы у Соли Вычегодской на посаде при благоверном Государе и Великом Князе Иоанне Васильевиче всея России и при великом Господине Макарии, Митрополите Московском и всея России и при Архиепископе Никандре Ростовском».

К строительству собора Аника Федорович подошел так же основательно, как подходил ко всему, чем он занимался. Было построено несколько кирпичных заводов, и не просто построено поблизости от места, где должен был стоять собор, а сначала подыскали землю с достаточным количеством глины, и эту землю выменяли и купили у жителей сольвычегодского посада. Нужные для строительства блоки известняка подвезли по Вычегде, для чего построили специальные суда. В обширном строгановском хозяйстве появились мастера-иконописцы, были наняты искусные кузнецы дляковки ажурных металлических переплетов окон и дверей. Для золочения крестов и куполов наняли мастеров по золочению. Несмотря на то что формально Сольвычегодск в те времена принадлежал Ростовской епархии и архитекторов Благовещенского собора нужно было брать в Ростове Великом, Строгановы, используя свою близость к царю, добились приглашения московских архитекторов²⁹. Такая же история произошла и с иконописцами. Для росписи собора³⁰ были приглашены лучшие московские, суздальские и ярославские изографы. Закабалить их было трудно, почти невозможно, но приманить выгодными заказами... Они и дали начало целой школе иконописи – Строгановской. Конечно, лучшие из этих мастеров были московскими иконописцами, работавшими по заказам Строгановых – Истомы Савин, его сыновья Никифор и Назарий, Прокопий Чирин, но нельзя не вспомнить и строгановских, пусть и не таких знаменитых, сольвычегодских мастеров – Фетку Снозина, Сенку Иванова, Пятунку Самсонова, Митку Стрекаловского. Без разделения труда, как и в солеварении, не обошлось – одни писали лики святых, другие одежду, третьи пейзажи, четвертые покрывали икону олифой... Не будем, однако, вступать на территорию, давно обжитую и неусыпно охраняемую искусствоведами. Скажем только, что Благовещенский собор и все последующее церковное строительство Строгановых вызвали к жизни школы лицевого шитья, ювелирного дела и церковного пения.

Что касается школы лицевого или, в переводе на современный язык, изобразительного шитья, то ее создание заслуга исключительно сольвычегодских мастериц. Занимались этим жены, дочери и невестки строгановского семейства, которым помогали дворовые и наемные мастерицы из местных. Вышивали шелком, серебряными и золотыми нитями, унизывали

жемчугом. И здесь дело дошло до узкой специализации – кто-то вышивал тексты, расположенные в каймах, иконописцы или знаменщики знаменовали образец на бумаге и потом переводили его с бумаги на ткань, одни вышивальщицы обметывали рисунок белыми нитками, а другие его вышивали. До нас дошло около ста пятидесяти памятников строгановского лицевого шитья – хоругви, плащаницы, пелены с изображением святого, одноименного тому или иному члену семьи, покровы и различные детали церковных облачений. Как правило, все эти вещи вкладывались в церкви и монастыри Сольвычегодска, в храмы пермских строгановских вотчин, в Троице-Сергиев и Соловецкий монастыри. Наибольшего расцвета строгановские мастерские лицевого шитья достигли уже в семнадцатом веке, и расцвет этот в большой мере связан с именем Анны Ивановны Строгановой.

Кстати, о жемчуге. Он нужен был в довольно больших количествах, и не только вышивальщикам, но и строгановским ювелирам, и иконникам для украшения окладов. Сольвычегодский историк девятнадцатого века Попов в своей рукописной «Сольвычегодской старине», написанной после 1865 года, пишет, что Строгановы «будто бы в речке Иксе воспитывали жемчужные раковины, для чего, по рассказам, держали особаго приставника, какого-то иностранного доктора. Насколько все это справедливо не знаем, но знаем, что в Иксе и в настоящее время водятся раковины таких громадных размеров, каких не видно ни в одной реке Вологодской губернии, только свойство их нам по невежеству нашему в естественных науках неизвестно»³¹. По народному преданию, которое и теперь живет всех живых, Строгановы разводили жемчужницы в крошечном озере, больше похожем на пруд, рядом с Благовещенским собором. Во главе этого жемчужного промысла, как гласит все то же предание, стоял немец – доктор и аптекарь. Что касается немца, то может статься, что это так и было, поскольку доктор и аптекарь мог быть кем-то из пленных иностранцев, которых Строгановы выкупали из московских тюрем. Как правило, добытый в строгановских владениях жемчуг шел на внутреннее потребление. По крайней мере, документов о его продаже до нас не дошло.

Изготовление окладов к иконам и церковной утвари и предметов личного благочестия без ювелиров не обходится. Еще первый сольвычегодский историограф Алексей Иванович Соскин отмечал в своей книге, что кроме занятий солеварением многие сольвычегодские граждане «производили ремесла, серебряные, золотые и иные вещи, а особливо иконописное и серебряное, и финифтяное <...>. Откуда же сии два мастерства, серебряное, сканное и финифтяное, в здешней город принесены; и кто первейший из граждан изобретатели были? О том письменных документов отыскать я не мог. А ежели слуху народному верить можно, что якобы оные изобретены до царствования в России царя Ивана Васильевича самодержца Всероссийского, бывшими гражданами соливычегодскими в иностранных государствах за коммерцию в Греции и Китайской землях. <...> И когда предки господ-барон Строгановых в Соли Вычегодской жительствоваши, тогда при домах их многия мастерства существовали для украшения церковного благолепия, коего они весьма любители были, которые видно из церковных сокровищ, для тех мастерств и имели немалое число служителей». Конец шестнадцатого и весь семнадцатый век можно считать временем расцвета ювелирного дела в Сольвычегодске. В строгановских мастерских работали как местные, сольвычегодские ювелиры, так и приезжие мастера из Москвы, Новгорода, Суздала и даже из-за границы. Местные зачастую были из зависимых кабалных людей. Кроме ювелиров, которые подразделялись на эмалиров, гравиров, сканщиков, занимавшихся изготовлением скани, чеканщиков, басманщиков, теснивших на тонком листовом серебре затейливые растительные узоры, и литейщиков в строгановских мастерских работали еще так называемые крестенщики или крестечники, вырезавшие из ценных пород дерева или кости кресты – нательные, наперсные, напрестольные и запрестольные. Делали они миниатюрные рельефные образки, складни, которые ювелиры потом оправляли в серебро или медные сплавы, золотили, расцвечивали эмалями, скаными узорами, украшали жемчугом, перламутром и полудрагоценными камнями³². О мастерстве сольвычегодских ювелиров свидетельствует тот факт, что часть из них в 1653 году вызвали в Москву для временной срочной работы. Должны они были заниматься чеканкой серебряных

окладов для иконостаса Успенского собора в Кремле. Сольвычегодский воевода отписывал царю Алексею Михайловичу: «По твоему государеву указу сысканы чеканщики Федька посадский человек Прокофьев сын Суворов, да Федоров человек Строганова Томилко Васильев, да Усольцы-ж посадские люди Петрушка Назимов, Офонька Козлов, Бориска Герасимов <...> послать их к Москве». Тотчас и Строгановы отправляют челобитную царю: «Бьют челом холопи твои Митька да Федька Строгановы: велено выслать от Соли-Вычегодской серебряников и иконников, а у меня холопа твоего Митьки, кабальному моему человекенку Костьке Софроньеву, а у меня, холопа твоего, Федьки, – серебрянику Томилку Васильеву; вели, государь, тех наших людишек имати к своему государеву делу».

Увы, в последней четверти семнадцатого века и начале следующего, после смерти Федора Петровича и Дмитрия Андреевича Строгановых, ювелирное дело в Сольвычегодске приходит в упадок и мастерские прекращают работать.

Несколько слов скажем и о школе церковного пения, поскольку без сольвычегодцев ее создание не обошлось. Собор, как известно, предполагает церковный хор. Его начали организовывать уже на этапе строительства. Священником домового церкви Строгановых еще до постройки собора служил житель сольвычегодского посада Иван Лукошков. Видимо, его вокальные способности были замечены Никитой Григорьевичем Строгановым, и для обучения Ивана Лукошкова пению, приемам композиции и использованию музыкальных инструментов он пригласил одного из самых известных в то время певцов – Стефана Голыша, обучавшегося в Новгороде. Собственно, его и приглашать было не нужно – он как раз в то время ходил по Сольвычегодскому краю и обучал желающих пению. Лукошков оказался талантливым учеником и сам сочинил не одно произведение. Песнопения и распевы, им созданные³³, и стали основой Строгановской певческой школы. Специалисты утверждают, что «усольское мастеропение» во второй половине шестнадцатого века и в начале семнадцатого находилось на уровне ведущих в то время московской и новгородской певческой школ. Усольских певцов даже вызывали в Москву, к царскому двору. Хор просуществовал в Сольвычегодске до семидесятых годов семнадцатого века и потом был в полном составе переправлен в центр пермских владений Строгановых – Орел-городок.

В 1584 году, уже после смерти Аники Строганова, Благовещенский собор был наконец достроен и освящен. За восемь лет до освящения в городе был сильный пожар, сгорело десять церквей и полтысячи домов. Собор, конечно, тоже пострадал. Расписывать его начали лишь в мае 1600 года и закончили в августе того же года. Об этом была сделана надпись на стене внутри собора: «Лета от сотворения мира 7108 (1600)... у Соли Вычегодской на посаде соборный храм каменный Благовещения... начат надписывать внутри и с алтаря и с приделом Иоанна Богослова и с кружалы верхними около храма Благовещения Богородицы настенным письмом московские иконники Федор Савин да Стефан Арефиев с товарищи и совершенно того ж лета, августа 29 день, строением и повелением Никиты Григорьева сына Строганова». После росписи собор повторно освятили. Расписана была тысяча квадратных метров. Трудно даже представить, сколько людей нужно было нанять, чтобы обернуться за такой короткий срок. Еще одна надпись на внутренней стене гласит: «...а стави сей храм своею казною Иоанникий Федоров сын Строганов и его дети Яков, Григорий и Симеон и его внучата Максим Яковлев сын, да Никита, Григорьев сын, да Андрей и Петр Семеновы дети Строгановы и по себе на память и на помянок ныне и впредь».

Мрачные палатки

Рассмотрение архитектурных особенностей пятиглавого Благовещенского собора³⁴, величественно возвышающегося над крутым берегом Вычегды, может нас увести далеко от истории Сольвычегодска, а потому мы ограничимся описанием его подземелий, с которыми связаны многочисленные городские легенды. Одно из описаний позаимствуем из уже известной нам «Сольвычегодской старины» Попова: «У кого здоровые легкие и есть несколько мужества, кто не боится спертова воздуха и глубокого мрака, тот может спуститься и в нижний этаж собора. По боковым сторонам его расположены еще довольно высокие прикрытые сводами и довольно просторные

палатки. Из них некоторые и ныне приносят собору небольшие выгоды, будучи отдаваемы под склады товаров. Но чем дальше углубляешься к середине, тем мрачнее делается вокруг любопытного. Узкие и низкие коридоры с неровными полами препятствуют свободному движению, а лазанье в разные тайники через узкие отверстия утомляют еще больше. Между этими тайниками находятся и такие, в которые и взойти нет возможности или по чрезвычайной узости отверстий, засыпавшихся обвалившимся щебнем и известью или потому, что железные двери, ведущие в них, заржавели до такой степени, что напрасно было бы и пытаться отворить их. Но перо наше слишком слабо, чтобы описать эти мрачные палатки, тайники и переходы между ними <...>. Это разве по плечу старым, а, пожалуй, и новым французским романистам.

Эти подвалы, по мнению одних, служили Строгановым кладовыми. И это, кажется, правдоподобнейшее из предложений. Здесь как нельзя более удобно было хранить им свои громадные сокровища; здесь же в 1613 году при взятии Сольвычегодска поляками скрыта была наиболее ценная утварь собора. Только простой народ любит иногда пересаливать и по этой привычке создал басню, что храмоздатели зарыли здесь несметные богатства. Басня, конечно, не имеет основания. Какими бы крезами Строгановы ни были, но едва-ли бы согласились бесполезно для себя, подобно другим профанам прошедших веков, погребсти свое достояние. Нет, их понятия были очищеннее, они и тогда выходили из-под общего уровня. Басня прибавляет еще, что ими проведен был даже подземный ход из-под собора в Введенский монастырь, что тоже положительно невероятно.

Другие, наоборот, уверяют, что сюда Строгановы сажали лиц, чем-либо провинившихся или вызывавших их мщение. Спору нет, они имели право суда и расправы на пожалованных им землях, но ни откуда не видно, чтоб этим правом пользовались они и в поморском Сольвычегодске. Правда, и мы при осмотре этих подвалов в одном из них крайне глухом и тесном нашли человеческий череп. Но череп не говорит, жертва ли он мести или случая».

Второе описание возьмем из путевых заметок, написанных в 1910 году, одним из воспитанников Вологодской духовной семинарии, побывавшем на экскурсии, организованной «Вологодским Обществом изучения Русского Севера». Маршрут экскурсии проходил через Сольвычегодск, и без детального осмотра Благовещенского собора конечно же не обошлось. Пожалуй, эти заметки интересны не столько описанием самих подземелий, напоминающим рассказы Эдгара По, сколько психологическим портретом первых Строгановых, какими они представлялись молодому выпускнику духовной семинарии в начале двадцатого века. «Под собором из подвалов идут в стороны коридоры с маленькими каморками, называемыми "мешками". Сюда, в эти мешки замуровывали не только преступников, но и вообще крепостных людей, почему-либо не понравившихся Строгановым. Мешки эти осматривали уже поздно вечером, при фонаре. Страшно мрачное настроение вызывают они. Мороз пробегает по коже, когда вспоминаешь все те ужасы, которые должен был испытать замурованный человек. Какое отчаяние должно было охватить его, когда удаленный от людей и света, томимый голодом, холодом и жаждою, сидел он в четырех стенах, не имея надежды на освобождение и жизни! Какие муки он должен был перенести перед смертью! Все это невольно представляешь себе при виде маленьких конурок с толстыми каменными стенами, – представляешь и невольно упрекнешь прежних бар Строгановых в бессердечии к человеческой личности, в фарисейской религиозности, выразившейся в жертвованиях. Христианство еще не победило своим духом их варварские инстинкты. Может быть, они чувствовали угрызения совести, но старались успокоить ее постройкой богатых храмов, монастырей и богатыми жертвованиями. Мешки устроены под самым храмом, и это еще более усиливает контраст их и еще больше противоречивых чувствований вызывают в нас эти немые многовековые свидетели характеров бар шестнадцатого века».

Любознательный семинарист записал и поверья, связанные с колоколом, который в то время висел на колокольне Воскресенской церкви, стоявшей на рыночной площади. «Пользуются им, как целебным средством, следующим образом. Больного приносят сюда, под колокол; льют тогда на колокол воду и в то же время ударяют в него три раза; воду стекшую с колокола собирают и дают пить больному. Как и когда образовалось такое поверье, узнать не пришлось». Редактор

Вологодских епархиальных ведомостей приписал в этом месте путевых заметок примечание: «Колокол этот был в свое время на городской башне “всполошным”, то есть в него звонили в тех случаях, когда в городе была какая-либо суматоха, например пожар, народный бунт. Потом, когда надобности в нем для подавания сигналов к тревоге не стало, а название “всполошного” продолжало оставаться, тогда стали ударять в него приходские священники для прихожан, заболелавших “сполохом”, то есть нервным расстройством от сильного испуга, и для их детей, страдавших “родимчиком”. Так возникло поверье».

Есть предположение, что этот колокол не просто колокол, а бывший вечевой колокол Велико-го Новгорода, который по приказанию Ивана Грозного был, после вырезания у него ушей и языка, сослан из Новгорода в Сольвычегодск, но это очень смелое предположение, больше похожее на легенду, поэтому всерьез мы его рассматривать не будем.

В первые годы советской власти все эти легенды о каменных мешках не умерли, но расцвели пышным цветом. По вполне понятным причинам стали говорить о пыточных каменных мешках, о замурованных живою людях, которых жестокие крепостники Строгановы... Нашли двух сторожей собора и древнего старика священника, которые утверждали, что в девяностые годы при очистке соборных подвалов вывезли никак не менее десятка возов человеческих костей. В двадцать четвертом году заместитель заведующего музеем Ешкилев и архитектор Тильман, обследуя здание собора, взломав в некоторых местах фундамент и разобрав кирпичную кладку... подземных ходов не нашли, но при углублении в землю на метр возле одного из взломов обнаружили череп, ключицу и бедренную кость. Кончилось все организацией выставки о строгановских пытках. В одной из таких кладовых разместили в живописном беспорядке кандалы, цепи и другие орудия пыток. Изготовили и восковую фигуру жертвы. Потом, правда, одно из орудий пыток попало в руки реставраторов и им оказались щипцы девятнадцатого века для охолощивания жеребцов. Впрочем, выставка у сольвычегодцев имела успех. Теперь, конечно, никакой выставки нет, и о пыточных подземельях экскурсоводы в Благовещенском соборе рассказывают с усмешкой, но как быть с замечанием одного из авторитетнейших советских исследователей деятельности семейства Строгановых Андрея Александровича Введенского в его монографии «Дом Строгановых в XVI–XVII веках»: «Сольвычегодские хоромы внутри строгановского кремля на Никольской стороне знали свирепые расправы хозяев с дворовыми холопами и работными людьми, которых здесь били, увечили и даже живою замуровывали в тайнички трехсаженной толщины стен строгановского Благовещенского собора. Еще в 1928 году мне пришлось сделать страшную находку при размуровывании такого тайничка в виде скелета и лежавших тут железных кандалов»... С другой стороны – дворовых людей у Строгановых в шестнадцатом и в семнадцатом веках в Сольвычегодске было несколько сот человек. Скорее всего, большую часть провинившихся просто пороли на конюшне или в амбаре, но тех, кого такие методы к покорности не приводили, тоже было наверняка немало. Как предусмотреть заранее необходимое количество таких тайников...

И последнее о подвалах Благовещенского монастыря. В 1691 году личное имущество умершего еще в 1649 году Андрея Семеновича Строганова сложили в каменную палатку, расположенную в подвалах Благовещенского собора, переписали и опечатали. Довольно скоро оказалось, что вещи из этой опечатанной палатки стали пропадать. Соборного протопопа Андрея Барашкова, пытавшегося дознаться, как воры проникают туда, куда им, как кажется, хода нет и быть не может, просто закололи рогатиной. Только через шесть лет, в январе 1697 года был пойман некий Данилка Кулаков, который конечно же поначалу ото всего отпирался, но после допроса с пристрастием, то есть после пытки, рассказал, каким образом крали строгановские вещи и выдал своих поделщиков.

Семен Аникиевич

Оставим Благовещенский собор и перейдем к Введенскому монастырю, который в 1565 году на берегу Усолки начали строить сыновья Аники – Яков, Григорий и Семен. Срубили деревянную

церковь и обнесли монастырь деревянной оградой. Аника пожертвовал в собор икону «Введение». Дальше о монастыре заботился сын Григория – Никита. Он поставил в ограде монастыря еще несколько деревянных церквей, над воротами поставил надвратную церковь Во Имя Всех Святых, а под колокольней... Впрочем, нет смысла перечислять эти храмы и колокольни, поскольку все они сгорели во второй половине семнадцатого века, а к тому каменному собору в стиле «строгановского барокко», который будет построен в конце семнадцатого века, мы еще вернемся. Лучше расскажем о том, как через восемь лет после основания монастыря при дележе наследства Аники Федоровича Семен Аникиевич «своровал». Поскольку никаких документов, проясняющих подробности этого «воровства», до нас не дошло, мы знаем только, что два других брата – Яков и Григорий пожаловались в Москву, как говорится, на самый верх. С самого верха в 1573 году пришла царская грамота одному из крупных сольвычегодских купцов и солепромышленников Леонтию Пырскому с распоряжением выдать Якову и Григорию Строгановым «брата их Семена головою со все его животом и с его людьми и деловые за их руками велел есмя им отдать, что они с Семенкою делились». Об исполнении Пырский должен был донести в Москву. Семену Аникиевичу дорого обошлось «воровство» – его на четыре года отстранили от управления вотчинами, и только 1577 году он смог вернуться к делам. Через четыре года Семен Аникиевич вместе с племянниками организует, снабдит всем необходимым и отправит на покорение хана Кучума Ермака, а еще через пять лет, в конце октября 1586 года, Семена Строганова убьют в ходе вооруженного бунта сольвычегодских посадских людей. В Аникиевском синодике Благовещенского собора о смерти Семена Аникиевича имеется запись: «в 1586 году октября проти 22, в ночи убиенье Семена Аникиева сына Строганова». Трудно сказать, из-за чего конкретно его убили, но очевидно, что отношения между Строгановыми и сольвычегодскими посадскими людьми не были безоблачными. Да и как им быть такими, если Строгановы правдами и неправдами скупили половину сольвычегодского посада, прибрали к рукам большую часть варниц, кузнечных дворов и соляных амбаров, не говоря уже о кабаках, которых у Строгановых было... Сохранился фрагмент следственного дела, представляющий собой черновик челобитной Афанасия Владимировича Строганова, представителя крестьянской ветви Строгановых, в которой он вспоминает: «боясь от тех Соли Вычегодские, от посадских людей убойства себе, по прежнему их воровскому умышлению, что они убили брата моего Семена Строганова, да оне ж государь, в городе снаряд имали и меня Офонку с племянниками, заперли во дворе племянника моего Никиты Строганова и хотели нас всех из снаряду побити на смерть». Уцелела и царская грамота, вернее, ее фрагмент о сыске убийц Семена Строганова, в котором власти требуют найти убийц Семена Аникиевича, а тем, кто будет их укрывать, «быти от нас в продаже».

К концу шестнадцатого века Сольвычегодск превратился в главную базу снабжения обширнейших пермских вотчин семейства Строгановых. Из Сольвычегодска туда посылают для налаживания солеваренного промысла црены, буровые инструменты, соловаров, подварков и кузнецов с их кузнечной снастью. Мастерские Строгановых снабжали все вновь построенные храмы в пермских вотчинах иконами, богослужебными книгами, церковной утварью. Строгановым церковные власти разрешают отправить в эти церкви и своих священников, дьячков, псаломщиков и пономарей, но самое главное – из Сольвычегодска на восток шло военное снаряжение для укрепленных городков, которые Строгановы строили на пожалованных им Иваном Грозным землях. Григорию Аникиевичу Строганову специальной царской грамотой дается разрешение сварить на Сольвычегодском посаде или в Усольском уезде селитры, которую тогда называли «ямчугой» тридцать пудов «про себя, а не на продажу на которых местех ямчуги не варят на меня царя великого князя». За ним велено было «крепко досматривать» старостам Сольвычегодского посада и уезда, чтобы сварил никак не более тридцати пудов и «чтоб в том в ямчужном варенье от Григорья крестьяном обид и продажи не было никоторыми делы». В Москве, хотя и доверяли Строгановым, но проверять не забывали никогда. Видимо, были к тому основания.

Девки, называемо приплавухи

Аника Строганов имел лавки на посаде и в самом Сольвычегодске, но в маленьком городе торговля тоже была маленькой. Более или менее крупная торговля разворачивалась на трех сольвычегодских ярмарках: Алексеевской, проходившей в первой половине марта, июльской Прокопьевской, названной так в честь Прокопия Устюжского, на которой торговали мехами, и Введенской, проходившей в конце ноября после сбора урожая и в преддверии праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. На ярмарки съезжались большей частью крестьяне из ближних и дальних волостей.

Торг происходил на центральной площади города, на которой стоял соборный храм Воскресения Христова, два кабака и двадцать восемь дворов местных священнослужителей. Вино в кабаки приносили со складов, а складами служили... подвалы Воскресенской соборной церкви. В Городовой книге по Сольвычегодску того времени написано, что из-за этих складов в церкви так несет вином... «Из-под той церкви целовальники вино продают в ведра и в полуведра, и в четверти, и в осьмушки, и на кабаки, на стойки, вино отмеривают, а которое вино на кабак принимают и то вино под тою ж церковью ставят <...> А хто купит вина под церковью, осьмушку или четверть, и тое вино тут и пьют. А как в церкви обедню или вечерню поют и в те поры под церковью бражники песни поют и всякое бесчинство чинят». Конечно, московские власти не одобрили размещение в церквях винных складов, а также пьяных песен под их стенами, но... чего не сделаешь ради прибыли. Кабацкие головы, то есть те, кто заведовал в городе кабацкими сборами, а среди них одно время был один из Строгановых, беспокоясь о том, как бы эти сборы не уменьшились, писали властям: «Переносить из-под церкви вина до году, покаместа продастся немочно для того, что бочки великие, сосновые и еловые ветхи, обручи на бочках такие ж сосновые и подо многими бочки для течи стоят подставки и только те бочки с места тронутца и на бочках обручи не устоят, а вину будет поруха». Еще какая поруха. Забегая вперед, в начало семнадцатого века, скажем, что в некоторые годы прибылей от кабацкого сбора выходило больше тысячи рублей. По тем временам такая сумма составляла в масштабе города Сольвычегодска, а не строгановских оборотов, не просто большие, но огромные деньги³⁵.

Оставим в покое вино и перейдем к торговым делам на ярмарках. Из поймы реки Виледь, левого притока Вычегды, в Сольвычегодск привозили отменного качества шелковистый лен-долгунец, за которым сюда приезжали английские купцы. С притоков Виледи привозили лодки. Местные племена из районов Приуралья, берегов Печоры и Оби привозили самый ценный товар – пушнину, которую Строгановы скупали почти всю сами. Само собой, торговали и солью, но здесь, на месте ее добычи, цена на соль была низкой, а потому старались увозить ее в Вологду, Архангельск, Ярославль, Москву и другие крупные города. Торговали солью крупные солепромышленники и монастыри – вотчинный строгановский Введенский монастырь и Вологодский Спасо-Прилуцкий. Впрочем, и эти монастыри покупали рассол у Строгановых, так что конкурентами в полном смысле этого слова не были. Добавим к ним нескольких посадских солепромышленников, имевших по одной варнице. Впрочем, и те продержались только до конца первой четверти семнадцатого века. Мелких и средних торговцев к соляной торговле не подпускали. С берегов Печоры привозили красную рыбу. Торговали хлебом, цренными полицами, луком, капустой, орехами, говяжьим топленным салом, медью, картами, иконами, мылом, дровами, сушеными грибами, сапогами, нагольными тулупами, теплыми рукавицами и всем тем, без чего не выжить в краю, где восемь месяцев зима и вместо фиников морощка. Хлеба, кстати, в Сольвычегодском уезде было мало. Еще и периодически случались неурожаи, что неудивительно при таком климате, а потому хлеб здесь был по большей части привозной – с Вятки. Рожь, конечно. О пшенице в этих краях и речи нет.

Торговали еще... нет, это нельзя назвать торгом. Прокопьевская летняя ярмарка, хоть и не могла похвастаться большими оборотами по сравнению с осенней, Введенской, была ярмаркой найма рабочей силы для уборки урожая и ярмаркой невест. Тут лучше не пересказывать своими

словами первоисточники, а процитировать Алексея Ивановича Соскина, который в восемнадцатом веке описал обычай, которому к тому времени исполнилось более двухсот лет: «При всем том объясняю я бывшую на Прокопьевской ярмонке редкость следующую. Приезжают в то время крестьянские дочери, девки, для избрания себе женихов и выхода замуж, который обряд состоит в таковой церемонии. Как те невесты приплывают по Вычегде в лодках и квартируют более на берегу с родственниками и знакомцами своими при тех лодках у продажи своих продуктов. Хотящие ж видети их женихи приходят к тем невестам и смотрят их. И естли покажется или пондравится, тогда желания от невест спрашивают, также и о приданном. И буде стыдливые невесты сами сказывать не хотят, тогда ответствуют вместо их находящиеся при них родственники и знакомцы. И когда согласное условие положат, тогда в церкви обыкновенно и венчаются. А в противном случае, естли никто их не возьмет, или сами по себе не изберут, тогда отъезжают обратно восвояси со своим изготовленным приданным. Сие бракосочетание происходит не з гражданами, а с бедными поселянами. Но в том бракосочетании примечательно бывает между ими щастие такое, что из тех вольных невест ленивых и распутных весьма мало случается, а большею частию к домашней и крестьянской экономии бывают они радетельны и трудолюбивы. Сей опыт можно сравнивать с базаром Константинопольским, на котором для продажи и бракосочетания жен и девиц-невольниц находится много, на котором подобно сему, кто какую хочет избирает».

Через сто с лишним лет другой сольвычегодский краевед, которого мы уже ранее цитировали, Федор Протопопов, писал о том же самом старинном обычае: «Изстари здесь водится, что на Прокопьевскую ярмарку сюда приезжают по Вычегде, даже от грании Яренских³⁶, из разных деревень девки, называемо *приплавухи*, выходить замуж. <...> На сих девках женятся бедные поселяне и господские люди, а граждане их не берут, потому, что те девки приезжают в город тогда не столько по обычаю, сколько по бедности, не зная чем пропитать себя, и чрез то находят честным манером себе хлеб насущный».

Рассказ о жизни русского средневекового города не будет полным без перечисления пожаров, моровых поветрий и неурожаев, которые случались с завидной регулярностью. Сольвычегодск шестнадцатого века в этом смысле не был исключением. В пожаре пятьсот сорок четвертого года сгорели церкви и кабаки на торговой площади. Огонь объел множество дворов. Как пишет Соскин: «Пламень бо вельми возвысился и вся купно обят снесаше. Ветру с югу велию бывшу и дыму с пламенем смесившуся, людем же не могущим камо бежати. Доиде же то пламя огненное близ Борисоглебского монастыря сажень за десять. Дионисий же игумен того монастыря начат молебен пети пред иконами Всемиловитого Спаса и того Матере пресвятыя Богородицы Одигитрия, и, по окончании молебна взем древо честное и святое Животворящего Креста Господня, течаше со тшанием за врата монастырские; противу пламени став и крестом оградив и к Богу моляшеся и пресвятую Богородицу на помощь призываше. Огнь, яко устыдесе, и отвратися на пустые места. И после того начаша пресвятей Богородице пети молебен по всякую неделю». Через девять лет был еще один пожар, еще через три года неурожай и страшный голод, от которого умерло тысяча четыреста человек, еще через год от голода умерло тысяча сольвычегодцев и еще через два года умерло по неизвестной причине и похоронено пятьсот тридцать человек. В 1565 году снова пожар, и через шесть лет случилось моровое поветрие. Восьмого июля оно началось, и тогда же «по обещанию и по совету градских и уездных всех людей, в сем городе основан храм деревянной во имя Всемиловитого Спаса Нерукотворенного образа нашего Иисуса Христа. А совершен и освящен купно со служением божественная литургия месяца августа в шестнадцатый день единым днем. И божим милосердием со онаго числа то моровое поветрие стало меньше ...»³⁷. За шесть лет до начала нового, семнадцатого века, сгорело то, что оставалось от города Выбора, и без того почти смытого рекой, и икону Спаса Нерукотворного, называемую Черниговской и стоявшую в надвратной башне выборского острога, перенесли в сольвычегодскую посадскую церковь Спаса Нерукотворного, стоящую на берегу Вычегды.

И последнее о Сольвычегодске в шестнадцатом веке. В 1590 году по приказу царя Федора Иоанновича из Сольвычегодска в Сибирь были отправлены тридцать семей хлебопашцев. Государство о людях, отправленных на освоение Сибири, беспокоилось. Помимо подъемных де-

нег власти предписывали каждое семейство снабдить годовым запасом хлеба, тремя меринами, тремя коровами, тремя свиньями, двумя козами, пятью овцами, двумя гусями, пятью курами, двумя утками, сохой со всеми необходимыми приспособлениями для обработки земли, телегой, санями, запасом разной одежды, домашней утвари и двадцатью пятью рублями денег. Мало того, власти заботились и о личной жизни холостых поселенцев, которые уже в семнадцатом веке в царствование Михаила Федоровича писали царю: «Все мы людишки одинокие и холостые как государь с твоей государственной пашни придем хлеб печем и есть варим и толчем и мелем сами. Опочиву нет ни на один час. А кабы государь у нас сирот твоих женушки были мы хотя бы избыные работы не знали... И веди нам государь прислати гулящих женочек на ком жениться». Царь эту челобитную без ответа не оставил и в грамоте верхотурскому воеводе Плещееву в 1630 году приказал: «... на Вологде, на Тотьме, на Устюге Великом и в Соли Вычегодской прибрати из вольных и гулящих людей в Сибирь, в Тобольск 500 человек казаков, да в тех же городах в Сибирь же, в Енисейский острог велено прибрать служилым людям и пашенным крестьянам на женитьбу 150 человек женок и девок».

Хлебные спекулянты

Семнадцатый век начался в сольвычегодском крае, как и во всей европейской части России, с неурожаяев. «Бог насылал на нашу землю глад», но здесь, в далеком северном краю, никто житниц не открывал и хлеб не раздавал, как это делали по царскому приказу в Москве. Наоборот – Строгановы в Сольвычегодске и в уезде вместе с церковным начальством монастырей, детьми боярскими и зажиточными крестьянами стали активно спекулировать хлебом. Строгановы и их приказчики в 1601 году после того, как был собран плохой урожай, стали быстро скупать не только его, но и хлеб прошлых урожаяев. Видимо, масштаб этих хлебных спекуляций был так велик, что слух о них быстро дошел до Москвы, и уже третьего ноября того же года в Сольвычегодск и уезд пришла грамота царя Бориса Годунова: «к Соли Вычегоцкой на посад и в Усолской уезд в станы и в волости, данным, и оброчным, и таможенным, и кабацким, и становым. И волостным старостам, и целовальникам и судьям всей Усольской и Вычегодские земли». Писалось в ней о том, что «Ведомо нам учинилося, что у Соли Вычегоцкие на посадах и в уездех хлеб дорого купят: четь ржи по рублю, овес в двадцать алтын, ячмень по тридцати алтын без гривны. <...> А архимариты, и игумены, и епискупли дети боярские, и десятильники, и Строгановы, и их приказчики, и посацкие люди, и наших волостей, и монастырских сел крестьяне, и приезжие многие прожиточные и пашенные люди меж себя сговоряся, для своей корысти, хотя хлебною дорогою ценою обогатети, тот весь хлеб у себя затворили, и затаили, и для своих прибылей вздорожили в хлебе великую цену; а которые де и продают, и они тот свой хлеб отдают скупщиком богатым приезжим и тутошним людям на большие деньги в отвоз свалным обычаем чети по сту, и по двести, и по триста, а врознь по четям на торги не возят, и молотчим посадским людям, и нужным пашенным крестьяном никому никакова хлеба четью и осминою не продают. Да у Соли ж де Вычегоцкой на посаде многие скупщики хотя такою же корыстью хлебною продажею от дорогие цены обогатети, прежде сего до нынешние поры за полгода езда и розсылая по всей Вычегоцкой земле в станы, и в волости, и в села, и в слободы и в погосты в хлебную дешевую пору роздали и издадачили на хлебе по дешевой цене многие деньги». Скупали и держали у себя в амбарах и даже необмолоченным в скирдах, а на торги и на ярмарки вывозили понемногу, «зговорясь воровством, цену вздороживая и ожидая тово, чтоб им также вперед еще тово больши хлеб к своей корости вздорожити <...>». Мало того, тех крестьян, которые не состояли в сговоре со спекулянтами и везли на продажу свой хлеб в Сольвычегодск, перекупщики останавливали на дороге за несколько верст до города и весь хлеб скупали. Точно так же скупали хлеб, но уже по высокой цене и у тех, кто смог довести его до ярмарки или торгова. «И цена хлебу у Соли Вычегоцкой от часу прибывает и дорожает со дни на день больше прежнего; а посацким и волостным людям делается многая нужда, что им по таковое по большой дорогой цене у скупщиков и у хлебников, и у колачников хлеб зкупити не изможно».

Царь, как и полагается справедливому царю, повелел спекуляции прекратить и «тех всех людей, которые цену в хлебе вздорожили, и на хлебе деньги задатчили, и хлеб закупали, и затворили, и затаили, сыскивати, и вперед смотрети ж и беречи, и проводывати накрепко. <...> И за таким нашим царским великим утверждением, и за крепко учиненную заповедь велели есмь учинити у Соли хлебную цену одну <...> А купити есмь велели всяким людям понемногу про себя, а не в скупе, чети по две, и по три, и по четыре человеку». Велено было припрятанный хлеб найти, переписать и хозяевам этот хлеб продавать по цене и нормам, установленным царской грамотой, «а свалным обычаем многим хлебом на в скупе продавати и в отвозе отсылати не велели никому некоторым дели». Грамота предписывала «смотреть и беречи того накрепко, чтобы скупщики за город на те проезжие дороги на встречу хлеба не выходили и не закупали». Точно так же велено было следить за скупщиками хлеба на торгах и ярмарках, а тех «воров-скупщиков», кто царского указа слушается, «по торгам бити кнутием нещадно, а ково изымают вдругие и втретие, и вы б их били кнутием, и метали в тюрьму на время». Тех же, кто решил хлеб на время припрятать, следовало сажать в тюрьму, штрафовать каждого на пять рублей, а хлеб, переписав, конфисковать и продавать по установленной цене. Правда, деньги, полученные от продажи, нужно было отдавать владельцам хлеба.

Царь Борис, чтобы, как говорится, два раза не вставать, той же грамотой строго предупредил, «чтоб у Соли у Вычеготцкой на посаде и во всем Усолском уезде иаших чорных волостей и архиепископли, и монастырские слуги, и крестьяне, и всякие люди однолично не курили некоторыми делы, и судов винных у себя не держали <...> чтоб у Соли у Вычеготцкой на посаде и во всем Усолском уезде в станах и в волостях крестьяне и всякие люди пив и вин не варили. А кому будет, для великие нужи, на великие праздники, и на родительские памяти, и на родины, и на свадьбы сварити не ото многа пива, и то б с великим береженьем, чтоб в том их во многом в хмельном питье хлебе лишних расходов не было». Можно, конечно, представить, хотя и с большим трудом, что у хлебных спекулянтов, к примеру, таких как Строгановы, хлеб бдительные граждане переписали, власти его продали по установленной цене и деньги вернули хозяевам, но, чтобы на свадьбы и поминки посадские или крестьяне варили мало вина и пива...

Раз уж зашла речь о хлебе, скажем о том, как непросто он доставался крестьянам Сольвычегодского уезда в семнадцатом веке. Про климат и говорить нечего – Вычегода не Дон и не Волга возле Саратова. Еще и поле найди, годное для вспашки – вокруг болота, бескрайние леса, часто подступающие к берегам рек. В мирской челобитной 1648 года посадские люди Сольвычегодска и крестьяне Сольвычегодского уезда просили сложить с них недоимки, объясняя это, в частности, тем, что: «у нас земли плохие и места тесные, меж болоты, и реками мечет и песками засыпает, и пашень прибавить негде, и хлеб позябает». Каждый клочок поля приходилось отвоевывать у леса, а уже отвоеванные участки каждый год чистить от бесконечно наступающей лесной поросли. Поэтому крестьянское хозяйство представляло собой лоскутное одеяло, кое-как сшитое из разбросанных то тут, то там клочков расчищенной и вспаханной земли – один был засеян рожью, другой овсом, на третьем росла трава, а четвертый стоял под паром. Если, конечно, все эти участки не затопила, к примеру, Вычегода или другая беспокойная река, которой надоело ее прежнее русло. Кроме того, необходимо учитывать, что земля на Севере теряла плодородие куда быстрее, чем в центральной России – буквально через два или три года. В Сольвычегодском уезде крестьяне на новых участках, отвоеванных с помощью подсеčno-огневого земледелия, получали один урожай в течение трех лет, а уже на четвертый год забрасывали их, так как земля к тому времени уже была бесплодна. Своего хлеба не хватало даже тогда, когда никаких катаклизмов не было, а уж когда перуанский вулкан устроил нам недород...

Бесовское умышление

Недородом, как известно, дело не ограничилось – оно им только началось. В середине января 1605 года в Сольвычегодский Введенский монастырь пришла грамота патриарха Иова о

ежедневном молебствии по случаю войны царя Бориса Федоровича с Гришкой Отрепьевым и о проклятии Самозванца со всеми его сообщниками, которые по наущению «врага и поругателя христианской веры литовского короля Жигимонта» хотят «бесовским умышлением своим в Российском государстве церкви Божии разорити и костелы Латынские и Люторские учинити и веру крестьянскую попрасти и православных крестьян в Латынскую и в Люторскую ересь привести и погубити». Через пять месяцев восемнадцатого июня 1605 года устюжский целовальник Пятко Кисельников привез в Сольвычегодск грамоту о воцарении Лжедмитрия I. Еще через несколько дней в город пришла грамота о приведении к присяге новому царю гостей, посадских и черных людей, к которой был приложен текст крестоцеловальной или подкрестной записи, то есть присяги. Грамота заканчивалась словами: «А как всяких людей к крестному целованью приведете, и мы вас и их пожалуем великим своим царским жалованьем, чего у вас на разуме нет». В конце июня все население города, включая все семейство Строгановых, было приведено к присяге.

У сольвычегодцев и на разуме не было, что царь, которому они собираются присягать, окажется самозванцем, что первый Лжедмитрий скоро сменится вторым, второй – третьим, что впереди Семибоярщина, поляки и литовцы в Кремле, шведы во Пскове и в Новгороде, ополчение Минина и Пожарского, изгнание интервентов из Москвы, Земский собор, выборы на царство Михаила Романова, и уж точно они не думали и не гадали увидеть зимой 1613 года под стенами сольвычегодского острога трехтысячный отряд пана Якуба Яцкого, но прежде чем приступить к рассказу об этих событиях, расскажем о том, что было между принятием присяги Самозванцу и осадой города воровской шайкой поляков и казаков.

Первого декабря 1605 года Строгановы получают от Самозванца жалованную несудимую грамоту на Максима Коввлевича, Никиты Григорьевича, Андрея и Петра Семеновичей, в которой сказано, что они, как и их братья, дети и племянники «или куды пошлют людей своих или крестьян с каким товаром или без товаров и для иных каких дел» местным судам неподсудны и делах их могут разбирать только в Москве и делать это будет или сам царь, или тот, кому он прикажет. Кроме того, семейство Строгановых было освобождено от целования креста, подводной повинности и получило право держать беззавочно «про себя» питье «всякое». Это, собственно, все, что получили Строгановы от первого Лжедмитрия. После того как на московский трон сел Василий Шуйский и началось восстание Болотникова, Строгановы всем семейством переезжают в Сольвычегодск и живут там тихо и спокойно вдалеке от театра боевых действий. Правительство нового царя несудимую грамоту Самозванца, не прибавив и не убавив в ней ни единого слова, подтверждает.

Время от времени в Сольвычегодск приходили с большой земли грамоты – в июне 1607 года от митрополита Филарета протопопу Благовещенского собора с прописанием богомольной грамоты патриарха Гермогена о молебне по случаю царского похода на войско второго Лжедмитрия, потом еще одна о молебне по случаю победы царского боярина князя Голицына над войском Самозванца, потом пришла царская грамота о трехдневном молебне по случаю сдачи мятежниками царским войскам Тулы и выдачи властям еще одного Самозванца – Лжепетра. В ноябре 1608 года устюжане прислали в Сольвычегодск письмо с рассказом о присылке из Вологды грамоты, в которой велено целовать крест «Царю Дмитрею Ивановичу», о разгроме Тушинского вора князем Скопиным-Шуйским, о походе Федора Шереметьева из Астрахани к Москве со многими воинскими людьми, о том, что галичане и костромичи «целовали были крест Царю Дмитрею, да слыша такое великое Божье милосердие, все меж себя крест друг другу целовали, что им за Государя Царя и Великого Князя Василья Ивановича всяя Руси ожить и умереть <...> И вам бы к нам отписати: что ваша мысль? А пишем к вам всякие вести и совет свой о всяком Государеве деле и земском, а вы к нам ничего совету своего не пишете. <...> Пожалуйте помыслите с миром крепко, а не спешите креста целовати: не угадать на чем совершится». Что и говорить – было от чего голове кругом пойти...

Через месяц новое письмо из Устюга о немедленной посылке ратных людей к Устюгу и к Тотьюме: «И вам бы, господа, ратных людей собрав тотчас, так же, как и иных городех радуют и

людей собирают, отпустить вверх, к Устюгу и к Тотьме, с головами, с кем вы изволите; а с Тотьмы и до Вологды идти. Да и о том бы вам пожаловати порадеи: отписати на Вымы и к Вычегде, и на Вятку, и в Пермь Великую <...> тотчас с нарочными гонцы». Сольвычегодцы в конце декабря того же года пишут пермичам о том, что «собрали ратных людей со всяким боевым оружием <...> и ко Государю Царю и Великому князю Василью Ивановичу всея Руси на помощь послали от Соли от Вычегоцкия первых людей сто пять человек Октября в 30 день <...> да с теми же, господа, с ратными людьми послали мы от Соли от Вычегоцкия городского снаряду три пушечки и с ядры и с зельем» и посылают им копию письма князя Михаила Скопина-Шуйского устюжанам о ратном деле. В конце января 1609 года сольвычегодцы снова пишут пермичам и торопят их с посылкой ратных людей. В апреле им же сообщают: «Государевы денежные доходы мы у себя, с посаду и с уезду, собираем и ко Государю Царю и Великому Князю Василью Ивановичу всея Руси посылаем» и предлагают пермичам делать то же самое для общей пользы. В середине мая 1609 года вологжане просят сольвычегодцев срочно прислать «ратных людей и наряду, и зелья, и селитры» для освобождения Ярославля от литовских людей и казаков. Еще через неделю от царя приходит похвальная грамота вологжанам, белозерцам, устюжанам, каргопольцам, сольвычегодцам и других городов посадским и ратным людям за усердную службу. В июне сольвычегодцы снова пишут пермичам и укоряют их за непосылку ратных людей на помощь царю: «А преж сего мы к вам о том Государеве о ратном деле писали многижда, чтоб вы Государю порадеи и ратных людей и всякого городского наряду, и зелья, и селитры, и свинцу, ко Государю на помощь послали: и вы Бога не боитесь, а Государя не слушаете; и вы то делаете не гораздо, Государевым ратным делом не радеете, и вам то от Бога и от Государя не пробудет».

Сольвычегодцев не зря отметили в похвальной царской грамоте – в декабре 1609 года они посылают ратных людей в район Вятки и пишут об этом пермичам: «И мы у Соли у Вычегоцкия приговорили всею землею, чтоб нам и вам Вятские земли не подати и воров бы в ваши места и к нам не пропустить: и мы, для крестьянския избавы, от Соли посылаем на помощь у Вятке ратных людей наспех, с сохи, резвых служилых людей с головами, а за тем, по вестям смотря, хотим итти к Вятке на помощь все своими головами. И вам бы, господа <...>». Впрочем, и на этот раз пермичи остаются к увещаниям сольвычегодцев глухи. В скобках все же заметим, что в бедном в те времена Пермском крае населения было раз-два и обчелся, и потому пермичи старались посылать вместо ратных людей, наем которых обходился очень дорого, деньги. Кроме того, Пермский край посылал деньги и поставлял продовольствие в Сибирь, и от него же Москва требовала искать людей для заселения новых земель. Освоение Сибири никто не отменял. Вот и крутись тут, вот и выкручивайся...

В сентябре 1610 года в Сольвычегодск пришла еще одна грамота – тоже царская, но уже от другого царя и великого князя «Владислава Жигимонтовича всея Руси». Писал королевич Владислав о том, что «Были на нашей службе Соли Вычегоцкия даточные люди, Семейка Бобошин с товарищи, семьдесят человек и ныне, по нашему указу <...> отпущены к Соли Вычегоцкой по домам». Далее королевич сообщает, что еще часть сольвычегодцев просто разбежалась, и велит, чтобы тем, которых отпустили по приказу, выплатить жалованье за те месяцы, что они в Москве были, а тем, которые самовольно разбежались, не платить ничего. И грамота настоящая, потому как «печать у грамоты Государева, на черном воску, орел двоеглавый». Вот и пойми, кто теперь на Москве царь, когда что ни год, то новый...

Седьмого апреля 1612 года в Сольвычегодск пришла грамота воеводы князя Пожарского с товарищами и всех ратных людей из Ярославля о всеобщем народном ополчении: «И, вам, господа, помня Бога и за православную христианскую веру твердое и непоколебимое собрание, денежную казну, что есть у Соли Вычегоцкой в сборе, прислати к нам в Ярославль, ратным людям на жалованье, чтоб нам всем единокупно за свою веру и за отечество против врагов своих безсумненной верою стояти. Да поревновать бы, господа, господа, пожаловати вам гостем и посадским человеком, чтоб вам промеж себя обложить, что кому с себя дать на подмогу ратным людям; тем бы вам ко всей земли совершенную правду и радение показати и, собрав с себя те деньги прислати к нам в Ярославль тотчас».

И поревновали, и промеж себя обложили, и прислали, и радение показали. Не в первый раз так делали. Еще в 1608 году Строгановы начинают давать деньги правительству Шуйского на выплату жалования пришедшим на службу в Москву дворянам и детям боярским украинских и северских городов, оставивших свои разоренные интервентами поместья. Счет идет на тысячи рублей. Понятное дело, что Строгановым и доверие властей было особое. Когда в мае 1611 года правительство Прокопия Ляпунова назначило в Сольвычегодск Ивана Чепчугова новым воеводой, то и к Строгановым обратилось с просьбой: «И вам бы, господам, с Иваном Микифоровичем промышляти за один о всяких земских делах, чтоб вам, памятуя крестьянскую веру, помочи ратным людям казною». Строгановы из населения собственных вотчин формируют и полностью на свой счет обеспечивают отряды, которые посылают на помощь войскам Шуйского. Деньгами Строгановы ссужали не только Василия Шуйского, но и Прокопия Ляпунова. Ополчению князя Пожарского и Кузьмы Минина дали в долг четыре тысячи рублей, при вступлении на престол Михаила Романова внесли три тысячи.

Шайка пана Яцкого

Вернемся, однако, к шайке пана Яцкого, которая приготовилась брать приступом сольвычегодский острог. За несколько месяцев до того, осенью предыдущего года, сольвычегодский воевода предупредил горожан, что нужно быть готовыми к приходу польско-литовских людей, привлеченных сюда слухами о несметных сокровищах вотчины Строгановых. Осенью, однако, никто не пришел. Головорезы полковника Яцкого появились на противоположном от Сольвычегодска берегу Вычегды только двадцать второго января. Нельзя сказать, что сольвычегодцы смотрели на незваных гостей сложя руки – посадское население, строгановские дворовые люди и пососная рать, то есть крестьянское ополчение, или посоха, аккурат напротив крепости прорубили пешнями и топорами во льду замерзшей Вычегды огромный канал шириной несколько сажень в ширину и несколько верст в длину. Горожане вытащили на лед поближе к полынье пушки, затинные пищали и стали обстреливать поляков и казаков. Противник, который по численности и военной выучке сильно превосходил сольвычегодцев, со своей стороны сделал то же самое, да еще и стал наводить понтонные мосты через полынью. Еще два отряда разбойников обошли прорубленный канал с двух концов и атаковали посадских и посоху, которые, потеряв многих убитыми и ранеными, и без того уже стали отступать с реки на берег, к Благовещенскому собору. Большая часть защитников города, не выдержав натиска поляков и казаков, разбежалась по домам спасать имущество и домочадцев.

Стрельцы сольвычегодского гарнизона и посоха по приказу воеводы князя Григория Ивановича Гагарина собрались в огромном дворе строгановских хором, которые были так хорошо укреплены толстыми стенами и тыном с земляной насыпью, что полковник Яцкий не решился брать их штурмом. Вместо этого он повел своих грабителей на штурм острога, защищавшего Троицкую посадскую сторону Сольвычегодска. К сожалению, огромный в масштабах Сольвычегодска острог был построен на вырост, и оборонять его горсткой людей было невозможно. Поляки прорвались внутрь, но на площади у гостиного двора и соборной церкви Воскресения христового их встретил маленький отряд посадских под командой соборного священника Леонтия. Бандиты убили их всех – и Леонтия, и двадцать шесть бойцов его отряда. Всего при штурме погибло около двухсот человек.

На следующий день после взятия острога началось разграбление посада. Поляки, литовцы и казаки ограбили собор, посадские церкви, торговые лавки, дома, перебили часть жителей и на третий день ушли вместе с награбленным по Устюжской дороге. Преследовать их гарнизон Сольвычегодска не стал.

Заканчивая разговор об этом печальном эпизоде истории Сольвычегодска, приведем письмо двух сольвычегодских старцев – Арсения и Авраама, отправленное в середине февраля 1613 года игумену вологодского Спасоприлуцкого монастыря Тихону. «В пречистую и великую обитель

Всемилоственного Спаса и преподобного отца нашего и великого чудотворца Дмитрия Вологодского, государю игумену Тихону, яж о Христе и с братьею, от Соли Вычегодские, чудотворцова промысла, старцы Арсений да Авраам челом бьют: как вас Бог милует? А мы, по милости Господни, Февраля по 15 день, живы, а впредь тогож Господня воля; а у нас у Соли, по грехом нашим, Генваря в 23 день, с Двины пришли от Каргополя Польские и Литовские люди и Русские воры, и людей многих присекли, и храмы и дворы многие пожгли и пограбили; а нас Бог от них помиловал, от них утулились, а чудотворцов и ваш промысел Бог измиловал: варницы и онбар с солью уцелел; люди добрые пожаловали отняли от огня, и дворишко наше цело – хоромы и стены; а хозяйство рознесли всё и ничего не оставили, и только одни стены голые, да у нас же взяли паны мерина дрововоза ссекли; а промышлять, государи, нам ныне нечем, денег нет; кои дрова в заливе, и нам и нанять нечем дров сеччи и возить; и буде похотите промышлять, и вы бы к нам прислали денег и дьяка, не мешкая; а нам денег занять не у кого; а буде не пришлете вскоре ни денег ни дьяка, и нам одному коему-нибудь к вам брести к Вологде, что нам двум жить не над чем, нет ни денег ни хлеба; а старой наш двор воры сожгли весь, лише одна горница осталась; а соли у нас уварено все соли прошлогодней онбар не полон, а числа не ведаем, много ли Бог даст мало ли; а нам жити не у чего. А после мы разоренья пришли к Соли, и мы на первое купили ковригу хлеба и дали алтын; да и ныне также покупаем; а у клетей и замки и двери высечены, и замки сломаны и у анбаров; да пожалуйте, мне Аврааму сапоги пришлите; а что сказали взять мне у старца сапоги, и мне старец не дал сапогов, а я волочусь в лаптях ныне; а у нас соли пуд по два алтына две денги купят, а бегали мы от воров на Лальское, и сидели в осаде, 12 ден не выпустили нас, и мы оттоле приехали на Виледь на засеку, и нас оттуда непустили 3 дни; а мы вам мало пишем, а много челом бьем: будите здравы о Христе».

Новый острог

Острог, который взял штурмом отряд Яцкого, был предпоследним в истории Сольвычегодска. Уже после того, как поляки взяли острог приступом, посадские люди писали царю: «...и велик и не по людям, и посадить было такого великого острогу в осадное время ратным нечем». Через шесть лет после разграбления города поляками и казаками в город пришла царская грамота, которая предписывала поставить новый острог, чтобы поляки и литва, «пришедшие безвестно, Соли Вычегодския изгоном и оманом не украли и какова дурна не учинили». По царской грамоте нужно было еще и засеки по уезду ставить и на эти засеки посылать людей из посада и уезда, вооружив их огнестрельным оружием, луками и рогатинами.

Новый острог меньших размеров и более приспособленный к защите имеющимися силами велено было поставить внутри остатков старого, слишком большого. Собрали для этого с посада и монастырей деньги, наняли артель своих же усольцев – артель некоего Андрюшки Ярового, который начал строить... и не закончил. Стройку пришлось заканчивать посадским и уездным крестьянам. Заканчивали долго, в течение нескольких лет, и все эти годы ругательски ругались с Андреем Семеновичем Строгановым. Дело в том, что царь велел воеводе при строительстве острога советоваться с «лутчими» людьми посада, первым среди которых был, конечно, Строганов. Вот именно с ним посадские и не хотели советоваться. С какой стати, спрашивается, советоваться, если во время штурма острога и разграбления города Андрея Семеновича и всей его родни в Сольвычегодске не было – Строгановы заблаговременно уехали подальше от опасности. С какой стати, если острог строится на деньги посада и монастырей. Завязалась бурная переписка – Андрей Семенович писал царю, что посадские царского указа не слушаются и вместо того, чтобы ставить новый острог внутри старого и вокруг Благовещенского собора, ставят новую крепость на Никольской стороне города – возле своих посадских домов. Между прочим, доводы у Строганова были вполне резонные – новый острог окружали высокие храмы, и с их колоколен и крыш прекрасно он просматривался и простреливался. Андрей Семенович обещал отдать под новый острог в нужном месте половину своего двора, огород и сто рублей, просил царя прислать

новый указ, но... нашла коса на камень. Посадские тоже умели писать и писали царю о том, что Строгановы, предлагая поставить новый острог возле Благовещенского собора, хотя укрепить от весенних паводков свои дворовые места, расположенные на берегу Вычегды, за счет посада. Мало того, Строгановы уже успели построить на территории нового острога свои дворы и амбары. Между прочим, на посадской земле, которая им не принадлежит. Строгановы уже истратили на строительство новой крепости четыре тысячи рублей, и от таких расходов многие посадские и крестьяне Сольвычегодского уезда обнищали. В 1626 году в Сольвычегодск для «городового дела» был прислан князь Вяземский. В городе к тому времени уже стояло два острога – старый, пострадавший от поляков и новый, построенный не там, где приказывал царь и хотели Строгановы. После того, как Вяземский уехал, в Сольвычегодске появился третий, совсем маленький острог, вокруг Благовещенского собора, и этот третий... тоже был построен на деньги горожан.

По писцовым книгам 1625 года новый городской острог был меньше старого, построенного в самом начале семнадцатого века. Периметр стен составлял около полутора километров, то есть на пятую часть меньше периметра стен старого острога. Острожные стены высотой три сажени стояли на высоком земляном валу. Двадцать две башни, в числе которых было шестнадцать глухих и шесть воротных, стояли плотно. Названия пяти воротных башен нам известны – Кабацкая, Орловская, Введенская, Воскресенская и Спасская, в которой находились главные ворота острога. Крепость была окружена рвом глубиной три с небольшим метра и шириной немногим более шести метров. От ворот Спасской башни через ров шел мост, а на дне рва с той стороны, где вероятнее всего неприятель пойдет на приступ, был поставлен мелкий тын или частич из заостренных бревен. На других сторонах во рву вкопали надолбы – наклонные в сторону противника заостренные бревна. В стенах острога были проделаны бойницы для обстрела неприятеля, и для обороняющихся были сделаны специальные полаты, на которых они могли стоять с оружием в том случае, если враг прорвется к стенам. Конечно же, острог был снабжен огнестрельным оружием. В казенном погребе хранилось более семисот железных ядер разного веса и калибра, около шестидесяти затинных пищалей разной длины и к ним тысяча триста железных ядер, сорок шесть ручных пищалей, к которым не было замков, четыре немецких полностью исправных пищали с замками, три тюфяка, то есть дробовика, около тысячи железных пуль, около пятисот свинцовых и семьдесят железных ядер «нихкоторым пищалем ни пригодятца». В тринадцати бочках хранилось пятьдесят семь с небольшим пудов пороху. К пороху прибавим полтора пуда свинца к затын-ным и ручным пищалам, два пуда железной дробы, три с лишним пуда железных огарков, полторы гривеньки горящей серы, сорок шесть фитилей и около двух пудов поскони, то есть конопля, из которой фитили и делали. Внутри острога поставили воеводскую избу, пять деревянных церквей, съезжую и таможенную избы, кабак и лавки³⁸. Между прочим, отмечено, что пищали немецкого дела «куплены у города на мирские деньги <...> две пищали медные в длину полусеми пяди, да пищаль же медная в длину полушесты пяди, а те медные пищали деланы у Соли на мирские деньги, пищаль железная в длину полудевяти пяди делана у Соли ж».

К описанию всех этих фортификационных и артиллерийских подробностей добавим, что по составленной через два года росписи казенных артиллерийских запасов видно – пушки и пищали уже не стояли на своих местах у амбразур крепостных башен, а лежали под сараем у съезжей избы и в казенном погребе. За год до этой переписи в Сольвычегодске случился сильный пожар, в результате которого сгорело около двух сотен посадских дворов, хлебные и соляные амбары, съезжая, таможенная, воеводская и дьяческая избы, харчевни, осадные дворы, шестьдесят семь лавок. Новый городской острог, конечно, тоже пострадал.

К счастью, на Сольвычегодск после несчастного случая в тринадцатом году, никто не нападал, но перепись артиллерийского наряда велась регулярно. В этих описях ничего нового нет – только раз от разу число неисправных артиллерийских стволов становится больше – то станки у пищалей изломаны, то замки, то «у запалов изорвало, а третью затынную пищаль изорвало всю», а то и вовсе в конце списка можно будет прочесть: «три комка железных горелых ни к чему не годятца». Стоит процитировать полностью только одну запись 1645 года: «пушка медная – змей, длина два

аршина с полувершком, весу девять пудов с четвертью, подпись на ней: Семь тысяч сто двадцать второго году Генваря двадесятый день, Великого Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича всеа Руси то е пушку лил мастер Мокий Гребешков у Соли Вычеготской». Выходит, что не только пищали, но и пушки могли отливать на сольвычегодском посаде. В первой четверти семнадцатого века далеко не каждый уездный город в Московском царстве мог похвастаться такими мастерами.

Пройдет еще чуть более полувека, и в переписной книге 1678 будет сказано: «Тех двух острогов и земляного валу ныне ничего по переписи не объявилось; около дворов именитых людей Строгановых был деревянный же острог и того острогу стоят две башни, одна проезжая, а другая глухая, гораздо ветхи и развалились».

И еще одна маленькая, но важная деталь, имеющая отношение и к сольвычегодскому острогу, и к Строгановым, и к Сольвычегодску. Двадцатого октября 1629 года новый сольвычегодский воевода князь Никита Гагарин посылает в Устюжскую четверть отчет о принятии дел у прежнего воеводы князя Ивана Хилкова, в котором пишет: «а ключей <...> острожных мне <...> не дал, а речью сказал, что острожные ключи живут у Андрея да у Петра да у Ивана Строгановых».

Прежде чем перейти к занятиям сольвычегодцев в семнадцатом веке, скажем о том, что в Сольвычегодском уезде имелось на случай войны или, не приведи Господь, еще одной Смуты, еще несколько маленьких и очень маленьких острожков. Возле Ратмировского погоста, состоявшем по писцовым книгам 1645 года всего из шести бобыльских дворов, стоял пустой, полусгнивший и развалившийся острожек под названием Рахлей, в котором «погреб казенный с клетью, около погребы тын стоячей на иглах, а на погребе три пищали затинных, к ним тысяча ядер железных, да пищаль затинная испорчена, да двадцать ручниц, да три пуда пороху, пуд свинцу, да в двух ящиках пятьсот стрел и тот тын замкнут и запечатан, приказано беречь городничему деревни Кузьминской Федке Федотову».

В Ильинской волости погост, а около погоста острог, в котором четыре пищали затинные, пятая испорчена, два десятка ручных пищалей, пять пудов пороху, пуд свинцу, почти две тысячи ядер железных и триста восемьдесят «стрел лучных, да четыре лучишка черемеских». Середина семнадцатого века, артиллерия уже давно бог войны, а в ящиках на всякий случай еще хранятся стрелы. Мало ли какой... В изданном «Месяцослове историческом и географическом на 1792 год» об этих и других городках, от которых к тому времени остались только давно оплывшие валы, рвы с лягушками и ветхие деревянные церкви, сказано: «Но когда, кем и на какой случай городки сии построены, никакого известия ни писменного, ни словесного не имеется».

Пять сороков соболей

Теперь поговорим о том, чем же занимались жители Сольвычегодска в семнадцатом веке. Прежде всего на ум приходит соль, но как раз именно с солью и были проблемы, поскольку соляные источники в результате такой интенсивной эксплуатации начали истощаться, концентрация соли в них упала, и к концу семнадцатого века они потеряли свое промышленное значение. Сольвычегодское солеварение стало приходить в упадок. Приведем только один пример: в 1626 году строгановский вотчинный Введенский монастырь продал шесть с лишним тысяч пудов соли, а в 1679 году – тысячу семьсот, то есть более чем в три раза меньше. Это при том, Строгановы Введенский монастырь конкуренцией не душили.

Истощение сольвычегодских источников на Строгановых мало отразилось – они просто перенесли центр соледобычи в свои пермские вотчины, где соляные источники в районе Соли Камской были куда богаче. Вслед за солеварением в пермские вотчины стало перемещаться железнотделательное производство, а за железом потянулись и кузнецы. Упадок солеварения привел и к упадку посада. По переписи 1644/45 годов на посаде осталось всего три «лутчих» двора, девятнадцать «середних», а кроме категории «молотчих», то есть бедных дворов, которых насчитали сто восемнадцать, появилось пятьдесят три «самых молотчих» дворов, то есть беднее некуда, два

десять вдовьих дворов, а тридцать шесть дворов просто опустели. Оставшиеся крупные соле-промышленники продавали соль уже не тысячами, а лишь сотнями пудов. В 1642 году посадский человек Петр Гогунин за четыре раза привез в Устюг водой и на лошадах тысячу семьсот пудов соли. Все же пять строгановских варниц в Сольвычегодске за весь семнадцатый век произвели около трех миллионов пудов соли. Лишь небольшая ее часть поступила на сольвычегодский торг – большая часть была продана в других городах. Да и в Сольвычегодск за солью приезжали редко – в 1651 году приехало три покупателя, купившие соли на двадцать рублей, а на следующий год еще три, купившие соли и вовсе на два, четыре и шесть рублей. Приезжали покупать устюжане. По устюжским таможенным книгам можно видеть, что седьмого февраля 1677 года «Устюжанин Андрей Афонасьев Чюприяновских с товарищем приехали от соли Вычегоцкой, явили по усьольской выписи сто пудов соли и продали на Устюге, цена десять рублей». Сами сольвычегодцы приезжали в Устюг продавать соль. Пятнадцатого июня 1679 года «Соли Вычегоцкой Введенского монастыря слуги Андрей Иванов Квасников явили соли восемьдесят пудов. Да слуга же Анисим Савельев Дементьевых явил соли сто двадцать пудов. И тое обое соль продали они слуги, на Красном бору, цена двадцать рублей». Приказчик Строганова Иван Перфирьев продал двадцать пудов соли на два рубля, слуга Спасского Прилуцкого монастыря Иван Лукин продал шестьдесят пудов соли на шесть рублей... Не бог весть какие обороты, если честно.

В конце первой четверти семнадцатого века сольвычегодский торг представлял собой пятьдесят четыре лавки, полтора десятка лавочных мест, семь амбаров, девять харчевен и двадцать одну кузницу. Торговали в первой четверти семнадцатого века тем же, чем и в последней четверти шестнадцатого. К тому, что уже было сказано о сольвычегодской торговле шестнадцатого века, можно прибавить большое количество овощей, которое привозили жители Вологды и Тотмы. Ассортимент был, мягко говоря, скромный – лук, чеснок, капуста. Из Вологды привозили не только овощи, но и кожи, рубахи, мыло, грубое домотканое полотно, обычно крашеное в синий цвет, кожаные рукавицы, нашивки в виде двойных полосок тонкой телячьей кожи с плетеными из этих же полосок пуговицами или, как их тогда называли, опойчатые нашивки. Из Устюга привозили хлеб, домашний скот, железо, лен. Таможенные книги говорят о том, что средние и мелкие торговцы везли сапоги, лоскутья, орехи, сало, карты, изюм, медь, замки, иконы, сушеные грибы, икру и красную рыбу с Печоры, писчую бумагу и железные полицы для цренов. Большие партии хлеба скупало на сольвычегодском торгу московское правительство. Торговали дровами – варницы требовали большое количество топлива. Самым интересным и самым дорогим товаром была конечно же пушнина. К началу семнадцатого века пушного зверя на европейском русском Севере большей частью выбили. Основным источником пушнины стала Сибирь. Меха на сольвычегодский торг привозили сибирские купцы, устюжане и сольвычегодцы, промышленявшие их скупкой за Уралом. В 1626 году «Усонец Пимен Стрекаловских явил 5 сороков соболей, цена 140 рублей <...> усонец Треня Исаков явил 71 соболю, цена 35 рублей <...> усьольского уезду Микифор Леонтьев да Спиридон Осипов явили 4 сорока, 20 соболей, цена 110 рублей». Таких записей в таможенных книгах не одна, не две и не двадцать. За соболями приезжали богатые и очень богатые покупатели из Москвы, которые приобретали в Сольвычегодске соболей на многие сотни и тысячи рублей. К примеру, в 1642 году купец гостиной сотни Данила Панкратьев скупил в Сольвычегодске на ярмарке одних соболей на шесть тысяч рублей. Торговали не только соболями, но и куницами, лисицами, норками, бобрами и белками. В некоторые годы первой половины семнадцатого века оборот распроданного на сольвычегодском торгу меха составлял от двадцати до тридцати тысяч рублей. Зажиточные люди сольвычегодского посада не оставались безучастными к торговле пушшиной и на свои деньги снаряжали ватаги промышленников, уходивших в Сибирь за соболем. Некоторые сольвычегодцы и сами по себе уходили в Сибирь на пушной промысел. Уходили не от хорошей жизни, а от бедности. Уходили и жили на промыслах годами – кто два года, кто пять лет, а кто и десять. При этом в Сольвычегодске эти люди посадские пошлины платить переставали, что, понятное дело, никак власти не устраивало. У сольвычегодского воеводы был повод для беспокойства – в период с 1655 по 1657 год в Мангазейский уезд ушел шестьдесят

один человек, а в период с 1666 по 1667 год в Енисейский уезд ушло почти сто человек. Крестьян ловили на дороге и возвращали домой. Тех же, кто ушел в Сибирь вместе с женами и детьми несколько лет назад, надлежало найти и вернуть.

У большой дороги

Из указной грамоты 1625 года Устюжской четверти к Соли Вычегодской к писцам о сыске и съезде крестьян, бежавших в Сибирь: «А которые крестьяня з женами и з детьми побежали было из Усольского уезда и на дороге переиманы, а в побеге и в житье подаваны на поруки з записями, да с теми-ж крестьяны взята верхотурская проезжая грамота, что отпущены с Верхотурья в Усольской уезд Евсюк Васильев, Лучка Микулин по жены и по дети, и про тех крестьян про Евсютку и про Лучку, да и про иных крестьян, которые из Усольского уезда в Сибирские города вышли в прошлых годах, сыскати про них всякими сыски накрепко, хто имянем из Усольского уезда ис которые волости и деревни и в котором году в которые Сибирские города вышли, и после их хто ныне теми их жеребьи земли владеет и тягло платят, или те их жеребьи и ныне лежат в пусте. Да будет по сыску тем крестьяном Евсютке Васильеву и Лучке Микулину или иным которым крестьяном тому, как они из Усольского уезда вышли в сибирские города, меньше 10 лет, сами живут в Сибири, а жены их и дети живут ныне в Усольском уезде, и к тем крестьяном в Сибирь жон их и детей из Усольского уезда не выпускать и тех всех крестьян самих, которые живут в Сибири, с женами и без жон из Сибирских городов, где хто ни живет, вывести к Соли Вычегодской по прежнему на житье на старые их жеребьи, где хто в которой волости и на котором жеребью наперед сего жил. А будет ис тех сошлых крестьян, которые ныне из Сибири пришли по в Усольский уезд по жены и по дети, и вперед которые так же по жены и по дети учнут приходиться, или будет которые крестьяня, на то смотря, потому-ж из Усольского уезда учнут вновь подыматца бежать в Сибирь, или инуды куды ни есть, и о тех о всех беглых крестьянех в Усольском уезде заказ крепкой учинить и велеть их, имая, давати в жите на крепкие поруки з записями, что им из Усольского уезда, покиня свои жеребьи, в Сибирские ни в которые города и инуды никуды ни выходить, а жити им з женами и з детьми в Усольском уезде на старых своих жеребьях, где хто в которой волости наперед сего жил, и тягло им тянуть по прежнему с мирскими людьми вместе».

Расцвет торговли пушнинаой в Сольвычегодске пришелся на вторую половину семнадцатого века. Как только торговые пути в Сибирь и обратно стали проходить южнее, Сольвычегодск оказался не у дел, и торговля соболями пришла в упадок. К восемнадцатому веку от нее и следа не осталось.

Участие Сольвычегодска в сибирских делах, как мы уже говорили, не ограничивалось посылкой людей для закупки пушнины. Через Сольвычегодск и уезд шло сообщение с сибирскими городами в двух направлениях, и ямская повинность легла на уезд тяжелым бременем. Нужно было доставлять почту, во-первых, зимой по направлению на Соликамск до Кайгорода – полтысячи верст, а летом – водным путем до Соликамска; во-вторых – через Уральские горы до Березова. Эта дорога была длинной в три тысячи верст. Кроме того, нужно было давать подводы до Пуштозерска, до которого было полторы тысячи верст, и до Вятки. Подводы с лошадьми и лодки нанимали у местных крестьян, а за наем нужно было платить очень немалые прогонные деньги. К примеру, наем подводы на расстояние пятисот верст стоил пять рублей, а на три тысячи – тринадцать. Если все умножить на количество подвод в год... Огромные деньги в Московском государстве первой половины семнадцатого века. Особенно для бюджета Сольвычегодского уезда. Прибавим сюда убытки от палых и хромых лошадей. Собрать ямские деньги со всего уезда было настолько непростой задачей, что сольвычегодский всеуездный староста назывался еще и всеуездным ямским земским старостой.

И это не все. В январе 1635 года московские власти издали указ, по которому города, приписанные к Устюжской четверти, а Сольвычегодск был именно таким городом, были обязаны выделить десять человек, «которые б были не вору и прожиточны, и душою прямы» для посыл-

ки их в сибирские города на должности таможенных голов. Вот и найди им не воров, да еще и прожиточных, когда в самом Сольвычегодске прожиточных раз-два и обчелся. И такие указы с требованием людей в сибирские города приходили регулярно – то нужно специалистов по поиску соляных источников, то соловаров, то железную руду нужно искать, то выплавлять железо, то кузнецов подавай, то судовых плотников с оснасткой, и посылай их на Верхотурье строить суда под хлебные запасы, предоставить которые от сольвычегодского воеводы регулярно требуют вышестоящие инстанции. Нет плотников – давай денег на плотников, не можешь прислать хлебные запасы – собери денег на их оплату, и все это срочно, немедленно, и каждый месяц шлют тебе не одну и не две указные грамоты и требуют выслать, доправить...

Конечно, расположение на сибирском тракте очень способствовало превращению Сольвычегодска в торгово-ремесленный центр, а не просто в место, где покупают и продают. Одних только кузниц на сольвычегодском посаде в середине семнадцатого века было сорок восемь, и занимались они не только ремонтом и изготовлением цренов для местных нужд, а в огромном количестве делали серпы, ножи, топоры, подковки для сапог, замки, ключи, оружие для промыслов, ножницы, иголки, буровой инструмент, гвозди, судовые снасти и якоря, которые обозами везли и везли в Сибирь.

Правда, в городе у большой дороги случалось разное... В 1627 году проезжали через Сольвычегодск новоназначенные сибирские воеводы – князя Семен и Михайло Гагарины, князь Рыщеховский, князь Михайло Белосельский и Иван Волинский. В Сольвычегодске они, как и все командировочные, уехавшие на большое расстояние от того места, откуда их командировали, то есть от Москвы, здорово перепились и в пьяном виде, как потом сами признавались, «в колокол велели звонить в церкви у Воскресенья для сполуху <...> вышли тут же на площадь с достальными своими людьми с самопалы, и з саблями, и з луки, и з стрелами, и з чеканы и велели они в них стреляти из самопалов и из луков побирати на смерть». В пьяном виде ходили по улицам, били в барабаны и на базарной площади стреляли в разбегающихся посадских. Сольвычегодский воевода... сидел тихо и на улицу носа не показывал – что он мог сделать с князьями и такими же, как он, воеводами... Через какое-то время пьяные воеводы со своими людьми все же выехали по дороге на Кайгород более чем на ста подводах, реквизируя при этом около тысячи лошадей у посадских, уездных крестьян и даже у Строгановых. Видимо, воеводы и их люди, уезжая из Сольвычегодска, прихватили с собой все, что было им нужно для продолжения банкета, а потому водку пьянствовать и безобразия нарушать продолжили по дороге. Проезжая по уезду, они у крестьян «дворы пограбили и житницы разломали и хлеб и овес с собою имели, а иной хлеб, рожь и овес, и ячмень по улицам сыпали и людей саблями били и лошади крестьянские и Строгановы и монастырские и Устяжские многие с собою <...> погонили в лишке». В двух верстах от Сольвычегодска пьяные подчиненные князя Семена Гагарина встретили людей Петра Семеновича Строганова, ехавших с хлебом, избили их и четырех лошадей отняли. Со Строгановыми они, конечно, зря связались. За их бесчестие и за бесчестие их людей полагалось по царскому указу сто рублей штрафа. Их челобитные разбирал сам царь или человек, которого он назначит. Петр Семенович немедленно накатал жалобу, в которой писал: «И человек мой Ивашко почал тому Дорофейко с товарищи говорити: «Што де ты, Дорофей, делаешь негораздо, бьешь и грабишь?» И как того Дорофейка человек мой Ивашко опознал, и он Дорофейко с товарищи начал ево Ивашка и досталь бити на смерть, и хотел ему тот Дорофейко отсечи голову, и человек мой укрылся рукою, и у него саблею отсек руку, и он упал заумертв»³⁹.

К счастью, такое случалось редко. Куда чаще сольвычегодцам приходилось терпеть утеснения от своих же воевод. Сказать, что воеводы брали взятки, значит не сказать ничего.

Воеводы

Поборы начинались еще до того, как воевода приступал к исполнению своих обязанностей. В 1635 году воевода Федор Головачев, только приехав в Сольвычегодск и еще не вступив в долж-

ность, потребовал с мира четыреста тридцать рублей. Этими деньгами дело, конечно, не ограничилось. Головачев, вмешиваясь в земские выборы, сам назначал выборных к разным казенным службам, нимало не считаясь с очередью. За такие назначения он брал с каждого выборного откупного по пять рублей. Подписывать результаты таких, с позволения сказать, выборов, сольвычегодцы должны были под угрозой битья батогами. Посадского целовальника, отказывавшегося поставить свою подпись, воевода «убил на правее и ноги ему переломал». Руки в казну Головачев запускал при каждом удобном случае – каждый раз при отправлении налогов в Москву брал три рубля. Буквально отбирал у земского старосты деньги за сено и дрова, хотя тот предоставлял ему эти припасы бесплатно. О съестных припасах и говорить нечего – ежедневно брал у старосты «многие харчи во весь год хлебом и калачами, и рыбою и живыми быками», а ему приказывал списывать эти продукты на проезжавших через Сольвычегодск сибирских воевод. У себя на дворе Головачев устроил две пивоварни, для которых хмель и солод требовал у сольвычегодцев.

Теоретически на воеводу можно было пожаловаться в Москву, и тогда начиналось следствие, но... оно могло длиться долго, а воевода, продолжавший исполнять свои обязанности, мог жалобщикам испортить немало крови, и потому жаловались на воевод обычно после того, как их переводили в другое место после окончания срока. Видимо, Головачев успел насолить сольвычегодцам так, что ждать окончания срока его службы и потом писать челобитную они не стали. Из жалобы сольвычегодского воеводы в Москву следовало, что посадские, по наущению видной местной посадской семьи солепромышленников Гогуниных вместе с земским старостой и целовальниками во главе, двенадцатого февраля 1636 года составили заговор с целью его, воеводу, убить, а занимаемый им двор сжечь. Заговорщики наняли шестьдесят человек «посадских безместных людей, ярыжек» и тринадцатого февраля после обеда ударили у церкви Климента Чудотворца в набат. Нанятые посадские пришли к воеводскому двору «с луки, с пицали и с ослопы, и с камнем, и с бревны, и с соломою, и с огнем, и с топоры, и у двора ворота выломали». Двор подожгли, воеводу связали, а имущество его разграбили, приговаривая при этом «которые де мы деньги давали, те и взяли». Собралась толпа, ругательски ругающая воеводу. Кое-кто предлагал и вовсе Головачева убить. Мздоимца спасли Андрей и Петр Строгановы, выступившие посредниками между ним и сольвычегодцами. Так или иначе дело дошло до царского суда. Головачев хотел помириться с посадскими, вернув им те самые четыреста рублей, с которых началось его воеводство, но горожане отказались, и тогда обе стороны обратились в приказ решить дело пыткой – воевода предлагал пытать предводителя посадских Гогунина, а Гогунин со своей стороны предложил пытать Головачева, обвиняя его в поклепе. Царь, рассмотрев дело, приказал произвести в Сольвычегодске большой повальный обыск. Ко всему вышесказанному о мздоимстве Федора Головачева можно добавить только одно – летом того же года в Сольвычегодске вспыхнули беспорядки, связанные с поборами нового воеводы Федора Левашова, который, как только приехал, объявил, что за свою смоленскую службу пожалован воеводством в Соли Вычегодской. Воевода понимал свое пожалование просто – его обязаны кормить в самом прямом смысле этого слова «и харчи всякие носить на двор по вся дни»⁴⁰. Надо сказать, что Левашов в своей трактовке воеводства как кормления был не первый и не последний. Расходные книги всеуездных земских старост сохранили нам многочисленные случаи этих кормлений.

Возьмем, к примеру, сольвычегодского воеводу Якова Булычева, управлявшего городом и уездом в 1674–1675 годах. Исправлявший в то время должность всеуездного земского старосты Роспута Пихтусов был человеком ответственным и все расходы скрупулезно записывал. Приезд воеводы отмечали в новой избе. Спонсором новоселья выступил староста Пихтусов. Кроме того, самому воеводе староста по старой и недоброй традиции дал денег в почесть, то есть взятку. Почесть дворецкому воеводы в большие праздники составляла три алтына и две деньги. Такую же сумму получала воеводская жена, а в другие праздники и при трапезах – алтын и четыре деньги. Столько же получала воеводская внучка. Пришел староста на обед к воеводе – принес в почесть денег. Людям воеводы на весь его двор вручалось всегда одна и та же сумма – три алтына и две деньги не зависимо от размера праздника. Ключник, повар и конюх всегда получали по одному

алтыну. В октябре 1675 года в разных числах состоялись именины воеводы и его жены. На именины были приглашены мирские люди, как тогда говорили, «хлеба есть». Вот только хлеб этот и не только его они приносили с собой – к именинам воеводской жены семгу свежую и соленую, шук, язей, сивов, палтусов, тесто и рыбу для кулебяк. На именины самого воеводы одной только семги принесли три килограмма, полпуда сивов, трех шук, палтуса и «свежих рыб всяких». На свадьбу воеводского человека Наума пригласили старосту с целовальниками и посыльщиком Петром. Гостям пришлось принести костреца мяса, свиной окорок и подарить новобрачным полтину денег. Ну, а воеводе, его жене, внучке и всем остальным приглашенные дали денег как для обычных праздников. Когда в семье дворецкого родилась дочь, староста дал денег сначала на родины, потом продукты и деньги на крестины, потом были именины самого дворецкого, и снова старосте пришлось нести деньги имениннику, его жене и детям... И это не все. Приезжал навестить мать пасынок воеводы, прогостил полтора месяца, и когда уезжал, староста его слугам дал почесть деньгами. Для обработки воеводского города Пихтусов нанял конечно же за мирские деньги человека для вспашки, унавоживания и боронования, потом для разделки гряд и посадки рассады, потом для полива капусты...⁴¹. Если вы думаете, что в соседних Устюге или в Тотьме, или не в соседней Чухоме было по-другому, то ошибаетесь.

Не везло сольвычегодцам с воеводами, что и говорить. В 1644 году в Сольвычегодске на воеводстве был князь Кольцов-Масальский. Против обыкновения это был человек порядочный и справедливый. По тогдашним правилам воеводу через год меняли. В Москве не без основания полагали, что воевода, если дать ему сидеть на одном месте больше одного года, так станет брать... Можно сказать, что Кольцов-Масальский был не то что исключением из правил, но... Всеуездный сольвычегодский мир отправил царю челобитную, в которой свидетельствовал, что их воевода государю радует, взятков не берет, убытков и насилия не чинит, торговле не мешает и мирских людей оберегает, а потому сольвычегодцы, опасаясь, что при преемнике князя Кольцова-Масальского может быть хуже, просили оставить им прежнего воеводу еще на год. Царь разрешил.

В промежутке между воеводами Головачевым и Булычевым, в июне 1648 года из столицы в Сольвычегодск был прислан дворянин Федор Приклонский для сбора денег на жалованье ратным людям. Сумма была огромной – пятьсот с лишним рублей. Собирали эти деньги правожом. Сольвычегодцы решили умиловить Приклонского самым простым и известным им способом – собрали двадцать рублей и... Приклонский их взял, но как раз в это время приехавшие из Москвы сольвычегодцы рассказали о том, что делается в столице, что там бунт, что московские посадские люди и стрельцы, недовольные налогом на соль, введенным правительством боярина Бориса Морозова, жгут и разоряют боярские дворы, что Приклонский собирает деньги для Морозова, которого царь уже отправил в отставку и ссылку... Сольвычегодцы подумали и решили двадцать рублей мирских денег вернуть. Уездный земский староста Богдан Шулеповский и площадной подьячий⁴² Давид Хаминов пришли к Приклонскому и потребовали вернуть деньги обратно. Хаминов еще и пригрозил Приклонскому: «Будет тебе то же, что было от нас воеводе Федору Головачеву и воеводе Алексею Большову, будет и тебе смертное убийство». Толпа, собравшаяся вокруг воеводского двора и двора, в котором находился Приклонский, стерегла обоих всю ночь. На утро у Приклонского отняли царский наказ, по которому он собирал деньги на ратных людей, все бумаги, все деньги и все имущество, которые при нем были, а самого жестоко избили. Как только Приклонский очнулся после побоев – так сразу и ушел на двор к воеводе, князю Шаховскому, а от воеводы – в соборную церковь, надеясь там отсидеться. Сольвычегодцы, узнав, что он жив, пошли в церковь, но... ее взяли под охрану люди Строгановых. Как только стемнело, Приклонский бежал в Москву.

Ювелиры и мыловары

По перечневой росписи 1647 года мы можем судить о том, что представлял собой Сольвычегодск около середины семнадцатого века: «У Соли на посаде изба съезжая да две избы тамо-

женных, двор воеводской, двор казенной зелейной, двор кабацкой, погреб кабацкой, изба кабацкая, на притыке три двора Строгановых, двор протодьяконов, двор Суконной сотни, двенадцать дворов поповых, три двора дьяконовых, восемь дворов дьячковых, десять дворов понамаревых, три двора просфирничины, двор вдовой попадьи, двор да два места дворовых отписных, двести тридцать дворов посацких, а людей в них двести семьдесят человек, двор Гостиные сотни, два двора Суконной сотни, семь дворов мирских всеуездных, два двора подьячих, двор понамарев, три двора монастырских. <...> Да семьдесят четыре кельи, питаются христовым именем, восемнадцать дворов пустых, восемнадцать мест дворовых».

К концу семнадцатого века количество дворов вырастает до четырех с лишним сотен, а общая численность всего населения Соли Вычегодской составляет от двух до двух с половиной тысяч человек, то есть больше, чем сейчас, в конце первой четверти двадцать первого века. Весь сольвычегодский посад делился на «концы» или «стороны». Сторон было две – Никольская и Троицкая, а уже стороны состояли из улиц и переулков. Имена улиц, пусть и не всех, известны из документов того времени: Горная, на которой стоял государев зелейный двор, два кабака и дворы на приезд приказных людей и всяких, Кабацкая, на которой, кроме кабака, стоял двор воеводы, улица Строгановых, Полянская, Береговая, Березовская, Прямая, Ворыпаеха и переулки, на которых стояли дворы посадских людей⁴³. Поскольку Сольвычегодск был городом не только торговым, но и ремесленным, то в нем проживали иконники, красильники, медники, оловянники, часовщики, столяры, каменщики и портные. Многочисленные кузнецы были записаны в железо-кузнечный цех, сапожники – в чеботно-сапожный, а чеканщики, мастера серебряного и финифтяного дела составляли отдельный цех.

О сольвычегодских ювелирах следует сказать отдельно. В середине семнадцатого века они достигли такого уровня мастерства, что пятерых из них – Томилу Васильева, Бориса Герасимова, Афанасия Козлова, Петра Наземова и Федора Суворова – пригласили для работы над окладами икон московского Успенского монастыря. Сольвычегодские мастера серебряного дела в своих изделиях широко использовали финифть. Лучшие образцы сольвычегодской или усольской финифти хранятся теперь в Оружейной палате. Там хранятся сделанные в 1695 году сольвычегодскими мастерами на заказ для патриарха Адриана сделали ставки – вместилище для столовых ножей, позолоченные рукояти которых украшены финифтью. Священнослужители и вообще были большие любители красивых столовых ножей. В 1681 году на церковный обиход для Устюга были куплены у сольвычегодских мастеров двадцать два серебряных ножа с чеканными оправами, а к ним пятьдесят пять ножей с медными оправами, украшенными сканью и финифтью. Через десять лет архиепископ Великоустюжский и Тотемский велел послать в Соль Вычегодскую для переделки вилки. Сольвычегодцы выгодно продавали свои изделия, украшенные финифтью, и в Москве. Продавали не только ножи, но и медные чернильницы, тарелки, шкатулки, чарки, перстни и пуговицы. На устюжских ярмарках изделия усольских мастеров, как можно видеть по тамошним таможенным книгам, не переводились. Вот только несколько примеров. Шестого апреля 1676 года сольвычегодец Яков Дубровин «явил и продал на Устюге ножики с серебряною и с медною оправою, и чернильниц медных, и череня, и перстней, и пугвиц медных с финифтом, всего на девять рублей и двадцать алтын». Дубровин торговал своей продукцией в Устюге регулярно. Двадцатого июня «Соли Вычегодской Андрей Аристов явил и продал на Устюге ножев с медною оправою, и черенов с медною ж оправою, всего на четыре рубля». Первого июля «Соли Вычегодской Сергей Федосеев явил и продал на Устюге ковш да чарку медные с финифтом, да ножев и череня с медною оправою, и перстней, и пугвиц, и чернильницу медные <...> Григорей Федосеев явил и продал на Устюге перстней медных с финифтом, и ножики, и череня с серебряною и с медною оправою на три рубля на шестнадцать алтын на четыре деньги».

В разговор о серебре и финифти неловко вставлять мыло, но из песни слов не выкинешь – сольвычегодцы умели варить хорошее мыло и привозили его на продажу в Устюг, о чем есть записи в устюжских таможенных книгах второй половины семнадцатого века. Одним из самых активных продавцов сольвычегодского мыла на устюжском торгу был семейство посадских людей

Протопоповых. В 1634 г. Иван Протопопов привез на продажу сто косяков белого мыла, в 1642 г. – сто косяков, в 1643 г. – сто сорок косяков, в 1646 г. – двести сорок косяков, а в 1647 г. продал двести семьдесят косяков мыла за триста двадцать рублей. Если принять во внимание, что косяк мыла в семнадцатом веке представлял собой плиту весом от четырнадцати до сорока пяти килограммов, то получатся тонны. За первые полгода 1679 года люди Семена Протопопов продали в Устюге сто пять косяков белого мыла. Еще одним семейством сольвычегодских мыловаров были Конашковы. Двадцать первого ноября 1676 года «Соли Вычегоцкой Иван Михайлов Конашков приехал от Соли, явил по усьольской выписе мыла белого 10 косяков. Ноября в 27 день Иван же приехал от Соли, товару явил по усьольской выписе мыла белого 15 косяков. Декабря во 12 день он же, Иван, приехал от Соли Вычегоцкой, явил по усьольской выписе мыла белого 10 косяков <...> Декабря в 29 день Иванов отец Михайло Стефанов приехал от Соли, товару явил по усьольской выписе 20 косяков». Из года в год Конашковы торгуют мылом на устюжском торгу. Таможенная книга за 1678 год сообщает, что «Михайло же Стефанов Конашков приезжал от Соли Вычегоцкой к Устюгу в декабре, и в январе, и в феврале, и в марте месяцев в разных числах. Явил по шти усьольским выписем мыла белого 65 косяков». На вырученные от продажи деньги чаще всего покупали сырое говяжье сало, необходимое для варки мыла.

Оставим мыло и говяжье сало. Поговорим о предметах куда более высоких. В конце семнадцатого века на берегу озера Соленого на средства Григория Дмитриевича Строганова в строгановском же Введенском монастыре начинают возводить стены каменного Введенского собора, взамен сгоревшего деревянного. Разрешение от церковных властей на строительство было получено в мае 1688 года, а строить начали через год и закончили в 1693 году. Новый собор по размерам не уступал Введенскому, а по наружному убранству... Тут было чему удивиться. Ходили слухи, что чертежи собора делали по заказу Григория Строганова в Голландии. Часть мастеров тоже была из иностранцев. На строительстве собора постоянно были заняты четыре сотни рабочих – строители, кузнецы и каменотесы. Для изготовления орнаментальных керамических плит организовали отдельное производство, остатки которого археологи обнаружили в 1961 году вблизи города. Особо сложные детали соборного декора изготавливали в Москве и привозили в Сольвычегодск в ящиках, обитых изнутри войлоком. Рассказывать об архитектурных особенностях собора, построенного в стиле строгановского барокко, дело неблагодарное и опасное – не дай бог об этом узнают искусствоведы, которые уже написали об этом соборе многочисленные статьи и монографии... Мы, однако, об этом уже говорили при описании Введенского собора. Скажем только, что внутреннее убранство собора украшает семейрусный иконостас изумительно тонкой работы. Изготовила его артель московских резчиков под руководством Григория Иванова. От бесчисленных золоченых завитков, розеток, корон, листьев, тонких стеблей и висящих на них виноградных лоз глаз не оторвать, но поражают воображение не они, а иконы, написанные крепостным иконописцем Строгановых Стефаном Нарыковым и... тут мы опять вступаем на территорию, бдительно охраняемую вооруженными до зубов патрулями и разъездами ученых искусствоведов, которые стреляют без предупреждения в любого, не принадлежащего к их цеху. Лучше расскажем о соборной колокольне, на которой были устроены часы с боем и висело восемь колоколов. Самый большой колокол весом в сто семьдесят пудов был подарен архиепископом Устюжским и Тотемским. Правда, колокол подарили уже в середине следующего века. Собственно, саму колокольню тоже построили в восемнадцатом веке. Колокольня до нас не дошла – ее разобрали в тридцатых при большевиках. Очень новой власти нужны были кирпичи для строительства нового мира. Тогда же была разобрана и каменная монастырская ограда. Между колокольней и собором находились могилы местнотимых юродивых Михаила, Иродиона, Фомы и Ивана Самсоновича. Могил теперь тоже нет. На их месте... ничего на их месте нет. Летом трава растет, одуванчики, сурепка.

Чтобы не заканчивать рассказ о семнадцатом веке в жизни Сольвычегодска и уезда на такой печальной ноте, процитируем челобитную, которую архангельский приход Пачеозерской волости Сольвычегодского уезда отправил в конце 1690-х годов архиепископу великоустюжскому и тотемскому преосвященному Александру. Жаловались прихожане на безобразное поведение

своего попа Никиты Иванова. Поп, конечно, был тот еще... В церковную казну руку запускать, со своей духовной дочерью жил в блуде, за что по указу архиепископа били его шелепами, то есть веревочными плетями. «И всегда, государь, он, поп Никита, пьет беззачинно, пьет на кабаках безобразно <...>. А в нынешнем, государь, в 206 году генваря в 27 день, напився пьян и пришел к вечерне, <...> почал в трапезе пьяный кричать во всю голову неподобно, чего и на кабаках мало ведется и старост, и мирских людей бранил всякую неподобную матерною бранью и после того крику пьяный служил вечерню в возгласах и в ектениях вельми неисправно. И по господским, государь, праздникам, и по воскресным дням на кабаках вельми пьет безобразно и в дом свой питухов с вином приводит. А в 202 году с Фомины недели и во всю пятидесятницу повечерия не было в церкви трипесны и каноны все остались непеты и после пятидесятницы до декабря повечерия не бывало ж. И июля в 22 число в день воскресный пришел в церковь вельми пьян и заутреню начал, а сам в алтаре на лавице уснул, и пономарь его из алтаря и из церкви вон вывел. В прошлом 203 году ноября в 4 день венчал свадьбу Филки Верховцева пьян замертво, ектении и молитвы говорил – того никому разуместь было немощно, а с книгою требником в святом алтаре пал и с престола крест благословенный сронил, и в другой после с тою же книгой пал и половину царской двери с крюков сшиб <...>. А ноября в 13 день пришел к вечерне пьян и вечерню начал не распусаясь, и сумка с требою на шее, а патрахили, ни риз на нем всю вечерню не было и учинил бунт, дьячка Васку оконною порицею и крестьянина Максимка Заболоцких по хребту и по бокам бил и всех из церкви и из трапезы вон выгнал, и в паперти в след неведомо чем бросил, а сам после шел на кабак, да там и ночевал и назавтрее к церкви не приходил <...>. И всячески, государь, он, поп, над крестьяны издевается, где его зовут в мире с потребою: к болю с причастием и к роже-ницам с молитвою, и он, приходя пьян, роже-ницам дав у бани молитву, отходит от бани прочь, не дав младенцу имени, просит себе вина <...>. А иного, государь, его попова беззачиния и безстрашия и писать невозможно».

Нет, эта челобитная никак не веселее разобранной по кирпичику колокольни Введенского монастыря, а вот история про церковного дьячка из Сольвычегодского уезда не такая мрачная. Она полна оптимизма и веры в прошлое. В 1625 году церковный дьячок по имени Тренка, то есть Третьяк, переписывал у себя в избе наказную память приставов, которые ездили по уезду, собирая очередные подати. К несчастью, на оригинал памяти упал уголек от лучины и несколько верхних строк прогорело. В этих первых строках обычно писался царский титул. С одной стороны, ничего страшного – кто же не помнит царского титула. Хотя среди ночи разбуди любого, кто переписывал такие бумаги, и он тебе наизусть... Это с одной стороны, а с другой... Сольвычегодские земские судейки, посчитав, что дело это политическое, взяли и посадили под арест несчастного дьячка и тотчас отправили в Москву нарочного рассыльного с донесением о таком деле. Москва и разбираться не стала, а отправила донесение к непосредственному сольвычегодскому начальству в Устюжскую четверть. Оттуда пришел в Сольвычегодск ответ, который и сейчас кого хочешь может удивить. «И то усольский судейка Богдашко Шулеповский с товарищи учинили негораздо, писали к нам с нарочным гонцом не о деле и тем нашей казне в прогонных деньгах своею глупостью истерию чинят. А то дело учинилось не хитростью, что у наказные памяти первые строки прожжено». Дьячка приказано было немедленно из-под ареста освободить, а с земских судеек взять штраф в размере прогонов на две подводы от Сольвычегодска до Москвы и обратно, да еще оплатить питание гонцу за все время командировки из расчета по три деньги в день «чтоб тем мужикам вперед не повадно было так глупать, не с делом нарочно гонцов к нам присылал».

На этом, пожалуй, мы и закончим рассказ о жизни Сольвычегодска и уезда в семнадцатом веке. Такого переполненного событиями бурного века в истории Сольвычегодска уже не будет. Этот век соляных варниц, соболиных ярмарок, искусных ювелиров, иконописцев, кузнецов, мастериц лицевого шитья, усольской финифти, освоения Сибири и строгановского барокко можно назвать золотым в истории города. Для полноты картины не хватает только списка городских пожаров. В семнадцатом веке в Сольвычегодске их было четыре. Самый большой случился в конце сентября 1656 года. Пожар, как написано в «Истории города Соли Вычегодской», начался «от

Овдюхи Уфтяжанки». В челобитной на царское имя сольвычегодцы писали: «Сентября 24 числа, в ночи, в седьмом часу грех ради наших приде Гнев Божий на нас сирот Твоих: у Соли на посаде Твое Государево Царское богомолие, пять церквей⁴⁴ с пределы, а в них пятнадцать служб, (престолов) да Твоя Государева Съезжая и Таможенная Избы и Кружешной двор и воеводской и земские дворы и поварня и тюрьмы и богаделны и у нас сирот Твоих, у посадских людишек, тяглых, податных двести двадцать один двор и на площадь, которые торговые лавченка и онбаришка, погорело все до основания. А осталось, Государь, податных и бобыльских дворишков и кельишек неболшее место <...> и дворишка и места были тесные, и разломать было не можно, и гневом Божиим была в тоя поры буря великая; и многие, Государь, посадския людишка со всеми статками погорели до основания; а были мы сироты Твои в тоя поры во отъездах. А после, Государь, Литовского раззорения, как Литовские люди на Русь были и в Поморье, и у Соли, во 121 (1613) году, наше посадшко такими великими пожары выгорело <...>. А у нас сирот Твоих на посаде пашен и угодей, кроме дворов и дворовых мест, нет ничего; и <...> от прежних частых и от нынешняго великого пожару, обнищали и обдолжали великими долги; и от такие, Государь, великие бедности многие погорелые посадские людишка бредут врозь по иным городом и по уездом; и в Твою, Государеву службу записывались многие тяглые посадские людишка для того, что, Государь, жить стало негде, а вновь на посаде дворишков ставить и заводить нечем; а нам, Государь, остальым посадским погорелым людишкам <...> Твоих Государевых податей, данных и оброчных и стрелецких денег и в Сибирской хлебной и денежной запасы и в ямскую гоньбу по болшей Сибирской дороге и к ружному старосте и за пустые волости в полетной платеж платить стало не в мочь, потому что, Государь, и достальные людишка на посаде стали нужны; и стоим мы сироты из Твоих Государевых доходов на правеже по вся дни <...> а окупиться, Государь, нам сиротам Твоим нечем. Милосердый Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея великия и малыя и белыя Росии Самодержец, пожалуй нас сирот Своих достальных погорелых посадских людишек, как тебе милостивому Государю Бог известит, об Своем Царском богомолии о церквах и о погорелом месте <...> и об тех людех, которые <...> от пожарново раззорения разбрелись в рознь, и в Твою Государеву стрелецкую службу записывались, чтоб нам сиротам Твоим достальным погорелым людишкам из Твоих Государевых всяких доходов на правеж и за пустые места за разбрелых людей убитым не быть и досталь врознь не разбрестись и впредь Твоих Государевых податей и служб и Сибирской дороги не отбыть и в конец не погинуть. Царь Государь, смилуйся».

Наверное, если бы Москва верила слезам, то от таких челобитных несомненно был бы толк, но Москва им не верила. Тогда не верила, да и сейчас...

Уездный город

Восемнадцатый век для Сольвычегодска стал веком превращения из процветающего торгового, промышленного и ремесленного центра в самый обычный, захолустный, к счастью, не заштатный, а все же уездный город. Тому было несколько причин.

Во-первых, была проложена новая и более удобная дорога в Сибирь, которая проходила гораздо южнее Сольвычегодска. В связи с этим Сольвычегодск перестал быть городом на большой дороге, и его торговля начала чахнуть и умирать. Еще активнее, чем в семнадцатом веке, часть населения города и уезда стала всеми правдами и неправдами пробираться в Сибирь, надеясь там если и не разбогатеть, то, по крайней мере, спастись от нищеты и бескормицы. Конечно, сказать, что торговля прекратилась вовсе ни в коем случае нельзя – в Архангельск, в Устюг и в Сибирь по-прежнему везли сольвычегодские товары, среди которых были топленое сало, хлеб, лен, льняное семя, юфть и даже меха, но объемы этой торговли были куда скромнее, особенно меховой.

Во-вторых, был основан Петербург, и большая часть российских товаров, продаваемых в Европу через Архангельск, пошла через него. Товары, направлявшиеся в Архангельск, шли, как правило, по Северной Двине и по ее самому крупному притоку – Вычегде, на котором почти у ее впадения в Северную Двину и стоит Сольвычегодск. Сразу упали доходы тех, кто занимал-

ся в Сольвычегодске строительством судов для перевозки товаров, потеряла работу часть судовых плотников, лоцманов, грузчиков и тех, кто занимался на барки матросами. Побывавший в Сольвычегодске в августе 1771 года академик Иван Иванович Лепехин писал о том, во что превратилась к тому времени сольвычегодская торговля и промышленность: «Купцы сего города не беззажиточны и промышляют большею частию отъезжими торгами; то есть ездят в город Архангельской с хлебом и салом, и оттудова берут всякие товары, как заморские, так и Российские, и отвозят на Кяхту, откудова запасшись Китайскими и Сибирскими товарами возвращаются на Ирбитское, а потом и на Макарьевское годовое торжище; не редко же с оными ездят и в другие Российские города. В городе никаких других фабрик нет, кроме одного кожевенного завода и трех салотопен».

В-третьих, сольвычегодские ремесленники потеряли большое количество заказов. Например, кузнецы, делавшие для сибиряков домашнюю утварь, плотничьи инструменты и судовые снасти. Правда, весной 1705 года Петр Первый приказал сольвычегодскому воеводе Курбатову изготовить для нужд армии и срочно доставить в Смоленск триста тысяч ножей, точнее, небольших рогатин, семьдесят шесть тысяч гвоздей, двадцать одну тысячу буравов и полторы сотни тысяч шил, но этот заказ был единственным⁴⁵.

В-четвертых, солеварение пришло в совершенный упадок по причине полного истощения соляных источников. Концентрация соли в них так понизилась, что производство перестало быть рентабельным. Строгановы, скупившие и разорившие мелких конкурентов, выдавившие с сольвычегодского рынка соли производителей покрупнее, сами по понятным причинам потеряли интерес к нему, продали принадлежавшие им варницы и в начале двадцатых годов восемнадцатого века покинули Сольвычегодск, переставший быть экономическим и административным центром их вотчин⁴⁶. Уже упоминавшийся академик Иван Лепехин писал: «Соленая варница, для коих населено сие место, как выше сказано, в совершенном оставлены небрежении и упадке; ибо прежде было тут с пятьдесят варниц, но ныне едва и одна рассолом довольствоваться может; и кажется, что вместо пользы приносит вред. <...> Нынешняя варница с 1764 году состоит в казенном ведении, и рассол добывается только из двух и то обветшалых труб <...> Такой малой и безприбыльной соли выход до такого состояния довел сей промысел, что вывариваемой соли едва достает на нужды городских жителей и не редко принуждены бывают заимствовать соль <...>».

Общий экономический упадок привел к последствиям, так сказать, второго порядка. Уже в начале восемнадцатого века начало приходить в упадок искусство усольской финифти. Собственно, мастерство сольвычегодских эмальеров куда не исчезло, но после распада строгановских мастерских им перестали поставлять серебро, и эмали стали делать на меди, потом все реже стали встречаться расписные эмали, и им на смену пришли одноцветные с серебряными накладками, потом к концу века стали делать серебряные изделия в технике скани вовсе без эмали. Потом эмальерное производство в Сольвычегодске умерло окончательно и больше не возобновлялось, но в первой половине восемнадцатого века в Сольвычегодске еще проживало довольно большое количество искусных эмальеров, и некоторых из них даже вызывали для работ в Москву. В 1759 году канцелярия Устюжской провинции решила спасти сольвычегодских эмальеров и переселить «финифтяного серебряного и протчего мастерства мастеров для его защищения и содержания и разноможения» из Сольвычегодска в Устюг, но Москву судьба сольвычегодских мастеров и сольвычегодской эмали не интересовала, и переселение закончилось, так и не начавшись.

В результате экономического упадка изменилась структура населения города Сольвычегодска. По переписной книге 1710 года в городе с населением в три с небольшим тысячи человек проживало огромное количество нищих – около семисот человек. Посадские тяглые двory разделены на четыре категории – средние, младшие, вдовы и бобыльские. Лучших нет вовсе. При этом дворов средних пятьдесят два, а дворов нищих мужских и вдовьих без малого две сотни. Дворов, принадлежащих купцам, входящим в Гостиную сотню, четыре, что составляло половину процента всего населения города. В начале восемнадцатого века существовала такая категория городских жителей как подворники. Так назывались люди, не имевшие ни собственного жилья,

ни возможности снять его. Жили они, что называется, из милости, как правило, у таких же бедных, как и они, домохозяев в наихудших условиях. Фактически это были те же самые нищие, питавшиеся, как тогда говорили, Христовым именем. Таких подворников в Сольвычегодске проживало более четырехсот человек обоего пола, что составляло почти пятую часть всего населения города. Приведем лишь три из десятков примеров таких дворов, попавших в Переписную книгу: «Во дворе вдова скудная Катерина Тарасова у нея сноха Катерина 35 лет у нея дочь девица Марфа 9 лет у нея на подворье Сергей Пивоваров 62 лет у него жена Анна 40 лет у него сын Степан 32 лет, а ныне он в Сибирских городех, дочь Анна 17 лет Евдокия 8 лет у нея ж подворник Андрей Пунанов 35 лет у него жена Парасковья 30 лет у них сын Мокий 8 лет. <...> В келье нищая вдова Евдокия Федорова дочь Кобылиха 60 лет у нея дочь вдова Акилина 40 лет у нея ж подворник Василий Игнатьев 49 лет у него жена <...> В келье нищая вдова Анна Никифорова дочь 56 лет у нея сын <...> с нею же в другой келье нищей Федор Сердешников 49 лет у него жена <...>». Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить... Переписная книга сообщает и о том, что «Двор воеводской пуст огни и розвалился. <...> Изба богаделенная в ней сеят престарелые и увечные странные люди мужеска полу 24 человека женска полу 64 человека питаютца от мирского подаяния и на корм, и на платье им даецца из земских мирских зборов от земских старост».

Пока Сольвычегодск понемногу приходил в упадок, он успел в 1708 году стать городом в составе Архангелогородской губернии, в 1710 году войти в состав Великоустюжской провинции той же губернии, в 1780 году в составе той же провинции перейти в Вологодское наместничество и в 1796 году стать уездным городом Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Над гербом города, утвержденным Екатериной Второй в 1780 году, Герольдмейстерская контора долго не думала – две ступки соли в красном поле. По плану 1784 года в Сольвычегодске насчитывалось двадцать девять кварталов, триста сорок домов и тринадцать церквей.

За четыре года до того, как Сольвычегодску стать уездным городом, его и Сольвычегодский уезд описали в изданном в Петербурге «Месяцослове историческом и географическом» в разделе «Описание городов Великоустюжской области с их округами». Каковое описание лучше не пересказывать своими словами, а процитировать с небольшими купюрами: «Окружается с северной и восточной стороны пашнями и лесом, с южными сенокосными лугами, а с западной лесами. Местоположение онаго ровное и сухое, в длину 480, а поперег 450, в окружности же 1468 сажен. Укрепления никакого нет, а фигурою несколько походит на треугольник. Разделения на части не имеет, а состоит из 17 улиц, из которых Климантовская против прочих жилком обильнее. Присудственные места помещены близ рынка в ветхих деревянных покоях прежде бывшей Усольской воеводской канцелярии; городской же магистрат и сиротский суд в купеческом каменном доме за договорную плату. Герб сего города со времени учреждения наместничества есть следующий: в нижней половине щита в красном поле две ступки соли; по тому что здесь издревле имеются соляные промыслы, и вываривается соль на продажу в одном сем городе, а в другие места за малою ныне вываркою отпусков не бывает. <...> Знаменитым в сем городе зданием можно почестъ Введенский монастырь, положенный по штату в третьем классе; оной стоит на краю города, при соляном озере и болоте, в северную и сухую сторону, на ровном и сухом месте. В нем церковь каменная Входа Пресвятыя Богородицы <...> при ней два придела, и с северной стороны братская трапезная келья; а для обучения священно и церковно-служительских детей Российской грамоте и Латинскому языку училищная палата; для настоятеля и монашествующих особые кельи, и кругом всего монастыря ограда с четырьмя воротами каменные. <...> Церквей в городе восемь каменных и столько же деревянных. <...> Обывательского и казенного строения более четырехсот домов; фабрик никаких здесь нет, кроме одного кожевенного завода и трех салотопен. Здешние купцы и мещане производят свой торг иностранными и Российскими товарами, из коих первые получают от Архангельского порта и с Китайской границы; Российские же товары из Москвы, с Макарьевской ярмарки, из Устюга и со своих заводов, а имянно топленое сало и пек, так же мягкую рухлядь, юфть, разной хлеб, лен, льняное семя и прочее отвозят водою к Архангельскому порту на 11465 рублей в год; а лучшие их торги суть отъезжие в Сибирских городах. Другие по

недостатку капитала и непривычке к торговым промыслам упражняются в разных рукоделиях, но лучшее ремесло их есть серебряное сканной работы и финифтяное с серебряною и золотом накладкою; некоторые же отходят по пашпортам в разные Российские города.

Ярманка в сем городе бывает одна июня с 7 числа и продолжается три дни, недельные же торги бывают по воскресным дням, но только ни на торги ниже на ярмонку купцы из других городов не приезжают, съезжаются из околных мест и ближних уездов одни крестьяне со своим изделиями и разными домашними произведениями, как то со льном, пенькой, льняным хрящевым холстом, немолотым хлебом и с разным лесом, которые продавши в городе, покупают разные для них потребные шелковые и другие иностранные и Московские мелочные товары.

Обыватели города нужное для своего пропитания получают из разных мест, а имянно хлеб и мяса из здешней округи, крестьянами в городе на продажу привозимые, свежую рыбу из своих рек, а морскую соленую от Архангельска; дичь из здешней и смежных округ, но и то весьма мало; лук, чеснок, огурцы из Вологды; в своих же огородах кроме малого числа капусты, моркови и редьки не сеют, а что касается плодоносных деревьев, то оных в сем городе никаких нет.

Уезд Сольвычегодский <...> простирается в длину 125, в ширину 112, а в окружность 330 верст. Местоположение его не одинаковое, инде ровное, а инде гористое; однако ж нет гор отменной величины; равным образом и материк различной, в некоторых песчаной. В других глинистой, почему и к плодородию не весьма удобной, кроме немногих мест, на коих обыкновенно сеют рожь, ячмень, овес и несколько пшеницы; урожай на удобренной земле и в хороший год: ржи от пяти до семи, а прочих от трех до пяти четвертей на одну посеянную четверть⁴⁷. Остаточный за продовольствием своим хлеб привозят по большей части в великой пост в город Сольвычегодск на продажу небольшим количеством.

Лесу в сем уезде, как на строение годного, так на дрова и другие потребности, жители не только для себя довольно имеют, но несколько и для продажи на плотках сплавливают в город Сольвычегодск. Между прочим, лесом есть кедровая роща, в шестнадцати верстах от города, в оной некоторые деревья приносят и плод, хотя не повсегодно; но самородная ли она или сажная неизвестно. Степей по всему уезду нет, а болот довольно, имеющих от пяти до сорока верст окружности, также малых и неглубоких озер от одной до двух версп в окружности <...>. Рек судоходных две: Двина и Вычегда. Да третья небольшая Вилядь, в них ловится рыба щуки, лещи, нельмы, язи, окуни, сороги, налимы, сиги, харьюзы. <...>

Ярманка бывает только одна в Ильинском приходе, на реке Виляди, июля с 20 и продолжается неделю; на оной продаются наиболее холст, лен, масло коровье и другие крестьянские произведения; для покупки коих приезжают Устюжские и Сольвычегодские купцы, привозя с собою разные мелочные товары; других же торгов нигде нет.

Уездные жители упражняются в сродном и обыкновенном крестьянству земледелию, от которого пропитание и нужное для содержания своего получают; из многосемейных же отходят в Сибирские и другие города по пашпортам».

Описание достаточно полное, и к нему добавить почти нечего, кроме того, что к сибирским и другим городам уже с сороковых годов восемнадцатого века можно было прибавлять Алеутские, Командорские и Курильские острова, Камчатку и северную часть Тихого океана. Не только сольвычегодские купцы, но и посадские люди, и крестьяне самым активным образом включились в освоение новых, как писали в своих отчетах мореходы, знаемых и незнаемых земель, которое тогда означало добычу пушнины в первую очередь.

В 1747 году сольвычегодский купец Иван Мостовский в компании с московским купцом первой гильдии Иваном Рыбинским и другими купцами снарядил и отправил на промысел к острову Беринга судно «Симеон и Иоанн». В конце сороковых годов поверенными сольвычегодского купца Ивана Жилкина устюжанами Иваном Баховым и Никитой Шалауровым на судне «Перкун и Занат» был открыт морской путь из устья реки Анадырь на Камчатку, в устье реки Камчатки. В 1771 году сольвычегодский купец Дмитрий Панков на судне «Св. Александр Невский» отправился к Андреяновским островам в Алеутском архипелаге, где пробыл три года и промысловики с его

корабля «как промысел, так и торг с тамошними жителями производить имели». Кроме обычной промысловой добычи, люди Панкова собрали еще и ясак. Только одной этой «ясашной рухляди» по возвращению на Камчатку они сдали на четыре тысячи с лишним рублей серебром. В 1780 году Дмитрий Панков на судне «Св. Евпл», которым владели сольвычегодский купец Василий Посельский и тотемский Иван Рыбников, ходил на пушной промысел, но уже в качестве морехода и передовщика⁴⁸.

Сольвычегодцы участвовали в компаниях, которые создавали на паях купцы, не только как главные компанейщики, имевшие наибольшее количество паев, но и как рядовые пайщики, которым мог принадлежать всего один пай, или просто работные люди, нанятых за определенную, но всегда небольшую, плату. Купцу Ивану Жилкину принадлежало целое судно «Св. Капитон», а сольвычегодскому крестьянину Никифору Шабалину всего один пай в компании купца Семена Красильникова. В команде казака Игнатия Студенцова, ходившего на «Св. Капитоне» в 1757–1761 годах на Алеутские острова и открывшего остров Кыска, были трое сольвычегодских рабочих человека – Иван Чернаев, Степан Худяков и Григорий Попов. Последнего, как следует из рапорта камчатским властям Студенцова, алеуты при сборе ясака ранили стрелой в руку. Вернулся живым из этих троих на Камчатку только Степан Худяков. Не вернулся из четырехлетнего плавания в 1758–1762 году на боте «Св. Иулиан» и сольвычегодский крестьянин Петр Строганов, умерший на одном из Алеутских островов⁴⁹.

Малое, народное, двухклассное

Прежде чем переходить к девятнадцатому веку, необходимо сказать о малом народном двухклассном училище, которое открылось в январе 1788 года. Открыть его было не так просто, потому что для учебного заведения нужно иметь здание, в котором оно помещалось бы, учителя, а лучше двух, для первого и второго классов, деньги для выплаты им жалованья, учительские квартиры, дрова для их отопления, свечи для занятий, учебные пособия... Все это должен был обеспечить город. Хорошо, если город имеет на это средства, а если это Сольвычегодск... Тем не менее, средства, хоть и с трудом, город нашел. Двенадцать сольвычегодских мещан, в числе которых был городской староста Худяков, пожертвовали на училище двенадцать рублей, а практически все сольвычегодские купцы и часть мещан обязались вносить каждый год из собственных средств по шестьдесят рублей в пользу училища. Кроме того, городская дума постановила отчислять в пользу училища один процент с питейных доходов. Увы, обещания мещан и купцов так и остались во многом обещаниями. То есть они бы эти деньги непременно вносили, кабы они у них имелись, но... их или не было, или они были совсем не в том количестве, чтобы их жертвовать на народное образование. Тогда бургомистр Литвинов внес на содержание училища некоторую сумму с завещанием не употреблять ее на другие цели. Через тринадцать лет, в 1801 году, эта сумма, благодаря и другим пожертвованиям, увеличилась до тысячи рублей. Правда, в последующие годы другие городские головы и гласные городской думы эти деньги все же истратили на устройство хлебного магазина и на различные другие нужды.

Вернемся к открытию училища. Торжество началось с литургии в городском соборе, потом был крестный ход с хоругвями во главе с местным духовенством, потом окропление святой водой классных комнат, потом речи, как тогда говорили, приличествующие такому важному событию в жизни города и первых учеников. На открытие училища приехали правитель наместничества генерал-поручик Мезенцов и директор училищ Вологодского наместничества Левашов. В день открытия училища приехавший в Сольвычегодск правитель наместничества угощал обедом местных чиновников, церковное начальство и почетных граждан города. Не обошлось и без пушечного салюта, правда из одной пушки, и праздничной иллюминации. В год открытия в училище был только первый класс, в котором детей обучали чтению, письму, священной истории и сокращенному катехизису, то есть основам христианского учения. В целях экономии наняли одного учителя вместо двух, да и одному сократили жалованье против установленного. На содержание

училища, на жалование учителю и сторожу городская дума совокупно отпускала в год всего двести рублей, что почти в два раза меньше того, что полагалось по штату. Все же на следующий год открыли и второй класс, в котором читали книгу о должностях человека и гражданина, чтобы узнать о том, что «Не должно нам никогда того желать, что званию нашему непристойно», изучали арифметику, пространный катехизис, грамматику русского языка, занимались чистописанием и рисованием. Два раза в год детей в торжественной обстановке публично экзаменовали по пройденному материалу в присутствии местного начальства и духовенства.

О первых годах существования училища известно не очень много. При его открытии было около двадцати пяти учеников. Через семь лет учеников по разным причинам осталось всего пять – кто-то уже окончил курс, кого-то родители забрали, не видя пользы в двухлетнем обучении, а кого-то и вовсе не хотели отдавать, считая, что домашнее обучение или индивидуальное с наставниками учителями будет ничуть не хуже⁵⁰. Смотритель училища купец Свинын потребовал от городского сотского переписать детей разных сословий, которые могли бы поступить для обучения в училище. Таковых оказалось около трех десятков. Их и усадили за парты, а Приказ общественного призрения, ведомству которого принадлежало училище, выразил смотрителю благодарность.

В этом месте мы буквально на одно предложение прервем рассказ о сольвычегодском малом народном училище, чтобы сообщить читателю о том, что 11 апреля 1803 года, если конечно верить писателю Алексею Толстому и его двоюродным братьям Алексею, Владимиру и Александру Жемчужниковым, в деревне Тентелевой Сольвычегодского уезда, неподалеку от города Сольвычегодска, в небогатой дворянской семье родился Козьма Петрович Прутков, завещавший плюнуть в глаза тому, кто скажет, что можно объять необъятное, и никогда не шутить с женщинами, поскольку эти шутки глупы и неприличны. Как только он вырос, то захотел быть красивым, а для этого покинул родовую деревню, Сольвычегодский уезд и поступил в гусары. После двух лет службы вышел в отставку, уехал в Петербург и стал служить... Впрочем, это уже второе и даже третье предложение, которые к Сольвычегодску и его уезду не имеют никакого отношения, а потому вернемся лучше к малому народному училищу.

В октябре 1804 года сольвычегодский городничий и смотритель училища Карл Иванович Мейнц сообщал вышестоящему начальству, что «некоторые жители почти почитают за ненужный метод, положенный в народных училищах, в рассуждении, что на штиль латинского языка выговор букв и складов преподается, также, что церковным книгам не обучают и проч., то я почел за долг свой разогнать их несправедливые толки и внушить, сколь полезен училищный порядок, как превосходны щедроты великого монарха, и заставить их вводить детей в училище». Городничий требовал от духовенства и городской думы запретить священникам обучать детей горожан. Городская дума обязана была переписать всех детей и представить этот список в училище. Собрали двадцать пять мещанских детей, но приняли только тех, которые еще не обучались, а тех, кто еще не дорос или был болен, не взяли. Мещанкам, однако, разрешили обучать девочек, так как в училище не было отдельной комнаты, чтобы их обучать.

В 1805 году сольвычегодское малое народное училище преобразовали в уездное и 14 мая того же года открыли несмотря на то, что для второго класса еще и учебников не прислали, а один из учителей не смог к означенному сроку добраться до Сольвычегодска, задержанный ледоходом на Вычегде. Училище поместили в частном доме, принадлежащем купчихе Зуевой. Исправник пожертвовал полезные для юношества книги, а купец Литвинов карту Российской империи с историческим описанием. Сольвычегодцы всех сословий собрали денежных пожертвований на сумму 117 рублей 55 копеек. Учителем в первом классе уездного училища стал Федор Протопопов, который и был им в малом народном училище, а для второклассников через год приехал новый учитель – Федор Радковский. Что касается жалованья... С ним были, мягко говоря, затруднения. Протопопову определили 150 рублей в год и 25 рублей доплаты за преподавание рисования, а Радковскому 180 рублей в год при том, что по штату им полагалось, как мы уже говорили, триста рублей в год каждому. Кроме того, в уездном училище появился не предусмотренный штатным

расписанием законоучитель – дьякон Успенской церкви Андрей Дорофеев с жалованьем 50 рублей в год. Из-за недостатка средств сторожем была женская прислуга. Деньги от одного процента винного откупа, которые при открытии малого народного училища были назначены в его пользу, как это часто бывает, истратились на содержание городского магистрата. Учителям положенных им квартир, дров и свечей не дали, а само училище не смогли обеспечить даже бумагой. В 1805 году сольвыгодская городская дума на запрос смотрителя Карла Ивановича Мейнца, в какие сроки и в каком количестве будет она выделять деньги, положенные на училище, ответила, что вовсе не будет отпускать, поскольку денег не хватает и на городские нужды. Большая часть обывателей так бедна, что не в состоянии платить и государственные подати. Те же, кто имеет средства, те в пользу училища уже единовременно пожертвовали известные суммы с тем условием, чтобы городское начальство освободило их впредь от поборов в пользу училища, которое и без того уже почти двадцать лет они содержат. Все же сольвыгодские купцы и мещане собрали на училище 70 рублей 20 копеек, а чиновники 49 рублей 35 копеек.

Самое удивительное, что бывший тогда смотрителем училища Мейнц писал в дирекцию училищ Вологодской губернии в ноябре 1805 года: «Сколько возможно будет, потщусь гг. здешних обитателей склонить к подписке издаваемого журнала под названием “Лицей”». Какая подписка, когда денег здешние обитатели не могли собрать даже на бумагу... Впрочем, Мейнц буквально через три месяца ушел в отставку, и до назначения нового смотрителя эту должность занимал учитель второго класса Радковский, при котором в 1807 году в училище произошел пренеприятный инцидент.

Общезвестно, что в уездных училищах того времени учеников за плохое поведение и невыученные уроки нещадно пороли, но в сольвыгодском училище восьмилетнего солдатского сына Прокопия Агапова за невыученный урок высекли так, что через неделю от нанесенных побоев мальчик скончался. Труп его был покрыт синими пятнами и на теле были видны рубцы от розог. Началось следствие, которое вел новый городничий Силин. Отец мальчика на допросе показал, что сын говорил: «Секли его в училище на полу розгами, сперва по приказанию учителя Федора Васильевича, солдатский сын Иван Алексеев, а потом и сам оный учитель, у коего розга изломалась в руках (а розги-де в училище у них толстые), и он де Прокопей не мог сам подпоясаться кушаком; а потом оный сын мой, по приказанию другого учителя, отца Иоанна, и еще в училище сечен был розгами же вторично, и после временем несколько сучал, говоря что у ево-де брюхо болит... От чего же ему смерть последовала, я, Агапов, совершенно не знаю, а полагаю, что умер он естественною, а не насильственною смертью, и никакого в том подозрения и доказательств не имею, потому, что после умертвия его Прокопея, по утру увидел я из роту конец глиста, коего вытянул рукой мертвого, показал своей жене и бросил <...>».

Оба учителя на допросе показали, что секли Прокопия чуть ли не прутиком, который вытащили из веника. При этом ученики в один голос говорили, что секли его розгами. Доказать, что Прокопий Агапов умер от побоев, городничему не удалось, дело было передано в уголовную палату, которая... сделала замечание, что прибегать к телесным наказаниям в училищах недопустимо. Дело решено было оставить, поскольку по показаниям родителей и по следствию не было доказано, что смерть наступила от побоев. Виновников в смерти Прокопия Агапова, таким образом, не оказалось.

Училище после этого почти опустело. Родители туда отдавать детей не хотели ни за что. Те немногие оставшиеся дети, по словам нового смотрителя Васюткина, «так застрашены, что отвечают шопотом; сколько я ни говорю, чтоб они смело отвечали, но все еще не могу наставить». Васюткин отмечал, что такая обстановка в классах приводит «к отвращению отдавать родителям детей своих в училище». Что касается учителей, то Радковский, по словам смотрителя, «ленив, а посему и не прилежен к должности», а Протопопов «горяч, строптив и груб в обхождении с учениками». Такая обстановка в классах и привела к тому, что в 1807 году в сольвыгодском уездном училище обучалось восемнадцать человек. Во втором классе и вовсе было три ученика. В первом классе было два ученика, которые почти за три года научились лишь читать и писать, а

один за год и два месяца смог осилить только чтение. Дело дошло до выговора директора училищ губернии сольвычегодским учителям и обвинений сначала в нерадивости, а потом и в том, что «их грубые поступки отвлекают учеников от продолжения учения в училище». Оправдываясь, Васюткин писал директору о нежелании сольвычегодцев отдавать детей в училище, которое связано с тем, что «по домам обучают мужики, бабы, девки старые, попы, попадьи и дьячки, пономари с их женами без всякого опасения, обучают без умолку псалтырям и часовникам, как будто бы приготавливая все юношество в чины духовные, в проповедники публичные и богословы. <...> О, если бы совершенное последовало запрещение по домам учить, то не только бы в уездном училище учеников, но и приходские и сельские бы возникли. И сим ваше высококородие осмелившись уведомить, покорнейше прошу <...> войти в состояние отдаленного сего грубого края, не можно ли каким нибудь средством смирить непокоряющихся и училище здешнее презирующих, а без пособий вашего высококородия опасаясь, чтобы здешнее училище не пришло в совершенное уничтожение».

Губернское начальство требовало от смотрителя училища увеличить количество учеников, и тот пошел уже по испытанному пути – попросил городского голову Степана Пьянкова «о внушении здешним гражданам, у которых есть дети о введении оных для обучения в здешнее училище», но... нашла коса на камень. Родители, как писал Пьянков Васюткину, объявили, что «детей своих обучают в своих домах, а за сим и к отдаче их в училище не имеют желания, а сверх сего также некоторые граждане изъявили, что будто бы замечено ими, что учителя народного училища в учебные часы нередко занимаются прогулкою по городу и чрез то разумеют нерадивость к своей должности, что самое поставляют причиною, побуждающе их к обучению детей своих предпринимать другие средства». Город не просто маленький, а очень маленький, и потому гуляющего в течение рабочего дня учителя обсуждают между собой даже собаки с кошками, не говоря о сороках.

В марте 1809 года существенно повысили от казны жалованье учителям и смотрителю, но учительская дисциплина от этого не повысилась. К прогулкам по городу добавилось пьянство, да такое запойное... В конце 1818 года учителем второго класса вместо уже упоминавшегося Радковского, уехавшего в Вологду, прислали бывшего учителя Верховажского приходского училища Ивана Геркулесова, который, как писал смотритель Сольвычегодского училища, «оказал в поведении себя весьма непорядочным и в должности своей незначительным и бесполезным. От нетрезвой жизни подвергнув себя падучей болезни, он оказался валяющимся на улице, а потому за отказом хозяина квартиры принять его к себе, и взят полициею, а после оказался больным и в сумасшествии и был отправлен в лазарет. А как общество ропщет уже, то хотя бы и пришел он в прежний порядок, принять его к должности допустить опасно». За полгода такой, с позволения сказать, службы, городничий Соколов трижды помещал Геркулесова в кордегардию на гауптвахту и после вытрезвления сдавал на руки смотрителю. Под стать Геркулесову оказался законоучитель училища священник Варфоломей Максимов, которого за все его художества в пьяном виде, неповиновение церковному начальству и другие провинности неделю держали под стражей.

Мастеровые люди

Мы, однако, уже довольно далеко забрались в девятнадцатый век, а потому оставим на время полную злословную летопись уездного училища и посмотрим на жизнь Сольвычегодска, не связанную с народным образованием. Девятнадцатый век в Сольвычегодске долго не хотел начинаться. То есть формально он начался, и даже после войны с Бонапартом в городе поселили некоторое количество пленных французов, но во всем остальном... По-прежнему на сольвычегодском торгу и на ярмарке торговали мылом, луком, чесноком, морковью, капустой, редькой, огурцами, говядиной, топленым салом, дичью, кожами и совсем немного солью. По-прежнему, как писал сольвычегодский учитель и краевед Федор Васильевич Протопопов, которого мы помним по делу Прокопия Агапова, в начале десятых годов девятнадцатого века вода в Вычегде была мутной, из-

за быстрого течения и в ней по-прежнему водились семга, нельма, щуки, лещи, налимы, пескари и раки. Сольвычегодск тогда умещался на площади в один квадратный с четвертью километр. По-прежнему своенравная и стремительная Вычегда подмывала берег в районе города. В 1804 году на деньги княгини Шаховской, урожденной баронессы Строгановой, берег на небольшом участке напротив соборной церкви укрепили новым деревянным обрубом взамен обветшавшего, но остальной берег у города продолжал разрушаться, и река уже грозила снести несколько недалеко отстоящих от берега церквей. Сольвычегодцы, видя такое положение, написали письмо Александру Первому с просьбой дать денег на укрепление берега. Император на эти работы ассигновал девяносто тысяч рублей и даже прислал в Сольвычегодск инженеров.

Жили в городе, как и в восемнадцатом веке, все те же – чиновники, военные, священники, купцы, мещане, крестьяне и дворовые люди. Более всего проживало мещан – шестьсот с лишним человек обоего пола. За ними по численности шли крестьяне, которых было в два раза меньше, потом священники, которых вместе с семьями было почти полторы сотни человек. Купцов в Сольвычегодске проживало всего ничего – три семейства общей численностью шестнадцать человек да к ним еще четыре человека иногородних купцов. Прибавим сюда три десятка монахов и монахинь, вольноотпущенных от господ Нарышкиных и княгини Шаховской, переплетчиков, лекарьских учеников, сторожей, присяжных, офицеров, рядовых инвалидной и инженерной команд, жителей богадельни – всего тысяча шестьсот тридцать три человека. На весь город приходилось семь почталыонов – двое мужчин и пять женщин.

По утвержденному Екатериной Второй плану в Сольвычегодске было полтора десятка улиц. Землемеры все расчертили по линейке и нарезали больше трех с половиной сотен участков, но еще до всякого плана сольвычегодцы построили двести сорок три деревянных дома, и стояли они... как построили, так и стояли. По плану, конечно, тоже построили, но всего сорок два и в том числе пять каменных. Публичных зданий, как сообщал Протопопов, кроме богадельни, выстроенной местным купцом Ждановым и существовавшей на проценты с небольшого капитала, им же оставленного, и частных пожертвований, не имелось. Присутственные места помещались в нанятом на казенный счет частном доме, а для магистрата, городской думы, словесного и сиротского судов город купил большой деревянный дом.

Промышленность... Нет, в начале девятнадцатого века сольвычегодская промышленность рыбка не сделала. Кожевенный завод, который в восемнадцатом веке выделял юфть и отправлял ее на продажу в другие города, к началу десятых годов уже двадцать с лишним лет как разорился. За два года до описываемого Протопоповым времени прекратил работу лесопильный завод в пятнадцати верстах от города, поставлявший в большом количестве пиленные доски и брусья в архангельский порт. Зато появилось два новых завода – красильный и мыловаренный. Правда, они находятся, как пишет Протопопов, «в посредственном состоянии; первый по причине дороговизны краски, а второй, что заводчик не имеет хороших сведений улучшить свое искусство и достаточного на то капитала». Есть еще несколько салотопенных, свечных и кирпичных заводов, но... знаем мы эти заводы. Они были в девятнадцатом веке в каждом уезде и были, как правило, таких размеров, что помещались чаще всего в каких-нибудь крошечных сарайчиках величиной с большую собачью будку, и работало на них два, много три рабочих.

«Из числа важнейших художеств, – пишет Протопопов, – известны здесь: сканная серебряная и финифтяная работы, також и живописное искусство; последние два ремесла не столько значительны, в каком виде они прежде были, а особенно финифтяное, которое ныне пришло в совершенной упадок, по причине малого расхода и нерачения работающих оное. Сканное ж серебряное искусство до сих пор имеет свою цену: выделяют на манер Еврейского филигранного мастерства разные вещи из тонкой, сканной (девяносто шестой пробы) проволоки, как-то: вазы, баульчики, корзинки, солонки, кошельки, гербовники, серьги, марки и проч., и проч. Работа хотя и не прочная и скоро темнеет, но для глаз привлекательная. Оную можно производить с выгодой в больших городах, где вероятно скорее она могла расхотиться из рук мастеров; и мастера могли бы там скорее, утончивши вкус, привести ее в высшую степень совершенства, нежели в таком

удаленном краю, как здесь, и где все предметы, окружающие мастера, суть готического вкуса». То есть варварского, как считали в начале девятнадцатого века.

Кроме заводов, ювелиров и мастеров усольской финифти, были в городе слесари и искусные кузнецы, работавшие не только по железу, но и по меди с оловом, но все это были мастера штучные, после себя не оставившие учеников. «Недавно околачивали искусным образом ящики чеканным белым железом, и не более двух лет, как сия изящная отрасль искусства прекратилась смертью мастера. Такой же участи должны ожидать здесь и другие искусства; ибо мастера здешние совсем не имеют в предмете передавать свое искусство посторонним и чрез то улучшать и укоренять оные; да и никто не печется ввесть их в толь благонамеренные виды». Что и говорить, Федор Протопопов смотрел на своих земляков строго – и незначительные, и вкус неутонченный, и искусство свое не передают... Выходит, что Введенский и Благовещенский соборы у него предметы «суть готического вкуса». Обидно, что и говорить.

Впрочем, не все так плохо: «находятся здесь хорошие плотники, столяры, токари, каменщики, оконничники, чеботари и многие другие мастеровые люди, упражняющиеся в сих изделиях для городских и сельских нужд. Мещанские девушки здешнего города славятся вышиванием полотенец и простынь». В двух верстах от города, как пишет Протопопов, «один крестьянин довел себя в сем искусстве до значительной степени: работает маленькие жаровенки, замки, утюги и прочие железные вещи с искусством и полировкой мало уступающим Тульским. Здешняго ж уезда в Кивокурской волости, разстоянием от города в 160 верстах работают замочки в золотник⁵¹ и более, и стенные часы, также с хорошим искусством». Вообще в уезде было царство натурального хозяйства – крестьяне ткали холсты, сермяжные сукна, тесьму, кушаки выделявали овчины, шкуры оленей и телят. Хватало не только себя обеспечить, но и продать излишки в Сольвычегодске.

Небольшая часть жителей никакими ремеслами и искусствами не занималась, а имела доход от земли, доставшейся им по наследству, и которую они сдавали в аренду малоземельным крестьянам или обедневшим горожанам за половину урожая. Те же, кто заработать в Сольвычегодске не смогли, отправлялись в столицу, в сибирские и другие города. Часть сольвычегодского купечества осела в Иркутске, Якутске, Охотске и имела там крупные торговые обороты, приезжая на свою малую родину только для того, чтобы повидаться с родственниками, но вовсе не для того, чтобы торговать сибирскими товарами. Туда же, в сибирские города, к сольвычегодским купцам отправлялись на работу земляки работать приказчиками, и так там хорошо устраивались, что переписывались из сольвычегодцев в жители сибирских городов. Купцы, имеющие свои дела в Сольвычегодске, отправляли водой в Архангельск хлеб, лен, семена, сало, смолу и даже говядину, а оттуда привозили сахар, кофе, тонкие сукна, заморские вина, треску, палтуса, семгу, сельдь и ворвань. Из Устюга, Вологды, Ярославля и Москвы везли в Сольвычегодск медные кольца, кресты, белила, сургуч, сандал, бумагу и купорос. Это все привозилось в Сольвычегодск обычными торговыми путями, но, как сообщает Протопопов, «и ныне находятся люди, имеющие охоту к кочевой жизни, кои ездят к Оби до Березова и даже до местечка Обдорска⁵², путями весьма трудными, как-то: через речки, болота и леса почти непроходимыя и места малообитаемыя. Туда завозят вино, водку, табак, кольца и тому подобное и имеют удачу, подпоя кочующих, выменивать на безделицы шкурки звериные, дорогой цены стояущия».

Вся сольвычегодская торговля была сосредоточена на двух ярмарках – Прокопьевской, проходившей в начале июля, и Введенской, проходившей в конце ноября. Как правило, приезжали туда окрестные крестьяне с продуктами и домоткаными изделиями. Приезжали из Устюга и Галича купцы с шелковыми, хлопчатобумажными тканями и тонкими сукнами. Еще в восемнадцатом веке, когда не было высоких пошлин на лес, пригоняли плоты с сосновым строевым лесом, разной величины лодки, привозили драницу – дощечки для обивки стен и потолков, скалье – бересту для кровель. Кроме этих двух ярмарок были два торговых дня – воскресенье и четверг, в которые на торг приезжали крестьяне из окрестных деревень с продуктами, дровами, сеном и деревянной посудой. Цены на продукты приводить смысла не имеет, поскольку деньги тогда были другими, но мы приведем хотя бы для того, чтобы помечтать о том, что можно было бы купить на

сольвычегодском рынке на нашу нынешнюю зарплату. Баран стоил три рубля с полтиной, живой десятидневный теленок три рубля, цыпленок пятнадцать копеек, курица полтинник, петух двугривенный, десяток яиц столько же, сколько и петух, пуд семги – восемнадцать рублей, а пуд шук или лещей – шесть, десяток карасей – полтинник, а столько же ершей три копейки. Пуд лучшей говядины стоил четыре рубля, а пуд лучшей свинины – пять шестьдесят.

Если мы возьмем «Опыт описания Вологодской губернии», составленный в 1830 году вологодским гражданским губернатором Николаем Брусиловым, и прочитаем то, что написано о Сольвычегодске и уезде, то... не найдем и трех отличий с описанием Федора Протопопова. Самое главное отличие – появление в Сольвычегодске уездного народного училища. Ярмарка в городе осталась одна. Красильный и мыловаренный заводы умерли, но кожевенный стал работать. Купцы как ездили с хлебом и салом в Архангельск – так и продолжают ездить. Накупят там иностранных товаров, отвезут их на китайскую границу в Кяхту, там наберут китайских товаров и едут на Ирбитскую ярмарку или на Нижегородскую, но никак не в Сольвычегодск. Совокупный капитал, объявленный сольвычегодскими купцами на 1830 год, сто двадцать две тысячи рублей. При этом доход города в том же году – три тысячи рублей. Вот, собственно, и все, но... не все.

Павел Исаакович

В 1826 год город Сольвычегодск в первый, но не в последний раз стал местом политической ссылки. Сослали туда не кого-нибудь, а внука Абрама Петровича Ганнибала – Павла Исааковича. Между прочим, родственника Александра Сергеевича по материнской линии. Павел Ганнибал был подполковником Изюмского гусарского полка в отставке, участником войны с Бонапартом, кавалером нескольких орденов, человеком очень храбрым, вспыльчивым, своенравным и за словом в карман не лез... Вернее, он за тем, что говорил, не всегда следил. Дело Павла Исааковича в другое время и в других обстоятельствах, может, и не началось бы, но Ганнибал попал в то время и в те обстоятельства, в которые попал и... Впрочем, предоставим слово самому отставному подполковнику. Вот, что он пишет в письме начальнику Третьего Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии генерал-адъютанту Бенкендорфу: «В 1826 году, июня месяца, числа не упомню, я зашел отобедать в ресторацию и, к несчастью моему, встретился там с господином подполковником Краковским, который, вероятно, с намерением начав со мною разговор, обратил его на тех несчастных, которые по заслугам своим получили уже достойное наказание, упрекал их в возмущении 1825 года – делал самые поносные замечания. Я, движимый чувством сострадания, решился напомнить ему указ милостивого Монарха нашего, запрещающий упреки потерпевшим наказания – из уст моих вырвалось слово, что они слишком строго наказаны».

Подполковник Краковский конечно же донес, и через два месяца, когда Павел Исаакович уже и думать забыл об этом разговоре, его арестовали и препроводили в один из казематов Петропавловской крепости. В начале октября того же года комендант Петропавловской крепости генерал-адъютант Сукин получил распоряжение столичного генерал-губернатора Голенничева-Кутузова, в котором говорилось: «Государь Император Высочайше повелеть соизволил: Содержащегося во вверенной Вашему Высокопревосходительству крепости отставного подполковника Ганнибала выслать Вологодской губернии в город Сольвычегодск, где жить ему под надзором полиции. Вследствие чего благоволите Ваше Высокопревосходительство приказать его Ганнибала доставить к здешнему Ober-полицмейстеру для дальнейшего исполнения Высочайшей воли».

И поехал бедный Павел Исаакович Ганнибал за казенный счет в город Сольвычегодск. Хорошо, что не в Сибирь, не в рудники, а в Вологодскую губернию. В конце октября того же года приехал он Сольвычегодск. Город был взбужден. Еще бы – Ганнибал у ворот. Это потом политических ссыльных здесь будет пруд пруди, а тогда... Прожил Ганнибал в Сольвычегодске полгода, и за это время успел рассориться почти со всем сольвычегодским обществом. Сам он так описывал свою нелегкую жизнь политического ссыльного: «Я не был пощажен тамошним господином го-

родничим Соколовым: к квартире моей были приставлены десятские, сам господин городничий, ежедневно посещая меня в нетрезвом виде, более обращением своим расстраивал мое здоровье – ипохондрия усиливалась, о чем рапортовано было ежемесячно им, господином городничим, куда следует. В несчастном моем положении избегая всякого общества, я навлек на себя вражду, тем более что в одно время наскуча посещением незваных гостей моих, забывших должную благопристойность, в том числе и господина городничего, – я решился выгнать их вон».

В свою очередь городничий Соколов в одном из своих рапортов губернскому начальству сообщал о Ганнибале: «Всегда почти мрачен и часто, особливо в квартирах, задумывается до такой степени, что по несколько минут как будто и не видит, и не слышит ничего; опомнясь же, быстро говорит о себе». Городничий забыл прибавить, что не только всегда почти мрачен, но и всегда почти пьян, а в пьяном, да и в трезвом виде любил стрелять из окна дома купца Пьянкова, в котором проживал, из маленькой сигнальной пушки, которую он то ли привез собой из столицы, то ли купил в Сольвычегодске по случаю. Поскольку средств у Ганнибала, привыкшего жить на широкую ногу, катастрофически не хватало, несмотря на назначенное от казны содержание, Павел Исаакович стал занимать деньги у сольвычегодцев. У всех, у кого можно было занять. Даже у городничего, которого он на дух не выносил, подполковник занял более полутора сотен рублей.

Долгами дело не ограничилось. Скушающий ссыльный стал ходить с визитами к сольвычегодцам. Оно бы еще ничего, если бы его приглашали, но он приходил без приглашения и вел себя так, что двери почти всех домов для него оказались закрыты. Городничий доносил вологодскому губернатору, что Ганнибал, явившись без приглашения к заседателю и застав там купца Пьянкова, «оказывал некоторые знаки своего отвратительного нерасположения» к нему, а после его отъезда так разошелся, что обещал «разбить ему рожу, называл мужиком и ничего незначущим человеком». Городничий усовестить Ганнибала не смог, и тогда вологодский губернатор, который регулярно получал рапорты городничего, приказал «объявить Ганнибалу, дабы вел жизнь смиренную и без приглашения никуда не выходил, кроме церкви. В оскорблениях известному в честности купцу Пьянкову и купцу Мамаеву должен он загладить извинением, испросив прощение; ежели же они будут просить за понесенные оскорбления, то он может подвергнуть себя содержанию, как буйный и нетерпимый в обществе человек. Жителям объявить, если кому случится оскорбление от Ганнибала, то хозяин оного должен ответственность». Однажды дело дошло до того, что протоиерей Кириллов просил заехавшего к нему городничего вывести из дома Ганнибала с его другом неким Воронежским, товарищем из сольвычегодцев по совместным выходкам, с полицией, поскольку пришли они без приглашения и уходить не собирались.

Как только Павлу Исааковичу городничий зачитал приказ губернатора, он пришел в ярость. Городничий так живописал в своем рапорте эту сцену: «Как смел генерал-губернатор обо мне так писать, чтоб я испросил прощение – и у кого же: у купцов! <...> И Вы, Василий Васильевич, доносили на меня?.. Знайте же, что я Вас убью, застрелю, и что это не на словах, а на самом деле исполню!..» И это при том, что ссыльный имел в своем распоряжении хотя и сигнальную, но все же пушку. Городничий так испугался, что написал губернатору: «Не было ли бы полезно послать Ганнибала в другое место, где бы можно было распорядиться с ним так, как образ его поступков требует». Он же и в министерство внутренних дел написал подробное письмо с рассказом о поведении ссыльного, спросив при этом: «не благоугодно ли сослать Ганнибала в Соловецкий монастырь». Оказалось, что благоугодно, и в полдень двадцать шестого апреля 1827 года Ганнибала в сопровождении жандарма и гарнизонного солдата отправили на Соловки, причем предписано было в Архангельск его не завозить, а доставить в монастырь другой дорогой. Перед отъездом Павел Исаакович захотел проститься с некоторыми сольвычегодцами, но в этом ему было отказано. Разрешили лишь позавтракать у его друга Воронежского, но при этом не дали ни ножа, ни вилки.

После того, как Ганнибала увезли, в истории сольвычегодской политической ссылки наступил перерыв почти на сорок лет.

Дело купца Папулина

Прервем хронику текущих сольвычегодских событий, чтобы рассказать об истории, которая началась в Сольвычегодске в десятых годах девятнадцатого века, но вышла далеко за пределы маленького уездного города Вологодской губернии. В 1814 году епископ Вологодский и Устюжский Онисифор, совершая обзор епархии, приехал в Сольвычегодск и осмотрел Благовещенский собор, который за восемь лет до его приезда сильно пострадал от пожара. Надо сказать, что и через восемь лет после пожара его последствия устранены не были. Денег на это у соборного причта не было. Оно и понятно – город к тому времени, можно сказать, перебивался с хлеба на квас и собору помочь никак не мог. Епархия тоже такими средствами не обладала, но хозяйственный епископ увидел в соборе большое количество крупного и мелкого жемчуга, драгоценных камней оставшегося еще со строгановских времен. Не откладывая дела в долгий ящик, Онисифор обратился в Синод с предложением «продать некоторую часть жемчугу и камней разного достоинства из Сокровищ соборных и тем извлечь Сольвычегодский Собор и служителей оного из скудного их состояния». Синодальное начальство с предложением согласилось, епископ составил смету на ремонт, и оказалось, что... все равно на ремонт не хватит. Преосвященный Онисифор попросил у церковного начальства прибавить денег «к сумме, какая продажей вещей приобретена будет», но Синод денег не дал, а предписал преосвященному «сделать опись всем драгоценным вещам в том соборе находящимся, с изъяснением, какие из них еще можно назначить в продажу по ненадобности их». Быстро составили расширенный список того, что можно было продать. Что-то предполагалось продать целиком, а с чего-то решили снять оклады, драгоценные камни, жемчуг и продать отдельно. В сентябре 1818 года в Москве на продаже церковного имущества Благовещенского собора выручили на нужды храма около двадцати одной тысячи рублей. Часть серебряной басмы, снятой с икон, переплавили и продавали серебро в слитках.

Весной 1819 года решено было начать ремонт собора. В ходе ремонта предполагалось разобрать примыкавшие к собору малые придельные храмы. Дополнительных денег Синод на ремонт не давал, и потому решили пойти по уже проторенной дорожке – продавать иконы. Тут как на грех в начале июня того же года случился новый пожар. Мало того, что огнем повредило главы и крышу собора, так еще и полностью сгорела приписанная к нему Сретенская церковь. Из огня удалось вынести только иконы. В декабре 1821 года соборный протоиерей Афансий Кириллов вместе с причтом и церковным старостой обратились к Онисифору с предложением разрешить продажу ветхих икон, в приделах, предназначенных к разборке. Разрешение они через два месяца получили и стали искать покупателя. Месяца не прошло, как он нашелся – им оказался судиславский купец второй гильдии Папулин. Продали ему 207 икон по соборной описи, некоторое число ветхих икон, 19 складней и крест на общую сумму 9100 рублей. В 1823 году и в 1826 годах соборный причт продал Папулину еще 64 иконы, 28 ветхих образов для переписки, трое Царских врат, 35 складней... Соборными приделами дело не ограничилось. Часть икон взяли из главного храма. Активно торговали, что и говорить. Всего продали около 380 икон, среди которых были и миниатюрные, и среднего размера, и даже большие, достигавшие в высоту двух метров. И все бы ничего, но беда была в том, что судиславский купец Папулин был старообрядцем федосеевского согласия, то есть раскольников, а продажу икон и церковного имущества раскольникам правительство запрещало.

Все купленные иконы Папулин увез к себе домой, в Судиславль, и поместил после реставрации, которую сам же и оплатил, в двух моленных скитах, устроенных им для призрения мужчин и женщин федосеевского согласия. То, что в скиты не поместилось, Папулин отослал другим старообрядцам, в том числе и на московское Преображенское кладбище, где находился духовный центр федосеевцев. Часть икон была отослана в Петербург, а несколько большемерных икон Папулин отправил своим единоверцам в храм Покрова Пресвятой Богородицы на московском Рогожском кладбище. Это уже квалифицировалось как распространение раскола. Конечно же, нашлись люди, которые об этом донесли куда следует. Тут уже правительство, изводившее рас-

кольников всеми доступными ему средствами, вмешалось. Судиславские моленные Папулина хотя и спустя некоторое время, но закрыли, а иконы конфисковали и в 1846 году отправили на хранение в кладовые костромского Ипатьевского монастыря.

Началось следствие. Нагрянули с обыском на московское Преображенское кладбище, и там тоже нашли иконы из Сольвычегодска. Откуда ни возьмись, возник какой-то отец Федор Артемьев из Сызрани, заявивший на следствии, что протоиерея Благовещенского собора подкупили за тысячу рублей, а икон Папулин вывез на шести парах подвод не 380, а все 1350, заплатив за них всего шесть тысяч рублей. Мало того, он еще продал часть этих икон староверам за тринадцать тысяч рублей. Все это были обвинения бездоказательные и даже абсурдные, поскольку такого количества икон было не набрать, даже если Благовещенский собор обобрать дотла, но доказательствами следствие себя не утруждало. Папулина арестовали по личному распоряжению Николая Первого, сослали в Кирилло-Белозерский монастырь, а затем и на Соловки.

Что касается икон, то они в конечном счете оказались у графа Сергея Григорьевича Строганова, который узнав о закрытии папулинских моленных и аресте самого Папулина, обратился к обер-прокурору Святейшего Синода с просьбой отдать ему конфискованные иконы как «памятники благочиния его предков». 22 октября 1847 года ходатайство графа было удовлетворено и секретным указом императора костромскому епископу Иустину было предписано передать иконы Строганову, что и было сделано. Благодарный Сергей Григорьевич пожертвовал четыреста рублей в пользу Ипатьевского монастыря.

Потом граф Строганов переехал вместе со своей коллекцией из Москвы в Петербург, потом части ее пожертвовал в Музей Духовной академии и в музей при Обществе поощрения художников, потом, уже после семнадцатого года, новая власть конфисковала петербургский дворец Строгановых вместе с коллекцией икон, потом изрядно обветшавшие иконы отдали на реставрацию в Русский музей, потом они так в нем и остались. Впрочем, это уже совсем другая история, к Сольвычегодску и его уезду отношения не имеющая.

Строгий выговор с запиской в книгу

Вернемся в середину девятнадцатого века. Немного скучной статистики. В тот год, когда в Сольвычегодск привезли Ганнибала, в городе имела деревянная городская тюрьма, две пожарных трубы, четыре пожарных бочки, городская больница, помещавшаяся в доме, принадлежащем городу, при ней лекарь и два подлекаря. Зарплата лекаря составляла шестьсот, а подлекаря двести рублей в год. При этом зарплата городничего была ровно в два раза меньше зарплаты лекаря. На весь город приходилось пять низших служащих – канцеляристов, подканцеляристов и копиистов, то есть тех, кто служил в присутственных местах и канцеляриях учреждений. Им платили мало – всего по восемьдесят пять рублей в год из доходов города, а не из казначейства, как лекарю, подлекарям и городничему. Канцеляристы и копиисты, наверное, как-то выкручивались – писали за умеренную плату сольвычегодцам и жителям уезда прошения, подкладывали начальству на подпись в первую очередь те прошения, за которые... Впрочем, документов на этот счет не сохранилось, и потому не будем их обвинять. На восемьдесят рублей жалованья в год поди проживи – это ведь семь рублей с копейками в месяц. Еще и Бог что ни год благословляет супругу беременностью... Тут фунт семги за полтинник не купишь – тут только ершами по три копейки за десяток и питаться. Еще и водка проклятая, еще и карты...

От крупного события, каким в масштабе Сольвычегодска был приезд в город первого политического ссыльного, да еще такого, как Павел Ганнибал, перейдем к событиям более мелким и происшествиям. Правду говоря, в жизни Сольвычегодска позапрошлого века более мелких событий и происшествий тоже было не так много. Вологодские губернские ведомости, подробно освещавшие жизнь губернии и ее уездных городов, о Сольвычегодске и уезде писали до обидного мало. Возьмем, к примеру, 1838 год – самый первый год издания Вологодских губернских ведомостей и посмотрим, что тогда писали о Сольвычегодске и уезде. В феврале дворянским заседа-

лем в Сольвычегодск назначен отставной губернский секретарь Николай Подьяконов; тогда же, в феврале, городничего майора Волкова наградили орденом Св. Станислава III степени; продавался одноэтажный ветхий дом, принадлежащий мещанину Прокопию Белослудскому, «и продается за неплатеж им на удовлетворение претензии по опеке малолетних детей Паламодовых»; в апреле Вологодским губернским правлением был объявлен торг на доставку в Сольвычегодск по воде полутора сотен пудов пороха; в том же месяце ревизия присутственных мест Вологодской губернии показала, что в Сольвычегодске арестантов нет, незавершенных дел всего семь, пожарные инструменты исправны «и в городе опрятность». Сольвычегодскому городничему «за наблюдение в городе опрятности и исправности пожарных инструментов» велено «объявить признательность, о чем чрез припечатание в Губернских Ведомостях от Вологодского Губернского Правления и объявляется». В конце июля из Сольвычегодска в Вологду приехал учитель Сольвычегодского уездного училища двенадцатого класса Иван Протоodyаконов, а из Вологды в Сольвычегодск выехал уездный землемер Журавлев. В конце сентября выставлено за долги на продажу движимое и недвижимое имущество умершего сольвычегодского купца Василия Пьянкова. В октябре земским исправником в Сольвычегодск определен отставной капитан Нарбут. Предыдущему земскому исправнику Василенко, который во время рекрутского набора «оказался не только нераспорядительным, но даже беспечным», Вологодское губернское правление приказало «сделать строгий выговор с запиской в книгу, предварив ее при том, что если к новому году он по крайней мере не очистит всю рекрутскую и податную недоимку за текущий год, то подвергнется законной ответственности».

В примечаниях к этому строгому выговору с записью в книгу скажем, что чиновники не рвались ехать служить в Сольвычегодский и соседние с ним уезды. Так они не рвались, что правительством даже издало указ о льготах для тех, кто поедет в Сольвычегодск или Яренск, или вовсе на край света в Усть-Сысольск, обещая выплатить пособие в размере годового оклада не в зачет жалованья. Тем же, кто прослужит беспорочно восемь лет, полагалась прибавка к обычному жалованью в половину оклада, тем, кто прослужит восемнадцать лет, прибавляли три четверти оклада, а тем, кто прослужит двадцать лет, прибавляли к обычному еще один оклад и... все равно не хотели.

Осталось только добавить, что в тот год фунт соленой семги по данным Вологодских губернских ведомостей на рынке Сольвычегодска стоил полтинник. Сама по себе эта сумма нам не говорит ни о чем, но если пересчитать ее на пуд и сравнить с ценой за пуд соленой семги, указанной в записках Федора Протопопова, то выйдет, что пуд соленой семги подорожал на два рубля или на десять процентов за двадцать пять лет. За это же время цена пуда свежей говядины первого сорта, стоившей четыре рубля, выросла почти на четверть, но Вологодские губернские ведомости дают цену за фунт, а Протопопов за пуд и потому цена за пуд могла быть и меньше. Цена пуда свежих щук тоже увеличилась на четверть. Выходит, что цены на семгу и мясо росли в год на один процент. Нам бы такие темпы инфляции. Цена за пуд сена за четверть века упала в два раза – с пятидесяти копеек до двадцати пяти.

Теперь о происшествиях. Их, как уже говорилось, было немного и даже меньше, чем немного, но они все же были. В июле 1829 года приезжал в город чиновник вологодского губернатора по особым поручениям Зависецкий расследовать секретные дела о скоропостижной смерти исправника Болотова и об убийстве жены уездного казначея Беляева, причем главным подозреваемым был сам Беляев. В начале ноября 1839 года, писали Вологодские губернские ведомости, крестьянин из деревни Устьмабель Сольвычегодского уезда Григорий Ларионов, тонувший в реке Двине, умер «от холоду». В конце того же месяца казенный крестьянин Череповской волости Никифор Чулков убит на мукомольной мельнице. Ревизия показала, что дороги в уезде находятся «в худшем виде, хотя и было Земским Судам в особенности исправникам не раз замечено о приведении их в вид исправный, равно также о срытии по возможности непомерной крутизны горы вообще о наблюдении в селениях опрятности». В январе 1840 года сольвычегодского почтмейстера титулярного советника Егора Андреевского произвели в коллежские ассессоры. Ровно через год сенат-

ским указом исправляющего должность сольвычегодского окружного начальника государственных имуществ титулярного советника Осипа Матиевского произвели в коллежские асессоры, а на вакансию уездного землемера определили коллежского регистратора Илюдора Швиля. В марте 1841 года в городские головы выбран купеческий сын Андрей Хаминов, в гласные городской думы мещане Федор Милохин и Николай Колобов, в бургомистры мещане Василий Зазубрин и Василий Токмаков, в ратманы мещане Григорий Муксунов, Дмитрий Милохин, Алексей Неволин и Александр Инкин. В середине июня городская дума «вызывает желающих занять праздную вакансию секретаря по праву поступления на оную с получением жалованья восемьдесят шесть рублей серебром в год». Тогда же в июне из Сольвычегодска в Вологду приехали уездный судья Насонов, купец третьей гильдии Пьянков и чиновник палаты государственных имуществ капитан Закускин. В первой половине года в Сольвычегодске и уезде, как и во всей губернии, прививали оспу детям. Привито было сто пятьдесят три ребенка. В конце октября в Сольвычегодске сгорел дом мещанина Ивана Клишева. В начале ноября вологодский гражданский губернатор и губернская строительная комиссия объявили «совершенную благодарность членам временного в городе Сольвычегодске Строительного Комитета по перестройке каменного корпуса тамошних Присутственных мест, и Гражданскому Инженеру Фортунатову, за оказанную ими распорядительность при спасении того корпуса и заготовленных материалов во время бывшего шестого минувшего сентября весьма в близком расстоянии пожара, в особенности же заступавшему должность Председательствующаго в том Комитете Дворянскому Заседателю Уездного Суда Котову, показавшему при сем случае отличное усердие и само отвержение», а в конце месяца в должности городничего Сольвычегодска был утвержден штабс-капитан Воцкий и по постановлению Вологодского губернского правления сделан выговор с занесением в книгу исправляющему должность пристава первого стана Сольвычегодского уезда Сахарову за медленность по делу о горевшем у крестьянина Горячевского дом с именем. В середине декабря гражданский инженер Фортунатов уехал в Вологду.

Теперь о том, о чем не писали в губернских ведомостях, но о чем можно прочесть в воспоминаниях Лонгина Федоровича Пантелеева – русского издателя, общественного деятеля и члена организации «Земля и воля», отец которого как раз в конце тридцатых и начале сороковых был начальником инвалидной команды в Сольвычегодске. По рассказам его матери, отец Пантелеева, Федор Савельевич, офицер гарнизонного батальона в Вологде, устал от постоянных учений и дежурств, поскольку был уже немолод. «Захотелось ему места поспокойнее; снесла я дюжину серебряных ложек жене батальонного командира, – ну, отец и получил место начальника инвалидной команды в Сольвычегодске». Недолго прослужив начальником инвалидной команды, Федор Савельевич заболел и с неофициального разрешения губернского начальства уехал лечиться в Вологду, а инвалидной командой... стала командовать его жена, мать грудного Лонгина Федоровича. Она могла бы хоть до пенсии командовать, если бы ей таковая полагалась, но «так как здоровье отца не поправлялось, то он подал прошение об отчислении его от инвалидной команды, а в Сольвычегодск был прислан приемщик, которому матушка и сдала команду и все казенное имущество. В те времена всякая сдача обязательно сопровождалась уплатой приемщику известной суммы». Если вы думаете, что в соседних Устюге или в Тотьме, или не в соседних Чухломе или Кологриве было по-другому, то ошибаетесь.

Оставим на время хронику происшествий и посмотрим на то, что происходило с Сольвычегодским уездным училищем в двадцатые и тридцатые годы девятнадцатого века, но перед этим скажем несколько слов о том, как проходили ежегодные публичные испытания учеников. Публику на эти экзамены привлекали угощением, которое устраивали в конце торжества. Поскольку уездные училища обычно помещались чуть ли не в избышках и каморках, то помещение для таких испытаний предоставлял кто-нибудь из состоятельных граждан, и он же тратился на угощение. Вот составленное штатным смотрителем училища Мудровым описание публичных экзаменов, прошедших в конце августа 1816 года в доме сольвычегодского исправника. «После литургии и молебна в соборной церкви, учание, ученики и посетители вошли в залу испытания, предостав-

ленную исправником Силиным в дом его по неудобности занимаемых училищем покоев, для какового случая г-жа Силина украсила предварительно портрет Государя Императора лаврами и букетами, а пол зала усыпала цветами, в коем по шествии, посетители были встречены краткими стихами от ученика первого класса Зинова Мудрова, а потом началось испытание. По сем произнес слово «о российской словесности» штатный смотритель Мудров. Наконец хозяин дома угостил посетителей богатым угощением. Из второго класса выпущен один ученик». Вся церемония длилась около трех-четырех часов, и все это время ученики, смотритель и учителя развлекали посетителей стихами, приветствиями, разговорами и многоголосным пением церковных и светских песен. В 1818 году на публичном испытании пятеро учеников устроили для приглашенных диспут о преимуществах между историей, географией, грамматикой и математикой.

Между тем неоднократные проверки училища губернским начальством обнаруживали слабую подготовку учащихся. Директор училищ постоянно был недоволен то медленным ходом обучения, то тем, что ученики вызубривают учебники, не понимая того, что в них написано. Несмотря на то что уездные училища были призваны готовить учеников к поступлению в гимназии, из Сольвычегодского училища за первые двадцать семь лет его существования в Вологодскую гимназию поступило лишь два человека. Все остальные выпускники пошли работать в казенные учреждения. К началу 1830 года в училище состояло 38 учеников. В марте 1832 года училище было преобразовано из двухклассного в трехклассное, и жизнь в нем понемногу стала налаживаться. К тому времени в училище преподавали и русский язык, и историю, и географию, и арифметику с геометрией. Через год после преобразования училище приобрело двухэтажный полукаменный дом. В 1837 году учеников, по случаю поступления крестьянских мальчиков, из которых собрались готовить писарей, стало 106. Штатному смотрителю училища Петру Семеновичу Балову в конце декабря 1840 года от Санкт-Петербургского учебного округа была объявлена благодарность. Сообщая Балову о вынесенной благодарности, директор училищ Вологодской губернии Башинский писал: «<...> особенно по успехам и количеству учащихся может ныне служить примером для других, что самое Его Сиятельство приказал сделать известным по всей дирекции <...>». Через шесть лет Башинский придет в Сольвычегодское уездное училище с проверкой и в ревизионном отчете напишет, что «Внешность детей весьма была прилична, так что по одной наружности детей очень можно судить о хорошем устройстве заведения. Даже дети самобеднейших были в приличном одеянии. Чертежи и рисунки образцовые. Смотритель Балов расторопен, отличный чиновник. Сделано наставление учителям, чтобы они неослабно следили за ходом усовершенствования предметов, и сами постоянно занимались обогащением себя новыми запасами наук».

Вернемся к известиям о жизни Сольвычегодска, регулярно сообщаемыми Вологодскими губернскими ведомостями. Если мы самым внимательным образом посмотрим на то, что публиковалось в губернской газете в сороковых годах позапрошлого столетия на этот предмет, то... нет, не уснем, но зевать будем... В сорок третьем году по постановлению губернского правления сделан выговор членам Сольвычегодского Земского Суда и Секретарю за нерассмотрение и отсылку дел с недостатками в местный уездный суд к решению. Городской голова Хаминов пожертвовал двадцать копеек серебром пострадавшим от пожара в Перми, мещане Михайло Мелентьев, Александр Нозиков, бургомистр Зазубрин и солдатка Акимья Шивринская по пять копеек, а губернский секретарь Кириянов двурывленный. В том же году первого октября в огромный каменный дом с колоннами, которое купец Пьянков продал городу под присутственные места, переехали уездное казначейство, городническое правление, уездный суд, земский суд и канцелярия уездного стряпчего, занимавшие ранее частные квартиры в разных местах города. Кроме того, в доме был устроен зал для дворянского собрания и квартира городничего. Въехали торжественно – сначала молебен с водоосвящением, потом литургия, потом торжественная речь архимандрита чиновникам в зале дворянского собрания, и после возгласения многолетия государю императору и всему августейшему дому все комнаты дома окропили святой водой. Ну, а после окропления «Духовенство, Чиновники и граждане, присутствовавшие при этом торжестве, угощены в особой зале за-втраком, который окончился тостом за здоровье Государя Императора и всего Августейшего Дома,

сопровождаемым громким “ура!” как выражением верноподданнической преданности Государю и Престолу. Вечером перед домом, иллюминированным внутри и снаружи, выставлено было Вензельное Имя Государя Императора, блестящее радужными огнями. Тихий осенний вечер, при сухой погоде, вполне содействовал общему торжеству, заключившемуся балом, данным Чиновниками в зале Дворянского собрания».

На первом этаже теперь уже бывшего дома Пьянкова устроили тюрьму, а в конце января сорок четвертого освятили тюремную церковь во имя святителя Николая. «При сем приятно для сердца Русского услышать о пожертвовании двух тысяч рублей ассигнациями на сооружение тюремной церкви крестьянином Крохиным <...> и в последствии на этот же предмет купецкою вдовою Паламодовою внесенных двух тысяч рублей ассигнациями». По окончании литургии совершили молебен с провозглашением многолетия государю императору и всему августейшему дому, преосвященному Иринарху, епископу Вологодскому и Устюжскому, был крестный ход при колокольном звоне, после которого члены Тюремного комитета, все духовенство и многие посторонние лица были приглашены на завтрак к старосте тюремной церкви и уездному судье Насонову.

И снова, теперь уже в сентябре сорок шестого года, «От Вологодского Губернского Правления сим объявляется, что в оном, в следствие рапорта Сольвычегодского Городового Магистрата, двадцать пятого числа будущего Ноября, продаваться будут: деревянный дом с строением и землею, мыловаренный завод с анбаром на своз и анбар с хлебом и сenniцею на своз же, принадлежащие Сольвычегодскому мещанину Василью Неволину, и состоящие в городе Сольвычегодске за неплатеж Неволиним в пользу частных лиц и казны денег». Снова цены за пуд ржаной муки, за фунт гороха, пшени, свежей говядины и свинины первого сорта, за курицу, десяток яиц, фунт соленой семги, коровьего масла или конопляного масла, пуд салных свечей...

Было, однако, исключение. В июле сорок шестого года губернские ведомости писали: «С последнею почтою получено известие, что в Сольвычегодске 4-го числа текущего Июля свирепствовал почти целый день сильный и порывистый юго-восточный ветер, которым с главного купола церкви Введенского монастыря сорвало крест, с многих домов, в том числе с Присутственных мест снесло крыши, коверкало их и бросало на значительное пространство, оконничные рамы вырывало из петель и летевшими осколками и щепами выбило значительное количество стекол, у многих домов сорвало с петель полотна ворот и сломало много заборов. Быстрая и широкая Вычегда бушевала, кипела и пенилась от всплесков волн. Разбито разной величины судов и лодок четырнадцать. К счастью никто не сделался жертвою этой страшной бури».

Буря утихла, и в сорок седьмом году Вологодские губернские ведомости сообщают из Сольвычегодска о том, что в пользу пострадавших от пожара жителей Томска коллежский ассессор Насонов, удельный депутат Львов, титулярный советник Юдицкий и штабс-капитан Яровой пожертвовали по пятьдесят копеек, титулярный советник Жаворонков двадцать пять копеек, а титулярный советник Карпушенков отдал рубль; о том, что за перевоз через Вычегду во время весеннего половодья берут полкопейки серебром с пешего человека не служащего, с лошади без упряжки, коровы и быка со штуки полтора рубля, с товаров, перевозимых в телегах без лошадей и без телег с пуда четверть копейки, а в летнее и осеннее время с пешего человека не служащего четверть копейки, с лошади без упряжки, коровы и быка со штуки три четверти копейки; о том, что весной сорок восьмого года в Сольвычегодском уездном суде «первого числа будущего марта будет продаваться деревянный одноэтажный дом, состоящий города Сольвычегодска в четвертом квартале, оцененный в сто рублей серебром, принадлежащий сольвычегодскому мещанину Андрею Попову за упущения его в бытность опекуном над имением малолетних детей Паламодовых».

Примечания

¹Областные власти обещают не только дорогу от Котласа от переправы сделать асфальтовой, но и построить мост через Вычегду, чтобы можно было до Сольвычегодска доехать без пересадки на

паром. Правда, обещают не первый год. Пока мост проектируют. Тоже, кстати, не первый год. Архангельский губернатор обещал, что основные работы по строительству моста и подъездных путей (включая асфальтирование) запланированы на период 2025–2028 годов. Не то, чтобы у нас губернаторы горазды обещать, но... Пока дорогу время от времени подсыпают гравием и разравнивают грейдером.

²Краевед Павел Григорьевич Доронин, обнаруживший Вычегодско-Вымскую летопись, через тридцать лет после находки подготовил ее к публикации. В предисловии к ней он писал: «Приводимые ниже документы мной были переписаны в 1927 году из рукописной книги устьвымской Благовещенской церкви под названием “Старинная летопись устьвымской архангельской и благовещенской церкви и царские грамоты”. Рукописная книга формата состояла из 87 страниц текста, написанного довольно уборым почерком начала XIX века. Она была переплетена в толстую обложку холщовым покровом. До полсотни страниц в ней ничем не заполнено. <...> В 1929–30 годах Степановская и Благовещенская церкви были закрыты и переданы под складские помещения и под столовую управлению лагерей. О дальнейшей судьбе этих рукописей мне ничего неизвестно. <...> Прилагаемая устьвымская летопись, судя по припискам, приложенным к летописи, была начата между 1586–1588 годами черным (монастырским) попом Мисаилом, в период епископства Антония Вологодского. Первоначально летопись велась при устьвымской Архангельской церкви. После смерти Мисаила, летопись продолжал священник Благовещенской церкви Евтихий. События в летописи доведены только до 1619 года, так как в дальнейшем последовал запрет вести летописи церковнослужителям низшего звания». Ничего хорошего ни Степановскую, ни Благовещенскую церкви после передачи их под склады и столовую управления лагерей не ждало, а уж хранившиеся в них летописи...

³Об Алексее Ивановиче Соскине известно не очень много. Родился он примерно в 1761 году и, как сказано в Обыкновенной книге города Соли Вычегодской конца восьмидесятих годов восемнадцатого века, «его отец, дед, прадед и прапрадед были старинные сего города сольвычегодские граждане». Когда Алексею было одиннадцать лет, умер отец, и ему пришлось работать. Чтобы обеспечивать не только себя, но и свою мать. Начал он с должности рассыльщика Сольвычегодского городского магистрата и закончил ратманом – членом городского магистрата. В промежутке был и писцом, и копиистом у городского головы, выбирали его и городским словесным судьей. Через два года после смерти матери в восьмьсот втором году, Соскин, которому к тому времени было уже сорок четыре года, женился на дочери сольвычегодского присяжного сержанта Аграфене Старковой. Умер в июне 1822 года от чахотки и похоронен, как написано в метрике городской Владимирской церкви, на городском кладбище. Точное место захоронения неизвестно. Потомства не оставил. Вот, собственно, и все, что мы о нем знаем. Писать историю города стал в двадцать восемь лет, находясь в должности ратмана. Писал он ее, как указывал в предисловии к читателю, «От сущаго усердия моего ко отечеству, хотя я в исторических и пиитических, философских науках не бывал, дерзнул град Соль Вычегодскую описать, древнее и нынешнее его состояние. И что убогий мой труд, ежели благоволит благосклонный читатель прочесть, не дивись простому слогу и слов изречению. <...> И буде, благосклонный читатель, если вы, согражданин, оного нашего отечественного града или места, то останитесь без сумнения. Я вам истинно объясняюсь, что в сей Истории все то, что я письменно приобрел и от кого слышал и сам видел, а коли и паче по долгу звания христианина солгать мне несвойственно на град отечества моего воспитавшим и согражданам, а притом же ни для какой собственной прибыли и наживы. Я единственно сию историю написал в незабвенную память своим согражданам, ис которых многие мне в сочинении сего моего убогаго труда сообщением документов вспомогатели были... и по обстоятельствам сколько мох написах». Представь себе, благосклонный читатель, Сольвычегодск конца восемнадцатого века – окруженные с трех сторон лесами и болотами, а с четвертой – рекой семнадцать церквей, третьеклассный монастырь, питейный дом, горсть деревянных домиков, в которых живут крестьяне, мещане, купцы, торгующие топленым салом, кожами, льном, хлебом, мехами, выращивающие на своих огородах капусту, морковь и редьку, а в одном из домов сидит молодой человек двадцати восьми лет, читает «Древнюю Российскую историю» Ломоносова, «Описание Сибирского царства» Миллера, «Дневные записки путешествия

академика и медицины доктора Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства», «Историю Российской коммерции» Чулкова, летописи, вороха документов, принесенных с работы, чинит ножиком перья, жжет свечи, на которые уходит прорва денег, и пишет, пишет «от сущего усердия ко отечеству» и в «незабвенную память своим согражданам» историю города Соли Вычегодской вместо того, чтобы растить капусту с редькой, ловить налимов и щук в Вычегде, торговать топленым салом или, на худой конец, просто пить горькую.

⁴Под летописцем здесь имеется в виду рукопись восемнадцатого века «Летописец о граде и о посаде Соли Вычегодской», которая теперь хранится в рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

⁵Сигизмунд Герберштейн в своих «Записках о Московитских делах» писал: «...ибо все то, что окружено стеною, укреплено тыном или огорожено другим способом, они называют городом».

⁶Тын или часток – простейший тип деревянной крепостной стены из вкопанных в землю и заостренных сверху бревен. Тыновые стены окружали острый и устраивались во рву и на валах.

⁷Иглы или укрепы – подпорки тына в виде наклонных бревен или в виде коротких столбов-упоров, которые забивались в землю перед тыном, образуя подпорную стену.

⁸Тарасы – то же, что и городни.

⁹Верхние бои – бойницы, из которых обычно велась стрельба.

¹⁰Были еще и колодезные мастера, копавшие вместе с подручными колодцы, в которые устанавливали рассолоподъемные трубы; набивщики, набивавшие мешки с уже просушенной солью; мешкодеры, державшие мешки во время их набивки солью; дровяные нарядчики, следившие за своевременным подвозом дров к варницам, песочники, удалявшие из црена выпадавшие в осадок в процессе варки соли плохо растворимые в воде вещества и, наконец, выскребенцы, вычищавшие из црена все то, что к нему прилипло насмерть после того, как варка закончена и полученная соль отправлена на сушку.

¹¹Там же, где «россолные места» приходилось искать, делали это в низких, болотистых и сырых местах, покрытых чахлым ельником или березняком, или вовсе лишенных растительности. В местах диких искали те, в которых лесные звери оставляли много следов, когда лизали соленую почву. Мастер брал кусочки глины и сначала пробовал их на вкус, а потом бросал в костер. Если глина в костре потрескивала и, после того как подсыхала, липла к языку, считалось, что место для закладки трубы найдено. Если же это был, к примеру, ручей, то по его берегам мог оставаться белый соляной налет от естественного выпаривания. Еще одним признаком нужного места был «засольный дух» – запах сероводорода, выделявшегося в местах выхода соленых источников на поверхность.

¹²С круглым годом тоже все было не так просто. Вычегда протекала слишком близко от Соляного озера, и половодье было таким сильным, что заливало все варничные места. С середины апреля и до начала мая все варницы работу прекращали и готовились к наводнению, которое уносило и заготовленные дрова, и портило варничные печи, и даже сносило кое-как построенные жилые помещения разнорабочих. В середине июня вода спадала и начиналась авральная работа по устранению последствий. Самым лучшим сезоном для варки соли было летнее время до конца августа.

¹³Зимой пресная вода из рассола вымерзала, и ярыжки разбивали и выбрасывали из ларей лед для повышения концентрации соли в оставшемся растворе.

¹⁴Рассолы были двух типов – «мягкие», в которых содержалось минимальное количество извести, гипса и глины, и «твердые», в которых содержание примесей было больше. Кипели они по-разному, и процесс кристаллизации соли в них тоже имел свои особенности. Опытный повар должен был все эти особенности учитывать.

¹⁵Пока «содильщик» помешивал кипящий рассол, повар занимался тем, что очищал раствор от посторонних примесей. Для этого он по углам црена заранее расставлял деревянные или железные корытца с рукоятками, к которым кипением прибывало песок, накипь и разные механические примеси. Количество корыт зависело от «твердости» или «мягкости» рассола. Для первых ставили дюжину, а для вторых десяток. Как только последний напуск рассола заканчивал кипеть, корыта вытаскивались.

¹⁶Из црена выбирали не всю соль – некоторое количество оставляли на дне. Сейчас химик ска- зал бы – оставляли для того, чтобы в следующий раз эти кристаллы стали центрами кристаллиза- ции, а тогда, в средневековье, говорили «на семена».

¹⁸В 1622 г. Максим Яковлевич, Андрей и Петр Семеновичи Строгановы жаловались в Устюж- ский приказ на уменьшение производительности своих варниц в Сольвычегодске: «Писал де ты к нам, не справясь будтось вывариватца соли по шти тысяч пудов, а у них де в варницах столько соли не вываривается, потому, что у них промыслы худые: вываривается в три дня да за три ночи только пудов по пятидесяти и меньше. А соляная де варя идет не во весь год, всего они варят по полугоде и меньше, потому, что с весны вода от имает, и уроны делает. А иногда стоят заморозы». Не просто так они жаловались, а просили Устюжский приказ снизить налог на добываемую на их сольвыче- годских варницах соль в три раза – с одной деньги за пуд до одной деньги за три пуда.

К началу девятнадцатого века о солеварении в Сольвычегодске напоминали, как писал в 1813 году учитель Сольвычегодского уездного училища Федор Протопопов, «одни только раздробивши- еся остатки некоторых труб, которые все засорены. Из одной из сих труб, не очень засоренной, и до сих пор бедные жители, и крестьяне для сбережения соли, берут воду и употребляют ее в домашних нуждах. Хлеб, ею растворенный, довольно вкусен; но похлебки, на сей воде варимые, употребляют- ся от великой нужды по причине противного запаху». Теперь, конечно, воду из Соленого озера или из Усолки для приготовления пищи никто не берет, но вода из сольвычегодского водопроводного крана по-прежнему пахнет... да и на вкус ничуть не лучше.

¹⁹У истоков торгово-промышленной империи Строгановых стояло четыре брата – Спиридон, Кузьма, Лука и Федор. Были они посадскими людьми, происходившими из поморского крестьян- ства. Жили они в пятнадцатом веке и до начала шестнадцатого действовали сообща. В начале шест- надцатого века торгово-промышленный дом Строгановых распался на три самостоятельных ветви – тотемских Строгановых, сольвычегодско-пермских Строгановых и жителей деревни Циреннико- во, расположенной рядом с Сольвычегодском. Тотемских Строгановых хватило всего на три поко- ления – во втором десятилетии семнадцатого века эта ветвь пресеклась. Потомки циренниковских Строгановых, перешедших в крестьянское сословие еще в семнадцатом веке, до сих пор живут и здравствуют.

²⁰Здесь мы не касаемся варниц, которые неутомимый Аника Строганов купил или вновь устро- ил в соседней Тотмье, в устье реки Колы на Кольском полуострове и на берегах притока Сухоны Леденги в селе Усолье Леденское.

²¹Иногда строгановские рассололивные трубы давали столько рассола, что варницы с этим ко- личеством не справлялись, притом, что рассольные лари были наполнены доверху. В таких случаях Строгановы продавали часть уже выкачанного раствора другим варницам, у которых рассола недо- ставало. К примеру, монахи Спасо-Прилуцкого монастыря, владевшие на протяжении всего сем- надцатого века варницей в Сольвычегодске, трубы не имели вовсе и весь рассол покупали у братьев Строгановых.

²²Что касается английского железоделательного завода, то сведений о том, был ли он постро- ен или все ограничилось планами, неизвестно. Скорее всего, не построили, и доходить до всего пришлось своим умом, потому что при сыне Грозного Федоре Иоанновиче англичанам снова была выдана привилегия на постройку такого завода. Все же англичане на Выгегде добывали руду, выво- зили ее в Англию и уже там выплавляли железо.

²³В обширном строгановском хозяйстве были и специалисты по рудному делу. В деловых бу- магах восьмидесятих годов шестнадцатого века по разделу имущества Строгановых упоминаются «Тимоша рудовщик с семьей», доставшиеся Семену Аникиевичу, и «Передерня рудовщик с женою» отошедшие Максиму Яковлевичу.

Раз уж зашла речь о специалистах, скажем и о том, как такие люди попадали в крепостную за- висимость к Анике Федоровичу и его сыновьям. В первый, довольно успешный для Московского царства, период Ливонской войны, в тюрьмах Москвы и других городов оказалось множество не- мецких и литовских пленнх. Власти их легко раздавали и феодалам, и купцам. Аника посылал сыновей в Москву с тем, чтобы они среди этих пленных отбирали прежде всего высококвалифи-

цированных ремесленников, переводчиков, строителей, судостроителей, рудознатцев, врачей и моряков.

²⁴Делить совместно нажитое непосильным трудом имущество начали еще при жизни тяжело болевшего Григория Аникиевича. По деловой памяти от 29 сентября 1577 года Семену Аникиевичу и Максиму Яковлевичу на их два жеребья достались в общее владение на Сольвычегодском посаде «две горницы старые Оникиевские», да «горница слюдяная», да «горница новая слюдяная с волоками», плюс амбары, мыльни, конюшни, поварни, кузницы, лавки, «полянки за кузницами новыми», деревни с мельницами и без возле Сольвычегодска, и не только возле. Никита Григорьевич на свой единственный жеребей получил хоромы в Сольвычегодске, еще одни хоромы, еще деревни, еще пожни и полянки. Потом, уже в Москве, делили варницы и рассолоподъемные трубы. Семену Григорьевичу и Максиму Яковлевичу шесть варниц, а Никите Григорьевичу – три. Рассолоподъемные трубы пока оставили в общем владении, но по приезду домой в Сольвычегодск обязались их непременно разделить, а также разделить все до единого щены. Потом делили пермские вотчины, потом дворы, принадлежавшие Строгановым в Москве, Калуге, Переяславле и Вологде, потом драгоценности, что были на тот момент в Москве – «яхонту и жемчугу, и перстней золотых, и алмазов, и серег всяких, и лапы золотые, и что привез Семен с собою скорлату*, и соболей, и алтабасу**, и часы песчаные немецкие, и бархат червчатой немецкой».

Через три года Максим Яковлевич, Семён Аникеевич и Никита Григорьевич Строгановы призывают с Волги в свои пермские вотчины атамана Ермака с его казаками и, снарядив всем необходимым, отправят завоевывать Сибирское ханство. Между прочим, Максиму Яковлевичу шел тогда двадцать четвертый год, а Никите Григорьевичу девятнадцатый.

*Скарлат – старинное фландрское сукно. Дорогая ткань, окрашенная в ярко-алый, пурпурный, багряный или другой оттенок красного цвета. Скарлатом во времена Ивана Грозного покрывали женские шубы. Покрывали те, кто мог себе позволить такие расходы. По духовной грамоте княгини Авдотьи Ивановны Шемякиной-Пронской, супруги одного из воевод Ивана Грозного, такая «шупка скорлат червчат», была завещана церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Замоскворечье.

**Алтабас – разновидность парчи, плотная шелковая ткань с орнаментом или фоном из вытканной золотой или серебряной нити.

²⁵Один из крупнейших советских исследователей разнообразной деятельности Строгановых в эпоху первоначального накопления капитала Андрей Александрович Введенский писал в своей книге «Дом Строгановых в XVI–XVII веках»: «Центром гигантского хозяйства оставалось сольвычегодское родовое гнездо, где крепким пауком сидел сам хозяин Аника Строганов, “лаской” и жестоко эксплуатировавший манси (вогуличи), татар, ханты (остяков), коми – зырян и пермяков. Здесь батожьем засекались насмерть деловые и дворовые люди и на свирепой крепостнической эксплуатации создавались разнообразные производства и широко поставленные вотчинные земледельческие хозяйства. Здесь создавались торговлей большие капиталы. Здесь вынашивались планы завоевания Сибири». Конечно, книга была издана в шестьдесят втором году, и потому Анику, кроме как пауком и жестоким эксплуататором, и назвать-то было нельзя, но... трудно не согласиться с тем, что и в такой оценке есть доля правды. Может, и не паук, но хватка была у Аники Федоровича мертвая. Не дай бог у такого три рубля занять до нового урожая.

²⁶За год до постройки Аника Строганов получил грамоту Ивана Грозного о принятии его с детьми в опричнину. Строгановых не то, чтобы взяли в опричнину так сказать по совокупности заслуг, нет. Они сами попросились.

²⁷Сам Аника мог донашивать отцовские кафтаны и шубы, но от первой жены Мавры и второй Софии остался довольно богатый гардероб, в котором и «камчат желтой во швы шитый золотом и серебром на белой земле с передцы сплетеными» и «опашен скорлатной Мавринской с пуговицы серебряными». Что касается хорм, в которых жил Аника с семьей*, то они, хотя и были большими и трехэтажными, похвастаться какой-то особенной роскошью не могли. Конечно, была и серебряная, и стеклянная посуда, и песочные, и механические часы немецкой работы, и иконы в дорогах окладах, и даже клетка с попугаем, но при таких капиталах...

* Строгановские хоромы простояли двести тридцать три года и были разобраны в самом конце восемнадцатого века. Судить о том, как они выглядели, мы можем лишь по небольшому фрагменту панорамы Сольвычегодска Афанасием Чудиновым, исполненной за пять лет до их сноса. Наверняка можно сказать лишь то, что стояли они рядом с Благовещенским собором и соединялись с ним крытой галереей, имели две четырехугольные в плане башни. Одна из них была шестизэтажной, высотой чуть более тридцати метров, и по высоте соперничала с собором.

²⁸О том, какие книги имелись в библиотеке Аники Строганова, мы знаем из описи, составленной 5 июня 1578 года дьячком Сумороком Дядкиным во время раздела имущества, начавшегося в 1577 году после смерти старших сыновей Аники – Якова и Григория. Библиотека Аники Строганова была самой крупной среди частных книжных собраний того времени и уступала по размерам только библиотекам четырех самых больших монастырей – Иосифо-Волоколамского, Соловецкого, Кирилло-Белозерского и Троице-Сергиева.

²⁹Надо сказать, что и в архитектуре собора, и в его убранстве ориентировались на Москву и на кремлевские храмы. Ктиторское место Благовещенского собора, то есть то место, на котором собирався сидеть Аника Строганов, по форме и декору очень напоминает царское место в Успенском соборе Кремля. Строгановы еще и стремились собрать при соборе библиотеку ничуть не хуже, чем в Успенском соборе. Для этого строгановские люди специально сделали списки с книг московского Успенского собора. Мало того, в Благовещенском сольвычегодском соборе хранились тетради, в которых самым подробным образом было записано, в какие дни в Москве ходят с крестными ходами из Успенского собора по другим церквям и когда звонят в колокола.

³⁰Строгановы покупали для своих храмов все самое лучшее из того, что могли купить. Так были закуплены в Германии паникадила для Введенского и Благовещенского соборов.

³¹Введенский в своей книге о доме Строгановых так описывает сбор речного жемчуга: «Строгановские ловцы жемчуга на реке Иксе <...> плыли по течению на маленьком плоту с прорубленным в центре отверстием. В это отверстие вставлялась берестяная труба со вделанной в дно слюдяной пластинкой. В эту трубу ловец рассматривает дно реки. Увидев раковину, он нацеливается на нее шестом с расщепом на конце и вытаскивает раковину на плот».

³²В сольвычегодском музее собрана большая коллекция этих удивительных по тонкости работы вещей. В августе 1975 года в музей проникли воры и похитили почти полностью коллекцию мелкой пластики и кресты. Еще и несколько икон и пелен. Два дня воры жили в Сольвычегодске и изучали обстановку, а после того, как изучили, пробрались на чердак собора и спустились в зал музея. Кража случилась в ночь с воскресенья на понедельник, который был выходным днем. В течение полугода искали украденное и практически все нашли. Находили пропавшее большей частью в Белоруссии и на Украине. Одна пелена успела попасть в Ереван. В музей вернулось пятьдесят три из украденных пятидесяти трех предметов. Лишь одна маленькая панagia до сих пор в розыске. После этого случая в музее появилась сигнализация. Да и на крышу теперь просто так не попасть.

³³В середине девяностых годов шестнадцатого века Иван Лукошков принял постриг и уехал из Сольвычегодска. В 1602 году монах Исайя Лукошков стал настоятелем владимирского Рождественского монастыря, а еще через девять лет, в 1613 году, этот сольвычегодец в сане архимандрита присутствовал на Земском соборе, избравшем Михаила Романова на царство, и поставил свою подпись девятим сразу же за митрополитами, архиепископами и епископами под Утвержденной грамотой об избрании на московское государство Михаила Федоровича Романова. В 1619 году архимандрит Исайя принимал участие в избрании Филарета Романова на патриаршество.

Когда в 1614 году Андрей и Петр Строгановы делили двор возле Благовещенского собора, то в документе о разделе упомянули «Лукошково дворще».

³⁴Первоначально Вычегда, которая теперь буквально подходит к Благовещенскому собору, была в восьми верстах от него в районе нынешнего поселка Вычегодский. В 1928 году директор сольвычегодского музея Владимир Антонович Ешкилев писал, что сольвычегодцам придется переезжать в Котлас как когда-то жителям Выбора и Чернигова в Сольвычегодск, чтобы не быть смываемыми в Вычегду, подходящую вплотную к городской застройке. Теперь, в начале двадцать первого века, Благовещенский собор отделяет от берега реки несколько десятков метров. Если берег не

укрепить... Не укрепляют. То есть деньги выделены – без малого девяносто миллионов рублей на укрепление берега и реконструкцию набережной имени Аники Строганова, на которой и стоит собор. Работы должны закончиться в октябре двадцать пятого года. В июне двадцать четвертого они еще и не начинались.

³⁵О торговле вином следует рассказать, хотя бы и в примечаниях, подробнее. Переписку в семнадцатом веке таможенных и кабацких голов Соли Вычегодской с их непосредственным начальством в Великом Устюге можно разделить на примерно равных две части – первые жалуются вторым на постоянное снижение кабацких сборов в связи с неурожаем, дороговизной, уменьшением количества кабацких завсегдатаев, с тем, что меньше торговых людей и торговцев пушминой останавливаются в кабаках города и уезда, а вторые постоянно требуют радесть о государевых доходах, собирать подати сполна, вкладывать вырученные деньги в строительство новых кабаков и в винокурение «деньги отдавали в вино и в солод и в хмель и в дрова». В марте 1627 года таможенный и кабацкий сольвычегодский голова Бажен Кляпышников пишет своему непосредственному начальству в Устюжскую четверть о снижении в г. Соли Вычегодской таможенных и кабацких сборов в связи с пожаром и отсутствием торговцев: «после усольского пожару многие посацкие люди розошлись, а иных городов торговые люди не приезжают ж, – в рядах онбаров и лавок нет, стать с товары негде, и торговати <...> не с кем, а на кабаках <...> питью розходу мало, <...> а которые <...> были питухи в прошлом году, и те обнищали и врознь розбрелись». Начальство в своем ответе требует от Кляпышникова усилить работу по сбору денег и построить новый кабак на берегу Вычегды. Власти тогда были куда откровеннее и ради прибыли не только не стеснялись спаивать население, но и прямо писать об этом. Так в указной грамоте Устюжской четверти от шестнадцатого июня 1631 года сольвычегодскому таможенному и кабацкому голове Владимиру Андрееву о радении в сборе денег написано: «и на питухов лишних напойных денег не приписывали, тем бы питухов от кабаков не отучали». Не приписывать напойные деньги означает не что иное, как требование не увеличивать суммы за якобы выпитое вино. То есть власти, выражаясь современным языком, призывали не обчитывать пьяниц, чтобы... Должно быть, при чтении этих слов в указной грамоте кабацкий голова горько усмехнулся.

Городовая книга по Сольвычегодску за 1633 год сообщает, что «кабацкая прибыль невелики. Для того, что у Соли на посаде и в Усольском уезде в миру стала скудость великая <...> из городов люди с товары не едут, а на кабаках питухи не пьют, а которое кабацкое питье, вино и пиво, с Семеня дни роздано в долги, и за то кабацкое питье питухи напойных денег без правежу не платят».

Таможенный и кабацкий голова Андреев регулярно жаловался в Устюг на недобор таможенных и кабацких сборов. В начале декабря 1630 года он пишет о неурожае, о дороговизне и о бесчинстве проезжающих через город и уезд казаков, посланных на службу в Сибирь: «на твоих государевых кабаках питухов побивают и розганивают и твою государеву казну за стойкою у целовальника пограбили и меня <...> и целовальники хотели саблями иссечи, <...> и от тех <...> казаков многие торговые проезжие люди врознь розъехали и товары никакими не торговали и мяхкую рухлядь всякую мимо Усолье провозили».

Недостатка в пьяных бесчинствах в те поры в Сольвычегодске не было. В то самое время, когда Андреев был таможенным и кабацким головой, в городе содержался под стражей опальный князь Иван Голицын с семьей, и для его охраны власти прислали полтора десятка стрельцов, которые, конечно же, как отписывал в Устюжскую четверть Андреев, в свободное от караулов время вместе со своим командиром Богданом Тихоновым стали «по кабаком по ночам ходить и питухов грабить и шапки схватывать и питье отнимать, и все государево питье емлют, а денег не платят, и закладывають в том питье кресты медные ртутью ртучены, называют серебряны». Андреев пытался их урезонить, но... Урезонивать пьяных стрельцов дело неблагодарное и опасное. Они, как пишет кабацкий голова, «били ослопы и платья на мне ободрали <...> и впредь мне <...> угрожают убийством». Мало того, «на кабаках у целовальников твою государеву питье черпают сильно свою рукою безденежно». Тут впору и самому запить.

Инициативные кабацкие головы устраивали развозную торговлю по волостям. Приедут в один из праздников в деревню и давай торговать неделю или две, а то и три вином и пивом. Иногда

там же и винокурню походную устраивают и пивоварню. Крестьянам это, мягко говоря, не нравилось, и они жаловались царю. Вот цитата из челобитной, написанной в 1625 году волостным миром Андреевской волости Сольвычегодского уезда: «с Лальского кабака целовальники кабацкие твое государево кабацкое питье, вино чарочное по вся годы по настоящим храмовым праздникам и по господским, и по воскресным дням без твоего государева указу, а продают, государь в Андреевской волости живучи, вино недели по три, и по четыре, и больше, мало не съезжают во весь год. И от того, государь, кабацкого продажного вина волость пустеет, и многие крестьяне из волости врознь бредут». В 1646 году на развозную торговлю из таких гуляй-кабаков, устроенных таможенным и кабацким головой Ильей Потулковым, жаловался весь уезд.

Илье Потулкову в феврале того же года пришла указная грамота из Устюжской четверти с требованием выяснить, почему вятчане перенесли дороги мимо таможен и кабаков Сольвычегодского уезда. Вот и узнавай у вятчан, почему они перенесли...

³⁶Яренский уезд был северо-восточным соседом Сольвычегодского уезда, но в тех местах состояния таковы, что невестам приходилось плыть вниз по Выгегде из дому до Сольвычегодска почти двести километров, а девушкам-зырянкам, приплывавшим из села Усть-Выми, которое еще выше на девяносто километров по течению, и все триста. Хорошо если тебя возьмут замуж и не придется возвращаться, а если нет – плыви еще триста километров вверх по реке, против течения, утирая горячие слезы, или нанимайся сено косить или убирать урожай в деревни Сольвычегодского уезда. Таких девушек называли «казачихами». А.А. Введенский пишет, что невесты приезжали даже с Печоры, но в это, признаться, поверить трудно. Это как же нужно хотеть замуж, чтобы с Печоры, через непроходимые леса и болота, за многие сотни километров, притом, что Печора с Выгегдой нигде не соединяются, сначала плыть, потом идти, потом снова плыть на ярмарку невест в далекий Сольвычегодск.

³⁷Тогда, в средневековье, так еще получалось. Потом-то для тушения пожаров требовались пожарные в медных касках с насосами и трубами, а для прекращения эпидемий – врачи, прививки и инфекционные отделения в больницах, а тогда еще получалось так, как у игумена Борисоглебского монастыря. Не у всех, конечно.

³⁸Еще несколько мелких и, может быть, несущественных подробностей из переписи 1625 года об остроге и посаде Сольвычегодска, без которых обычный читатель может быть и обойдется, но ~~буквоед~~ краевед ни за что. Острог имел в длину пятьсот сажень, а в ширину сто пятнадцать. Стало быть, площадь его была 57500 квадратных сажень или чуть более девятнадцати гектаров или 0,19 квадратных километров. Как на этой площади уместить пять церквей, десятки лавок и все остальное... притом, что только воеводский двор занимал почти тридцать соток, а кабак представлял собой, говоря современным языком, целый комплекс хозяйственных помещений, в который входили две избы, погреб, амбар «да против кабака в той же улице на другой стороне поварня». В остроге же стоял двор «на приезд приказным людям», да два двора «на приезд всяким людям». Еще один царев кабак вдобавок к острожному был на посаде, сразу за Спасскими воротами крепости. Ко всему этому прибавим двадцать восемь «дворов поповых и дьяконовых и дьячковых и просвиричных и трапезниковых нетяглых <...> да три богаделни». Была и еще одна богадельня, построенная на средства Никиты Григорьевича Строганова, и пятьдесят семь келий, в которых жили нищие, питавшиеся милостыней.

³⁹Прошло четыре года ... В челобитной князя Михаила Гагарина от второго марта 1631 года о даче суда с крестьянами Сольвычегодского уезда земским судьейкой Семеном Меньшиковым, церковным старостой Приезжим Томиловым и другими по делу о бое и грабеже его людей на Вилегоцком яме по дороге в Сибирь читаем: «взяли у людишек моих ожерелье жемчужное муское пристежное да четыре золотых червонных, да четыре цевки золота да серебра, да трои дороги, да две нашивки золотных портищевых, да двои завяски однорядошные, одна з золотом, а другая с серебром, да два вершка шапошные суконные, да ожерелье бархатное сотячее». Всего на пятьдесят четыре рубля.

Нужно сказать, что с некоторыми сольвычегодцами на большой дороге лучше было не встречаться. Приведем лишь несколько примеров из челобитных о грабежах, случившихся в период с

1628 по 1632 год. Челобитная помещика Ивана Плещеева о даче суда с жителями Сольвычегодского уезда Иваном Протопоповым и Андреем Яровым, ограбившим Плещеева на сумму почти в тысячу рублей. Между прочим, Протопопов и Яровой были людьми Ивана Максимовича Строганова, которому пришлось уплатить половину суммы при примирении сторон. Челобитная игумена Николаевского Угрешского московского монастыря Андриана и келаря Анфиногена Крыженовского о даче суда с крестьянами Сольвычегодского уезда Иваном Лыгаловым, Петром Суворовым и другими по делу о бое и грабеже их крестьянина Никиты Корелы по дороге из Сибири. Грабители отняли у Корелы мехов почти на сто сорок рублей. Челобитная торговца Гостиной сотни Никифора Ревякина о даче суда с крестьянином Сольвычегодского уезда Василием Белавинским по делу о хранении краденого имущества, в которой он пишет: «пограбили у нас розбоем на Двине реке против Олексина села Захар Пятлин с товарищи нашего живота городских товаров и кабал на пять тысячей на пятьсот на пятнатцать рублей, и тому Захару у Соли Вычегоцкия учинилася смерть безвестная, а положил он, Захар, того нашего живота ему, Василью, на сто на пядьдесят рублей». Челобитная крестьянина Сольвычегодского уезда Лариона Пахтусова о проведении обыска по делу о бое и грабеже его с женой и детьми дьячком съезжей избы Пятым-Щекой Жаравлевым с шайкой товарищей: «и меня ... и детишек моих били и женишка моего ножом в мышку обрезали и изувечили».

В июне 1631 года воевода Василий Янов и подьячий Тимофей Пчелин отписывают в Устюг о случае разбоя на реке Вычегде и о невозможности послать погоню за разбойниками из-за отсутствия в городе стрельцов и пушкарей. В ответ на эту отписку им приказывают выбрать двадцать «охочих добрых» людей на места стрельцов, «которые б из луков и ис пищалей стрелять умели, и велел им быть с ружьем для всякого береженья у Соли Вычегоцкой безотходно».

Обстановка на большой дороге в Сибирь была настолько беспокойной, что в мае 1647 года сольвычегодскому воеводе Большеву пришло распоряжение из Устюжской четверти выделить провожатых для доставки соболиной казны из Сибири и высылке туда колодников. Тогда же сольвычегодскому таможенному голове велено было выделить провожатых едущим в Сибирь и обратно служилым людям и целовальникам.

⁴⁰1636 год в Сольвычегодске был богат на самого разного рода события. Сольвычегодский всеуездный мир, который составляли посадские люди и уездные крестьяне, в том году обратился к воеводе с просьбой казнить сидевших в городской тюрьме восьмерых разбойников, от которых житья не было ни городу, ни уезду. Несмотря на то, что они сидели в тюрьме, сольвычегодцы очень опасались их побега. Воевода, ссылаясь на отсутствие царского указа, казнить их не собирался. Тогда мир сам решил их казнить и... казнил. В саванах, с зажженными свечами в руках, в сопровождении тюремных сторожей и палача их вывели на берег Вычегды и там казнили.

⁴¹Человека, который пахал, бороновал и унавоживал, звали Никита Пономарев, того, кто раздывал гряды и сажал рассаду – Осип Рыжухин, а того, кто все лето поливал капусту за двадцать алтын – Пашка Черепанов. Конечно, эти люди не Строгановы, не пан Яцкий и даже не взяточник воевода Головачев, и в истории Сольвычегодска и уезда они не играли никакой роли, но они были, и их нужно упомянуть хотя бы в титрах хотя бы самыми мелкими буквами в массовке после гримиров, осветителей и водителей.

⁴²Площадной подьячий – в семнадцатом веке вольный письменный делец, действовавший под надзором правительства на городских площадях. Предшественник современных нотариусов и адвокатов.

⁴³Дворы у всех были разные. У кого-то крошечный огород с двумя грядками лука и чеснока, у кого-то кузница, а у кого-то и соляная варница. У небогатого сольвычегодского рыбака двор с огородом занимал семь соток, у мясника – немногим более четырех с половиной соток, у портного – около трех соток, у зажиточной или, как тогда говорили, у прожиточной семьи Комлевых – одиннадцать с лишним соток, а у Семена Аникиевича Строганова по описи 1611 года – без малого пятьдесят шесть соток. Между прочим, при всех своих неисчислимых богатствах, хоромы Строгановы построили себе деревянные, поскольку тогда, впрочем, как и сейчас, считалось, что жить в деревянном доме полезнее для здоровья. Раз уж зашла речь о деревянных хоромах Строгановых... Ночью десятого сентября 1618 года кто-то поджег хоромы Максима Яковлевича Строганова, и они

сгорели дотла. Как он сам писал в своей челобитной «и со всеми животишками и хлебные анбары со всякими хлебными запасы и соляные анбары с солью и со всяким житейским посудьем серебряным и с медным и с конской зброуей и с приправою и с людским платьем, сгорело все без остатка и нас, государи, со всеми нашими дворовыми людишками хотели сжечь неведомо хто и вышли мы с пожару с людишками своими босы и наги». Максим Яковлевич просил усилить розыск и послушать, что говорят по сольвычегодским и устюжским базарам и кабакам, где «побранься или подрався или в пьянстве, или кто ни есть меж собой в речах проговорится, хто нас сжег до основанья и тех бы людей переимати». Не вышло из этого розыска ничего. Никто не проговорился.

⁴⁴По переписной книге 1678 года в Сольвычегодске действовала двадцать одна церковь. Все церкви, за исключением каменных Благовещенского и Введенского соборов, а также одноэтажной Спасообыденной церкви, построенной в стиле нарышкинского барокко, были деревянными. И это при том, что население города, как мы уже упоминали, к концу семнадцатого века составляло от двух, до двух с половиной тысяч человек. Такого количества церквей на душу населения и в Москве того времени не было.

⁴⁵Император вспомнил о Сольвычегодске еще раз, в 1708 году, когда приказал отправить в город на поселение часть шведских пленных, предварительно отобрав мастеровых, которых велено было оставить в Москве.

⁴⁶Строгановские хоромы, которые начинал строить еще Аника Федорович, простояли 233 года и были разобраны в 1798 году по неизвестной причине.

⁴⁷Если принять во внимание, что четверть это 9,5 пудов пшеницы, 6,25 пудов ржи, 7,25 пудов ячменя и 6 пудов овса, то на наши центнеры выходит от пяти до семи центнеров ржи, пшеницы почти столько же, а овса и ячменя даже немного больше, но это на удобренной земле и в хороший год, а в плохой... Правду говоря, и в хороший тоже очень мало.

⁴⁸Передовщик организовывал промысел пушнины, отвечал за снаряжение судна, следил за поведением работных людей и за выполнением инструкций администрации.

⁴⁹И еще о сольвычегодках на Камчатке. К самому Сольвычегодску эта история не имеет ровно никакого отношения, но упомянуть о ней стоит. В конце апреля 1771 года в камчатском Большерецком остроге созрел тайный заговор* и вспыхнул бунт среди ссыльных офицеров, поддержанный частью местных жителей. Был убит командир Камчатки капитан Нилов и захвачено военное судно «Св. Петр и Павел». Главарем бунтовщиков стал сосланный навечно на Камчатку венгерский гусар и авантюрист, состоявший до русского плена на службе у польских конфедератов, Мориц Август Бениовский. Вместе с одним из политических ссыльных, отставным ротмистром Ипполитом Степановым, он написал «Объявление в Сенат», в котором говорилось о беззакониях, чинимых Екатериной Второй и ее фаворитами, о лишении престола законного императора Павла Петровича, о разорении камчатской земли из-за самоуправства начальников и даже о бедствиях простого народа. «Мы все присланы в Камчатку не по правосудию <...> на свое содержание, где всегда зима и хлеба нет, а покупают дорогой ценой и питаемся все рыбой. И привыкшие люди в работе сносить того не могут <...> А в России начальники единое только имеют право делать людям несчастье <...>, должно с сожалением сказать, сколько несчастлив народ российский <...> не получает облегчения, а всего больше усиливается начальник, а не закон... Народ российский терпит единое тиранство. Понеже в России не только крестьяне, но и дворянства малейшая часть обучается наукам <...> Вот причина рабства, что богатый человек имеет случай угнетать бедных людей. Ежели он и мало знает законов, то судьи ему за деньги помогают растолковать сему бедному народу в пользу богатого Указы, а богачи их исходатайствуют от Сената в свою пользу. <...> мы выбрали себе в предводительство достойного человека барона Морица, который отечеству нашему заслугу показать имеет, и как он, так и желающие законному нашему Государю его императорскому величеству Павлу Петровичу присягу учинили и отправиться намерены куда предводителю нашему разсудится, взяв судно казенное, денег, провианту, оружейных припасов <...> все мы единственно и на всякое время усердны нашему Отечеству и законному нашему Государю, его императорскому величеству Павлу Петровичу и покажем ему единому свою подданнейшую должность и вернейшую заслугу». Перед выходом в море все, бывшие на

борту мятежного галиота, приняли присягу на верность государю Павлу Петровичу. Присягу, между прочим, приняли за четверть века до восшествия сына Екатерины Второй на престол.

Под водительством Бениовского «Св. Петр и Павел» с командой из семидесяти человек дошел, побывав по пути на Курилах, в Японии и на Тайване, до Макао, где часть беглецов умерла от лихорадки, а оставшиеся сорок человек, доплыв уже на других судах до города Пор-Луи во Франции и пройдя пешком полтысячи с лишним километров до города Парижа, откуда... камчатских жителей по их просьбе русский поверенный в делах Франции отправил за казенный счет в Россию. Не всех, конечно, а только тех, кто захотел вернуться. Вернуться пожелало семнадцать человек. Екатерина Вторая, пусть и не сразу, но их простила, и никто из возвратившихся не был наказан. Так вот, в команде Бениовского было четверо сольвычегодцев: купец Иван Кудрин, промышленник купца Холодилова крестьянин Леонтий Попов и два брата Кошелевых – Савка и Володка, уроженцы Ильинского погоста Сольвычегодского уезда.

Среди семнадцати человек, вернувшихся в Россию, сольвычегодцев нет, но... Польский историк Кайданьский, изучая материалы французских архивов, нашел список первой группы волонтеров французского корпуса, который под командой произведенного французами в полковники Бениовского должен был на судне «Маркиза де Мербиф» весной 1774 года отправиться на остров Маврикий, а оттуда на Мадагаскар, чтобы присоединить последний к владениям французской короны. В этом списке среди дюжины камчатских беглецов есть Иван Кудрин и Леонтий Попов. К сожалению, о том, как сложилась дальнейшая судьба братьев Кошелевых, Ивана Кудрина и Леонтия Попова нам неизвестно. Может, их скосила мадагаскарская желтая лихорадка, может, шальная пуля, может, они выжили и...

Что же касается «Объявления в Сенат», написанного Ипполитом Степановым и Морицем Августом Бениовским, то на пакете, в котором оно было получено, генерал-прокурор князь Вяземский по повелению императрицы собственноручно написал: «Сей пакет хранить в Тайной экспедиции и без доклада Ее Величеству никому не распечатывать».

*Удивительно не то, что заговорщики сумели склонить к побегу значительную часть жителей Большерецка, который отнюдь не был курортом, приятным для проживания, и не то, что Бениовский представлялся политическим ссыльным, отправленным на Камчатку за участие в тайном сватовстве наследника престола Павла Петровича к дочери Римского императора и даже показывал зеленый бархатный конверт с печатью его высочества, а то, что уговаривая людей присоединиться к побегу, авантюрист читал им отрывки из утопии Кампанеллы «Город Солнца», убеждал их в существовании этого города и даже показывал его на карте, говоря при этом, что именно туда беглецы направят галиот «Св. Петр и Павел».

⁵⁰В 1804 году директор училищ Вологодского наместничества писал генерал-губернатору и вологодскому архиерею: «А как дошло до моего сведения, что не только в тех городах, где училища еще не открыты, но и в тех, где оные издавна существуют да и в самом здешнем городе разного звания люди, даже и женщины, обучают детей не по изданным и утвержденным правилам и без позволения директоров, то <...> всепокорнейше ваше превосходительства прошу полицейским чиновникам известные мне училища позволить освидетельствовать, а в городах Устюге, Тотьме и Сольвычегодске полицмейстеру и городничим предписать, чтоб они вкупе с учителями непозволенные заведения также освидетельствовали и не имеющих свидетельства обязали подписками впредь не обучать».

⁵¹Место, о котором пишет Протопопов, находилось в деревне Тимховской Кивокурской волости Сольвычегодского уезда. Жил там мастер Илья Юницын, которые эти самые замочки и делал. М.П. Погодин в своих дорожных записках «Дорога из Нижнего до Вологды», опубликованных в 1841 году в журнале «Москвитинин», писал: «Увидел микроскопические замочки с ключами сольвычегодского мастера Юницына, который продавал их сперва по гривеннику, потом по рублю и, наконец, по пяти рублей. Есть цепочка из них, где у каждого замочка свой ключик, не подходящий к другим. У мастера блоха привязана на цепь за ногу, однако ж не мешающую ей прыгать. Какова же должна быть тонкость железного волоска и способность Русского человека, который все эти чудеса производит с помощью одного напилка. Поверить трудно!» В 1837 году в списке вещей, представленных на Вологодскую губернскую выставку, в графе «стальные изделия» можно прочесть:

«Представлены Г. Советником Жарковым: 1 цепочка для часов, составленная из 816 замочков, весом в 3 золотника, цена – 272 р. 1 цепочка, из 306 замочков, весом 2 и одну осьмью золотника, цена 76 р. 50 к. 1 цепочка из 310 замочков, весом в 2 с половиною золотника, цена 77 р. 50 к. 1 кошелек из 1200 замочков, 300 р.». В описании этих экспонатов сказано: «Работа Сольвычегодского уезда Кивокурской волости деревни Тимоховской крестьянина Юницына. Изделия замечательны оригинальностью; как цепочки, так и кошелек, составлены из мелких, едва заметных замочков, которые между тем искусно отделаны и имеют общий ключик, которым все могут отпираться и запираются свободно. Достойно внимания то, что крестьянин Юницын самоучкою навыв этому мастерству и производит его без всякого пособия машин, одними простыми средствами, употребляющимися в сельской промышленности». Только представьте себе цепочку из восьмиста с лишним замочков весом в три золотника, что составляет 12,798 г. То есть вес одного замочка 15,68 миллиграммов. В другой цепочке из 306 замочков и средний вес одного – 30 миллиграммов, а в третьей – 34 миллиграмма. И это сделано «без всякого пособия машин, одними простыми средствами, употребляющимися в сельской промышленности». Как тут не вспомнить: «– Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление? А Левша ответил: – Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши».

Цепочки эти были так широко известны, что запись о них попала даже в Географический статистический словарь Российской империи, изданный в 1854 году. В статье о Кивокурской волости было написано: «Кивокурская волость Вологодской губернии Сольвычегодского уезда замечательна по выделке столь мелких железных замочков, что в одном золотнике их от шестидесяти до ста штук; каждый из них запирается и отпирается. Из них делают цепочки для часов».

На этом история микроскопических замочков не кончается. В 1882 году цепочки для часов, составленные из замочков, были представлены на Московской художественно-промышленной выставке. В отчете о выставке об этих цепочках было написано: «В городе Сольвычегодске и уезде его с весьма давнего времени работали цепочки для часов, составленные из мелких замков. В настоящее время остался один только мастер этого изделия, крестьянин Тимошинской волости В. С. Юницын, старик около семидесяти лет. Две цепочки, представленные им на выставку, отличаются чистотою работы. Каждый замочек в цепочке отпирается своим ключиком. Цепочки приготавливаются Юницыным исключительно по заказу, и дают весьма незначительный заработок, так как части их, состоящие из чрезвычайно мелких отдельных предметов, требуют много времени для выполнения ручным способом». Кем приходился «старик около семидесяти лет» Илье Юницыну, мы не знаем.

⁵²Обдорск – это нынешний Салехард, и до него от Сольвычегодска даже по прямой, по которой не добраться, больше тысячи километров, а по дороге и вовсе больше трех тысяч.

Продолжение следует

Сергей СОЛОУХ

ВТАПОРЫ СПАЗАРАНУШКУ

*Поэт – искатель красоты
И тайн душевных выразитель;
Поэт – источник чистоты
И чувств живых изобразитель.*
1909

«Былое нельзя воротить», – как-то меланхолично замечал наш прекрасный бард, имея в виду ужин при свечах в отдельном кабинете. Ужин по спецталону в столовой Нижнетагильского горкома не отзывался в душе поэта острым желанием вернуться в электрический свет лампочек Ильича. Что, в общем, и близко, и понятно. Прошлое нужно человеку только совершенное, которое манит блаженством. Уверенностью в том, что там, далеко-далеко, позади, за «кирпичом» небесного ГИБДД, уже оборваны все связи, окончательно, уж все бури отгребели и ничего плохого по самому определению произойти на может. У светофора безумец не откроет дверь, не плюхнется на заднее сиденье, на перекрестке пьяный не ударит со всей дури в бок зубастым радиатором ГАЗ-21.

Лишь радость, лишь предвкушение, ах, Александр Сергеич стоит, ах, «Александр Сергеич прогуливается... ах, нынче, наверное, что-нибудь произойдет...». Красота. Радость, подобную которой мне недавно доставил один из чудеснейших патриархов нашей литературной критики и художественной публицистики Сергей Боровиков, в журнале «Знамя» напечатав маленькую рецензию¹ на большую заметку², мою, в журнале «Нева». Вообразите, не репост из «ВКонтакте» в «Телегу», не коммент в «Рутьюбе» на ролик в «Тик-токе», а бумажный отклик на бумажную публикацию, и все это в бумажной периодике. Ну, не блаженство ли каких-нибудь шестидесятых, эпохи полемики «Нового мира» и «Октября», «Литературной газеты» и «Молодой гвардии»? Какой флэш-бэк! Не тридцать секунд между постом и откликом, а ровно 4 (четыре) месяца! Вот это жизнь. Вот это время, вот это период томительных предвкушений и оправдавшихся в конце концов ожиданий. Красота времен проводных телефонов и ламповых радиол. Само совершенство. Ах, не зря Александр Сергеевич прогуливался. Не напрасно. Прекрасное и чаемое случилось.

Впрочем, в данном конкретном изводе четвертого или, там, пятого измерения пространства и времени прогуливался не Александр Сергеевич, а Александр Ефимович. Да, Александр Ефимович Котомкин, тот самый поручик в отставке, которым, в святом неведении поэта, сам себя некогда воображал Булат Шалвович Окуджава. Иными словами, блаженство вот оно, двойное, тройное, подлинное с перекличками. И захотелось его продлить, еще раз «воротить» то, что по всем законам и канонам принято полагать невозвращаемым. А именно, послать бумажный привет Сергею Григорьевичу Боровикову в бумажный журнал «Знамя» через бумажный журнал «Волга». Оп-ля. Продолжить разговор, получается, через семь или даже восемь месяцев. Как в старые добрые шестидесятые. В долгую паузу между одним гимном и другим. Подхватить прекрасные слова, вынесенные Сергеем Григорьевичем в заголовок его знаменской рецензии «блажь целеполагания».

Поговорить, порассуждать о психологии поэта. Которому так хорошо, так сладко в прошлом,

¹ Сергей Боровиков. Блажь целеполагания // Знамя. – 2025. – № 6.

² Сергей Солоух. Между К.Р. и «ЛЕФ'ом» // Нева. – 2025. – № 2.

в то время как будущее... одна мысль о нем приводит неизменно в ужас и буквально, ну то есть физически, навевает священный трепет. Тем более, что Александр Ефимович, как и Булат Шалвович, пройдя путь жизненный до самого его естественного предела, сумел в прошлое, блаженное и сказочное, вернуться. Одним из самых последних изданных текстов Котомкина, и уж точно самой его последней прижизненной книгой, увидевшей свет, стала ностальгическая проза. «Из старой Святой Руси. Воспоминания о Заволжском крае»¹, изданная в Германии в немецком переводе:

*Сельское население нашего Заволжского края в царские времена жило в большом изобилии. Бог дал им все блага земли...*²

Это первые строчки, первый абзац первой главки. Хорошо-то как. Между тем в 1904-м все тому же Александру Ефимовичу Котомкину картина родного края, как в узком, так и в самом широком понимании этого топонима, представлялась немного в ином свете:

*В городах ли больших или в селах глухих
Всюду льются крестьянские слезы;
Далеко, далеко стоны слышатся их,
Заглушая счастливые грезы...*

*Порасскажет мужик про житье и бытие,
Как послушаешь, сердце сожмется...
Он утрется полкой – и опять за свое, –
Песнь унылая вновь раздастся³.*

Нет ли тут беспринципности? Не с мошенником ли имеем дело? Бессовестным и беспардонным человеком? Еще и бесталанным, наверное? Стоит ли он, вообще, Александр Ефимович, того, чтобы с ним в «Яр» заскочить «хоть на четверть часа»?

Безусловно, как всякий поэт. Не важно, равный ли А. Сергеевичу, с талантом подобным молнии небесной, или же таким, как у А. Ефимовича, схожим с огоньком в лампадке. Свет и того, и другого, особенно среди ночи, пусть и по-разному, но западает в душу. И остается в ней. Порой навек. А то, что концы с концами ни строк, ни самой жизни порой не сходятся, так на то и поэт. Блаженный, мечтатель. Snílek – как не без иронии, но и не без легкой нежности, называли А.Е. Котомкина хорошо его знавшие по Сибири времен Гражданской войны чехи⁴. Видящий сны наяву.

И в этом, дневных и ночных грезах, была прямая необходимость. Взаимообусловленность дел и явлений. Поскольку поэтом, человеком все время чего-то ищущим, взыскующим, в сумерках, во тьме и мраке окружающего мира, сделала Александра Ефимовича Котомкина, крестьянского мальчика из деревни Савино под Царевококшайском, трагедия. Ранняя утрата родителей. Сиротство.

Бесспорно, стихи Котомкина первых лет его творчества – это подлинная, хотя и очень наивная, да и незатейливая, но поэзия... Поэзия, в которой есть свой лирический мир – несколько

¹ Kotomkin A. Aus dem alten Heiligen Rußland. Erinnerungen aus dem Trans-Wolga-Gebiet. I. Teil. Flensburg: Im Selbstverlag des Verfassers. 1962. (Далее K1962).

² K1962, с.13 (здесь и далее все переводы мон. – С.С.).

³ Котомкин-Г-в [Герпулев]. Собрание стихотворений 1900–1904. Казань.: типография А.М.Петрова, 1904. С. 20.

⁴ Fink, Pavel. Umírající království: Glossy a materiály ze zápisníku válečného korespondenta. Praha: Památník odboje, 1921, s. 91.

связанных и повторяющихся на разный лад мотивов, из которых главный – ожидание прихода иного мира, иного царства, где все не так, как на земле сейчас. Бесконечное ожидание сна и сновидений, несущих если не немедленное спасение, то по крайней мере немедленное забытье... тепло и ласку...

*Солнце блистает
Сквозь тучи осенние, –
Хмурые, черные тучи
Ветер вздыхает,
А грезы вечерние
Носятся в вихре созвучий¹*

1907

*С ним, этим счастьем, разбитая грудь
Вновь испытает уладу забвения;
Пуститься снова в неведомый путь, –
Станут, как прежде, звучать песнопения...²*

1908

*Мнится будто светлоокий
Ангел прилетел
И про лучший мир далекий
Чудный гимн запел*

*Жадно вслушиваюсь в пение
В сладком полусне,
И от муки и сомнения
Легче стало мне³*

1907

Несколько неуклюже, конечно, это «и от муки и сомнения легче стало» в смысле избавился от проклятых, но, с другой стороны, невозможно не отдать должного наблюдательности и проницательности автора предисловия к первому представительному собранию ранних вещей Котомкина, августейшего поэта К.Р., во всеуслышание отметившего и «бедность рифм» и «недостаточную образность» и «повторения»⁴, а про себя, между тем, еще и самое важное – главный, основополагающий мотив... И в личной уже беседе рекомендовавшего молодому автору искать столь чаемого утешения и забытия не в неверных объятиях Морфея и убаюкивающих песнях таинственного соловья, а в подлинном и достоверном историческом материале. С его бравадой, героикой и драмой. Автор «Царя Иудейского» знал, конечно, о чем говорил... Еще бы...

Но эта простая ремесленная, здоровая прагматика чуть было не сгубила человека бесконечно

¹ Котомкин А.Е. Сборник стихотворений (1900–1909). Со вступительной статьей К.Р. СПб.: Артистическое заведение т-ва А. Ф. Маркс, 1910. С. 50 (далее К1910).

² К1910, с. 51.

³ К1910, с. 47.

⁴ К1910, с. II.

далекого от всех и всяческих раскладов и расчетов, непосредственного, как воды Волги и Кокшаги. Лет тридцать Александр Ефимович Котомкин искал своего ангела, путеводную звезду не там, где надо. То составлял целые сборники кантат в честь самого К.Р.¹, то погружался в эстонский эпос², то в Яне Гусе³, гордом чужеземном проповеднике, видел спасительный утес, твердую почву, среди страшных и ненадежных волн повседневности... Но скромная техника, при отключении души и сердца – вечных и неизбежных источников тоски и боли, давала, при всем гражданском пафосе и остроте той или иной темы, за годом год по большей части строки, годные, ну, разве только на сырье какого-нибудь злему, пощады не знающему Николаю Макаровичу Олейникову:

*Твоими темными лесами,
Как милой девы волосами
Он любовался...⁴*

...

*Чуть открывал ее наряд
Грудей упругих виноград⁵.*

И даже редкие лирические мгновения, уход от шума времени, истории, слишком уж прилизившейся к поэту, с ее бравадой, героикой и драмой, с ежедневными и ежеминутными, не меченосцами и Гусом, а Троцким (конечно же, Бронштейном, а как же), Семеновым и Каппелем, Лениным и Милюковым, воскрешения, весны и счастья, как прежде не сулили. Глоток того самого по определению Осипа Мандельштама «ворованного воздуха», возвращение спонтанное главного мотива, прочувствованного глубоко и естественного у сироты из Савино, – чудесное грядущее спасение, избавление от мук и горя в каком-нибудь далеком сказочном, прекрасном царстве, полном любви, мысль ныне вели лишь к смерти, к царству, увы, только и исключительно загробному...

*О, песня, песня, многострадная!
Своих лохмотьев не стыдись, –
Коль жить не даст борьба нещадная –
На крыльях к Богу поднимись...⁶*

Терапевтический эффект – важнейший внутренний эффект, оказываемый процессом стихосложения на самого составляющего связанные рифмой и ритмом столбики слов, основа, собственно, самоподдержания и постоянства этого процесса, исчез. И стоит ли удивляться, что к концу тридцатых Котомкин замолчал. Просто перестал писать стихи. Александр Ефимович сменил роль творящего свое на роль исполняющего чужое. О чем случалось уже писать⁷, но не было случая рассказать, что именно гусли, русские самогуды, («Его руки над струнами и деревянной декой кажутся парой многоопытных пауков, сплетающих и расплетающих свои щупальцы в хороводе

¹ Котомкин А. Песни, посвященные Августейшему Поэту К.Р. Его Императорскому Высочеству Великому Князю Константину Константиновичу». Киев: т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1915.

² Котомкин-Савинский А. Князь Вячко и меченосцы. Историческая поэма. Петроград: Типография т-ва А. Ф. Маркс, 1916.

³ Котомкин А.Е. Ян Гус. Историческая драма в стихах. Тюмень: Электро-типография кооперативного товарищества «Свободное слово», 1919.

⁴ Котомкин А. За Россию. Париж, 1927. С. 103 (далее К1927).

⁵ К1927, с. 59.

⁶ К1927, с. 139.

⁷ Сергей Солоух. Черное и белое // Новый мир. – 2024. – № 7.

нескончаемых знаков взаимного почтения. Почтения музыкального») вернули поэту, изверившемуся в силе и верности слова, «блажь целеполагания». Поэзию. Волшебную страну «Втапоры и Спозаранушку», прекрасную, с ее теплом и светом, что видел он когда-то, мальчиком, воочию во тьме ночной заволжской избы. То самое царство, в котором мечтал найти спасение, забвение и любовь:

*Думаю, все думаю.
Как дурак Иванушка
Ждал Жар-птицу чудную,
Вставши спозаранушка¹*

...

*Втапоры Илья почуял силы на Вселенную,
Только выпил браги чару драгоценную
Словно мощный дуб поднялся со скамьи резной...²*

«Силы на» всю ширь ее? или все же чтобы одолеть? «Вселенную» – это в любом случае не слишком ловко сказано, ну, да и дуб, вдруг вскидывающийся со скамьи, встающий, как из кадки, но разом во весь рост – это опять в копилку Николая Макаровича, но и не важно. Важна «блажь»! А она подлинная. И спасительная. Рождающая как роман «Путешествие дилетантов» Булата Шалвовича, так и книгу «Из старой Святой Руси» Александра Ефимовича. И то, и другое возвращает в прошлое. В уютную страну. Где за глухим, навеки опущенным шлагбаумом небесного ГИБДД одни лишь ели, да качели. Полная ясность. А главное никто и никогда уже не выскочит на встречу. Колес не скрутит на стоянке и лобовик не разобьет. Все зафиксировано навсегда, все неподвижно... И сожжены мосты...

В последней главе своих прощальных прозаических воспоминаний «Из старой Святой Руси» Александр Ефимович Котомкин раскрывает тайну своего первого поэтического псевдонима Котомкин-Герпулев. Под этим именем выступал автор сборника стихов 1904 года и маленькой карманной книжечки 1907 «Блаженной памяти Св. Иоанна Златоуста»³, после чего поэт стал подписываться совсем просто Котомкин, ну, а в особо торжественные дни – Котомкин-Савинский. Почему-то этот «Герпулев» не хотел даваться исследователям жизни и творчества поэта⁴. А между тем Котомкин-Герпулев, Алексей, как рассказывает другой Котомкин, Александр, – мирское имя монаха Аверкия, некогда благословившего юношу, своего дальнего родственника, следующим образом:

...мой дорогой племянник... Бог благословил тебя великим даром, поэтическим талантом... Однако твой жизненный путь будет густо усеян терниями, скорбями и испытаниями. Вижу я также на твоей голове шапку монаха-миссионера... ибо Господь Бог пошлет тебя в чужие земли, чтобы проповедовал ты русским гусяром тамошним людям имя Христово⁵.

¹ К1927, с. 121.

² К1927, с. 93.

³ Котомкин-Герпулев А. Блаженной памяти Св. Иоанна Златоуста. Казань: Братство Христа Спасителя, 1907.

⁴ «Смысл имени “Герпулев” разгадать пока не удалось» (Стариков С.В. Александр Котомкин (Савинский). Жизнь, творчество, судьба. Йошкар-Ола: ООО «Издательский дом “Сельские вести”», 2012. С. 21)

⁵ К1962, с. 60-61.

В умильной книге Александра Ефимовича к монашеству и святости пришел Аверкий, крестьянин Котомкин-Герпулев, через посты, радение и прилежное чтение священных книг. Современная «Православная энциклопедия» рассказывает историю иную, кстати, Андрея Котомкина, а не Алексея: «Растратив деньги, полученные от продажи урожая, А. не вернулся в родительский дом и в глубоком раскаянии, решив оставить мирскую жизнь, направился в свияжский в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской монастырь, где принял монашество...»

И снова встает вопрос, тот самый, что был задан в самом начале. Мошенник перед нами, плут? Ответ, конечно, нет! Человек, спящий наяву. Сделавший поэзию свою, а когда не очень-то с ее помощью получилось, то старых волжских гусяров, средством достичь блаженства на земле. Заменявшего в привычном целеполагании, бытовом, общественном, смысл на блажь. И так укрывшись, спасшись наконец. Найдя любовь. Да. Закрыв глаза, заткнувши уши и зажав нос...

И тут, самым естественным образом, на ум приходит вопрос последний... И это счастье?

Один из вариантов. Конечно. Во всяком случае, совершенно непонятно, что собирался делать наш прекрасный бард «в “Яре” хотя бы четверть часа». Скинута пальтецо швейцару на руки и снова у него принять, отдав за эту нехитрую процедуру гривенник? Но сколько людей при этом мечтало к барду присоединиться. Закрыв глаза, заткнувши уши и зажав нос... Блажь целеполагания, она такая. Заразная, хотя и лечится, увы...

Николай ПОДОСОКОРСКИЙ

ЛЮБОВЬ К ТАЙНЕ, ЖАЖДА ЧУДА

Артур Мейчен. Кошмарная строка. – Тамбов: Ex Nord Lux, 2025. – 150 с.

В тамбовском издательстве «Ex Nord Lux» впервые на русском вышла небольшая книга избранных литературных рецензий-эссе валлийского писателя-мистика Артура Мейчена (1863–1947), которые он публиковал в ведущих британских периодических изданиях с 1890-х по 1930-е годы. Всего в книге представлено пятнадцать рецензий Мейчена-критика, и все их объединяет тема потустороннего («другой стороны») в новейшей западноевропейской (в основном – британской) и американской литературах. Критические тексты автора «Великого бога Пана» и «Холма снов» мало касаются непосредственного скрупулезного разбора чужих книг, но, скорее, дают ему возможность высказаться на более широкие темы (так или иначе связанные со сверхъестественным), которые оказались затронуты в сочинениях Сэмюэла Тейлора Кольриджа, Вальтера Скотта, Джона Китса, Эдуарда Булвер-Литтона, Маргарет Олифант, Роберта Льюиса Стивенсона, Алджернона Блэквуда и др.

Во «Введении» к книге, написанном С.Т. Джоши, приводится своеобразное мейченовское кредо: «В каждом здравомыслящем человеческом сердце глубоко укоренилась любовь к тайне, жажда чуда». Последние знаменитый валлиец призывает видеть и находить в религии, искусстве и, в первую очередь, в глубокой мистической художественной литературе, которая не имеет ничего общего с новомодными течениями вроде теософии и спиритизма, являющимися, с его точки зрения, чушью, заблуждением или сознательным мошенничеством. «Тех, кто действительно изучал сокровенные тайны души и воли, кто слушал чистые голоса Платона и Беркли, рассуждающих о тайнах, –

никогда не встретить на сеансах в подворотнях, где дух Шекспира говорит дураком, где Милтон выучился американскому акценту, где все святые и почтенные, вызывающие трепет предметы Храма вываливают в сточную канаву лондонской улицы. Так же хранит себя и человек начитанный; пусть даже ни во что не веря и не заботясь о духовной истине, он простым чувством вкуса уберется от чар “медиумического транса”, сказав “не верую, ибо зловонно”» (из эссе «Наука и рассказы о привидениях»).

С той же страстью, с которой Мейчен обрушивается на современный оккультизм и различные гадательные практики, отравляющие людей вздором ради обогащения ловких фокусников-манипуляторов, он бичует и позитивистскую науку, материализм, «деловое мышление», представляющие собой другой род заблуждений и обмана: «А вот постигающий физические науки не всегда в безопасности: пропасть меж материализмом биологии и материализмом медиума закрывается довольно легко, и часто от лаборатории до [спиритического] сеанса всего пара шагов». Писателя возмущает, что в его эпоху любознательным интеллектуалам «дозволено сколь угодно глубоко изучать сознание древних людей, их верования и легенды – при условии, что они не отступят от аксиомы, гласящей, что чудес не бывает, ничего сверхъестественного не существует и никогда не существовало». Хотя с его точки зрения, честные религиозные мыслители с каждым днем «все больше убеждаются, насколько абсурдно называть что-то невозможным».

В эссе «Парадокс литературы» Мейчен заявляет, что «самые выдающиеся книжные шедевры создаются бессознательно», ибо «литература глубоко иррациональна». А потому нет ничего глупее для писателя, чем упорно «штудировать» специальные труды по определенной теме перед написанием романа. Искусство, с его точки зрения, это «таинственный язык человеческой души», а потому от него бессмысленно требовать идеальной точности, понятной всем и

каждому, «поскольку высшее не может быть полностью выражено средствами низшего». Цель художника – не в том, чтобы фиксировать «реальность», но в том, чтобы открывать и пересоздавать ее. В эссе «Реализм и символ» читаем: «Неизмеримая пропасть разделяет пейзаж Тёрнера и наилучшую фотографию той же самой местности. Даже не учитывая того, что Тёрнер намеренно вносил изменения в то, что видел перед собой, относясь к горам и озерам, деревьям и соборам так же, как хороший режиссер относится к актерскому составу, можно видеть, что картина получила то самое посвящение, о котором говорил Вордсворт: природное было впитано сверхъестественным; холмы и ручьи были вознесены к вершине славы, павший мир воскрешен из мертвых. То, что в природном порядке было массами земли, воды, зеленым растительности, на холсте художника пресуществилось в таинство и символ. Отсюда следует, что всё великое искусство глубоко “реалистично”».

Подлинный реализм Мейчен понимает как умение чувствовать тайну мира, взаимодействовать с ней и передавать при помощи символов глубинный опыт человечества другим. В этом смысле образцом реализма для него является сборник средневековых сказок «Тысяча и одна ночь», в то время как большая часть современной литературы, формально относимой многими к «реалистической», на самом деле до крайности нереалистична и часто пугает ужасное и трагическое с отвратительным. «Вселенная и искусство сотканы из невероятностей», утверждает он.

В эссе «Звери Божьи» содержится призыв превратить «уродливую материю» в «высокую мелодию», преобразовать временное в вечное, взять мир и сделать его искусством для «вечной красоты и невыразимой радости небес». По убеждению Мейчена (и здесь он близок Достоевскому), «во всем преходящем и смертном неявно присутствует и бессмертное: рай уже доступен нам и в холодном колодце, и в глотке вина (веселящем сердце человеческое), в хлебе, в мясе, в пламени костра, и в пламени солнца. Весь мир, что мы чувствуем вокруг себя – волшебен, в нем нет ничего дьявольского. То есть ничего пошлого, банального или нечистого. В большой кружке

доброго эля найдутся таинства, если знать, как их различать».

К существенным недостаткам этого издания можно отнести полное отсутствие в нем даже самого минимального справочного аппарата – к примеру, нет указаний на то, с каких конкретно публикаций делались переводы, и даже не раскрыто имя переводчика. В целом книга больше похожа на «самиздат» (в ней отсутствует ISBN, не указан тираж и проч.), поэтому проверка точности переведенных текстов в сравнении их с оригиналами – отдельная насущная задача.

Подытоживая, отмечу еще несколько теоретических принципов Мейчена, заявленных им в рецензиях, включенных в данный сборник. На примере творчества Эдгара Аллана По он указывает на то, что «цель поэзии – творить красоту и, следовательно, переживать восторг в этой красоте», а «литература должна уподобиться заклинанию», то есть «она должна подняться в мир, не подлежащий никакому определению логикой, необъяснимый разумом и здравым смыслом, по той простой причине, что все это он превосходит; тамошний язык принадлежит не этой земле; в конце концов, этот язык говорит смертному о бессмертной и неизреченной красоте». К счастью, сам Мейчен – отнюдь не просто критик, указывающий другим, как *надо* писать; в своих художественных произведениях он успешно воплотил все эти принципы как писатель, исследующий проявления духа в материальном мире.

Михаил БЕШИМОВ

В СВЕТЕ АБСОЛЮТНОГО ДРУГОГО

Анна Горенко. Королевская шукура шмеля. Избранные стихи и проза. – М.: Выргород, 2026. – 180 с. – (Поэты антологии «Уйти. Остаться. Жить»).

В конце декабря прошлого года Борис Кутенков и его команда преподнесли литературному сообществу удивительный подарок – pdf новой книги Анны Горенко –

поэтессы, чьё имя и чей житнетворческий миф, насколько понимаю, были неотъемлемой частью поля литературы в 2000-е годы, однако сейчас, по определению Бориса, «стали подзабываться»¹ (я и сам, признаться, до выхода книги слышал о Горенко лишь мельком, и то мне потребовалось немало усилий, чтобы понять, что речь идёт не об Ахматовой, а о неизвестной мне поэтессе, ушедшей в 1990-е).

Причина подобного «подзабывания» (при том, что о Горенко написано много, пожалуй, даже поразительно много!) мне видится в том, что критики по большей части концентрировались на деталях, предельно сужающих горизонт ожидания, выстраивающийся у потенциального читателя: поэтесса не русская, но израильская, в диаспоре, но держится особняком, маргинальность и промискуитет, «рок-н-рол от мира поэзии», умерла молодой («клуб 27») и т.д. Как результат, за Горенко закрепился образ «кометы с длинным хвостом», сверкнувшей и быстро исчезнувшей с литературного небосвода, оставив о себе лишь память и некоторое количество гениальных текстов – а на таком далеко не уедешь.

Попытки же определить место Горенко в русской поэтической традиции если и предпринимались, то скорее по касательной, в качестве некоторой добавленной стоимости к описанию биографических перипетий или детального анализа поэтики (довольно интересной, но не выглядящей так уж ново в 2026 году). Я имею в виду не просто указание на то, какие поэты вдохновляли Горенко (даже мало-мальски подкованный читатель с первых стихов услышит интонации Мандельштама и Анненского), и также не то, с какими поэтами Горенко предпочитала проводить своё время (вопросы «круга», «тусовки» и пр.), но определение специфического отношения поэтессы с миром, со стихами, традицией, с самой собой. Ведь вряд ли со мной будут

спорить, если я скажу, что где-то с конца 1970-х гг., когда модернистская поэзия ленинградцев столкнулась с беспощадной деконструкцией крупных дискурсов (в том числе и модернистского) концептуалистами, что-то в русской поэзии надломилось. Прежний тип новации (через подрыв традиции или через чуткое следование ей) стал если не невозможен, то проблематичен. Недаром книга Горенко открывается манифестарным:

просыпайся умерли ночью поэты все-все
в подвале больницы они занимают
три полки большие

одни опухли ужасно,
усохли другие
а один так воняет санитары и те
намекают друг другу на это

одевайся посмотрим
только приговых тех шестнадцать
айги ещё не считали
их вставные зубы раздали
слепым детишкам
для еврейского карнавала... (с. 34)

Формирование поэтической идентичности Горенко как раз происходило в 1988–1989 гг. в поле неофициальной культуры Ленинграда, где и когда концептуалисты были усвоены достаточно, чтобы у них появились многочисленные эпигоны, а те, кто прежде уверенно стоял на принципах высокого модернизма, либо начали адаптировать собственную поэтику под новые реалии (как, например, Виктор Кривулин, сделавший шаг в сторону постмодернизма), либо в смятении замолкали (как Пётр Чейгин, вернувшийся лишь в начале нулевых, или Борис Куприянов, ушедший в религию). Тем же, кто только начинал писать и входить в литературу, чтобы не стать эпигоном или живым анахронизмом, было экзистенциально важно избрости не только и не столько поэтику, сколько индивидуальное понимание того, что из себя представляет поэзия и каково место поэта в этом мире. Требовалось оправдание и переизобретение модернистской поэзии, которая была (как показали концептуалисты) беззастенчиво нарциссична, эгоцентрична

¹ Общалась с мёртвыми, мечтала бросить есть. Анна Горенко – последний «проклятый поэт» из «клуба 27». Беседовал Егор Спесивцев // Сноб, 20 января 2026; <https://snob.ru/literature/obshchalas-s-mertvymi-mechtala-brosit-est-anna-gorenko-poslednii-proklyatiyi-poet-iz-kluba-27/>

и косна. Именно эти «грехи», как видится, Горенко и пыталась изжить собственной жизнью и творчеством. Мы же попробуем наметить траектории этого «изживания».

Во-первых, как справедливо отмечает Илья Кукулин, в поэтической стратегии Горенко происходит «инверсия мифа, при которой повествование ведется от лица не субъекта-сказителя, а объекта, о котором он по всем внешним признакам должен был бы говорить»¹. Однако поэтесса не просто пытается преодолеть эгоцентризм и нарциссизм поэтической традиции путём наделяния голосом того, кто онтологически этим голосом обделён (как, например, у Анненского в стихотворении «Я на дне, я печальный обломок» точка зрения принадлежит осколку статуи Андромеды, что лежит на дне одного из царскосельских фонтанов), Горенко как бы «сплавливает» собственное сознание и сознание множественных Других, которые не хотят быть объектами (то есть теми, о ком говорит властный идеолог-поэт) и экстатически рвутся в запредельное – в субъектность или смерть.

Здесь можно в качестве примера привести завораживающее двустишие: «день светится и листья // на землю падая, кричат», можно также вспомнить образ умирающей Валипионерки (из стихотворения Эдуарда Багрицкого), с которой готова отождествить себя Горенко, чтобы освободить Валу от романтического пафоса и роли объекта («лучше <стать> пожарником мертвым ребенком постмодернистом // только не старостой не багрицким не партизаном»), здесь и Голем, умоляющий вернуть его в состояние до того как «капля божьей лести» одушевит «крохкий каменный зародыш», всецело сливающийся с сознанием Горенко:

Где жизнь исполнена

томительной надежды

Листва сгущённой синевой съята

Верни меня туда –

Там купол крест и флюгер

Пасутся дымкой плавкого стыда

А здесь я крохкий каменный зародыш
Замытый каменным песком

Мне мир назойливый откажет не поможет
А в рыбьем горле цифра с коготком

...

Во рту сухая капля божьей лести,
сама с собой на каменных руках:
На пражских улицах лукавое еврейство
Меня видало в адских детских снах,
где жизнь исполнена

томительной надежды

лыжня небес блестит передо мной.

Верни меня и преданно и нежно держать
дитя над мёртвою толпой. (с. 93–94)

Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, плавно вытекает из первого. Стремление «сплавить» собственную субъектность с «объектностями» многочисленных Других закономерно приводит Анну Горенко к постоянному «выходу из себя», взгляду на себя со стороны, и, как следствие, к проблематизации собственного тела, которое обособливается от точки зрения поэта. Об этой особенности хорошо пишет Денис Соловьёв в эссе «Тело Анны как некое нерусское авангарда»². Он подчёркивает, что для Горенко была значима концепция Я-Другого Сартра (то есть понимание Другого как постоянно находимой вовне точки зрения, которая «объективирует» носителя этой точки зрения и размывает границу между внутрителесным и внешнеабстрактным взглядом). При этом подобная концепция, «будучи воспринята <Горенко> безобиняково доверчиво и глумливо-последовательно, делает задачу разграничения Я и не-Я, то есть определения того, что во мне не является моим Я, практически неразрешимой <и> эффектно ведёт к восприятию своего реального тела как неживого-чужого»:

Тело за мной ходило тело

Ело маковый мёд

А теперь довольно, мне надоело

Я во власти других забот... (с. 62)

¹ Цит. по: <http://www.litkarta.ru/studio/orientir/gorenko/>

² Соловьёв Д. Тело Анны как некое нерусское авангарда // Топос, 15 августа, 2003. Цит. по: <http://www.litkarta.ru/dossier/soloviev-o-gorenko/>

Однако если опять же просто отстранённый взгляд на собственное тело не нов для русской поэзии (прецедентно здесь знаменитое «Перед зеркалом» Ходасевича: «Я, я, я! Что за дикое слово! // Неужели вон тот – это я? // Разве мама любила такого, // Желто-серого, полуседого // И всезнающего, как змея?»), то интерес вызывает следствие этой отстранённости в поэзии Анны Горенко. Поэтесса чувствует собственное тело как объект. При этом, как уже было сказано ранее, она видит своей внутренней потребностью преодоление пафоса и эгоцентризма русскоязычной поэтической традиции через «сплавление» собственной поэтической идентичности с объектами, которые являются объектами против своей воли. И с собственным телом она также вступает в специфические отношения, видя его как объект, который существует как таковой вопреки своей воле и который никогда не в состоянии достичь полноты бытия, соединившись со зрением (личностью) поэта. Отсюда чуть ли не этически обусловленная тяга Горенко к трансгрессивности в батаевском ключе. Нужно либо достичь мистико-экстатического состояния, в котором телесное неотрывно сольётся с сознанием, где граница между внешним и внутренним будет принципиально устранена, либо нужно позволить телу перестать быть объектом фактически:

взяв маникюрные ножнички отрежу
себе руки и ноги
не сомневаясь
о последней руке колючки
маленьких ножничек во рту
немного гибкой этакой
гуттаперчевой усидчивости
одолею и эту – разве остаток если
назвать культя выйдет

неодинаково длинен. (с. 74)

В этом стихотворении субъект лирического высказывания последовательно отсекает/отсекает от себя все части «объективного» тела, так что в конце, как отмечает Ольга Аникина во вступительной статье к «Королевской шкуре шмеля», «объективного» тела не

остаётся, зато остаётся «субъективный» взгляд поэта, обладающий при этом голосом (по всей видимости, умозрительным). Но Горенко на этом не останавливается, и мы подходим к третьему «маячку», на который стоит обратить внимание читателю.

Удивительным образом вслед за «отсечением» телесного для героини всё-таки следует «миг торжества», миг удавшейся трансгрессии, выхода в заграничное. И этот миг находит себя в *сочувствии* – в точке «признания» Другим её, героини, субъектности:

Как вдруг ты застеснялся и спросил –
а что, тебе совсем-совсем не больно?
Ура! Миг торжества! Где мой ответ?

Мои ответы, о, который?
Нет! Но вопросом на вопрос –
давно спросить хотелось, к месту, а?
Что?! А тебе – не больно? (с. 75)

Объективное телесное (боль) сливается с субъектностью говорящей в вопросе о том, что она чувствует. Однако кто задаёт вопрос? Мы сказали «Другой», но если до этого речь шла о множественных других, к слиянию с которыми стремится Горенко, то здесь видится нечто иное. Это Другой Абсолютный (Бог, возлюбленный, вечность), под чьим взором всегда существует высказывание поэтессы. Он, как и положено Абсолютному Другому, совершенно безразличен к ней, живущей в качестве объекта в его сиянии:

мне снишься ты в дожде и стуже
в ознобе в бедности и хуже
но всякий раз в густом покое
когда ни словом ни рукою
ни силой воли ни досадой
ответного не вырвать взгляда (с. 42)

И потому момент сочувствия, вопроса «а тебе не больно?» со стороны Абсолютного Другого выводит героиню Горенко за границы – как внутренние (граница между объективным телом и субъективным сознанием), так и внешние (граница между говорящей-объектом и сиянием абсолютной субъективности). В этом ключе по-новому раскрывается

внимание Горенко ко множественным другим-объектам в стихах. Она не просто хочет их освободить от положения немых объектов поэтического высказывания. Она буквально видит в них себя и мыслит своё место в мире как объекта, который пытается подорвать границы собственной объективности. И в этом, пожалуй, то новое и значимое, что делает Горенко своей поэзией, и вот почему её важно не забывать.

Именно в свете этого понимания себя в мире следует, как мне кажется, рассматривать жизнетворческий проект поэтессы. Все эксперименты с собственной телесностью, изменёнными состояниями сознания, все её экстазы и мистические откровения окрашиваются в трагические тона борьбы объекта-поэта за право на голос и на признание со стороны Абсолютного Другого, чьего «ответного не вырвать взгляда». Поэзия же становится для Горенко высшей точкой напряжения в борьбе за этот «взгляд».

Как и безмолвные «другие» из множества стихотворений Горенко, она не выбирала быть объектом в свете Абсолютного Другого, не выбирала также и быть поэтом (что, в сущности, одно, потому как связано с обострённым чувством границ). Но она пошла по пути сопротивления и всю жизнь посвятила борьбе за обретение онтологической субъектности. А вот восхищение или сочувствие (памятуя о трагически скорой кончине поэтессы) испытывать нам, кто сейчас, при издании новой книги Горенко, узнал или вспомнил о её стихах, – вопрос, выходящий за границы (простите уж случайный каламбур) того, о чём я намеревался сказать.

Алексей МОШКОВ

КАК МАРГАРИТА СТАНОВИТСЯ МА-СТЕРОМ, ОСТАВАЯСЬ МАРГАРИТОЙ

Дана Курская. Путеводитель по краю, или Как стать ведьмой, чтобы родные не вызвали санитаров: нон-фикшн. – М.: Стеклограф, 2025. – 228 с.

Нет, заход на территорию прозы в случае Даны Курской, известного поэта и

культуртрегера, не удивляет (в последние лет десять обращение поэтов к прозаическому жанру носит какой-то чуть ли не повальный характер, приобретая контуры культурной тенденции, что, пожалуй, можно считать либо свидетельством упадка интереса к поэтическому жанру, снижению его востребованности, либо упадка духа среди представителей «поэтического цеха», сродни инфекции или даже эпидемии, ибо, как писал Владимир Гандельсман в своём романе-поэме «От фонаря», «прозу можно начать только от безысходности»), как и обращение – по авторскому определению – к нон-фикшену (хотя всё же тут стоит говорить об автофикшене, легитимированном в российской словесности Оксаной Васякиной, показавшей, что даже самые, казалось бы, заурядные факты повседневности могут стать фактами литературными, что, впрочем, не снимает вопроса о том, прибавляет ли это что-то самой литературе или нет). Удивляет, точнее, может удивить – по первому, то есть неотрефлексированному впечатлению – выбранная оптика, которую хорошо отражает название (в плане корреляции с текстом – Курская попадает, что называется, в «десяточку»): «Путеводитель по краю, или Как стать ведьмой, чтобы родные не вызвали санитаров».

Это действительно путеводитель: каждая глава посвящена какому-то одному аспекту магических практик: места силы, камни, работа с энергиями и проч. Тут Курская даёт довольно любопытные экскурсы в тему, не лишённые – для мистически настроенного читателя – определённой практической составляющей. Например, она отмечает, что «большинству людей почему-то становится светло и тепло на душе после посещения церкви», причём безотносительно того, верующие они или нет, поясняя, что это происходит «потому, что за много лет внутри перебивало такое количество истово верующих, приходящих поговорить с Господом о самом главном, убеждённых, что их тут слышат, их тут защитят, их тут спасут, что вне зависимости от Неба само место напитывается этой светлой энергетикой и начинает делиться ей со всеми, кто пришёл». И в самом деле, такая концепция в эзотерических

кругах имеет место (когда церковь или храм рассматриваются сугубо с утилитарной точки зрения: адепт подключается к христианскому эгрегору и набирается энергии; такой метод энергетической подпитки, в частности, используют некоторые последователи учения Гурджиева-Успенского). Но у Курской это не столько изложение некоей очередной доктрины/вариации духовного пути левой руки, сколько адаптированная под современную женщину версия – позволим тут некоторое обобщение – западной магии – без перегибов и изматывающих практик (отсюда, видимо, и пристрастие к ароматическим ваннам, призывы к интегрированию коих в свою повседневную жизнь/практику рассыпаны по всей книге).

То есть не руководство, а именно путеводитель (как – для туристов). Только не по городу, знакомящий с главными достопримечательностями, но определенной области магии (причём даже не в общепринятом смысле этого слова, но, скорее, в том, который вкладывал в него одиозный Алистер Кроули, относя к магическим действиям любое, которое есть манифестация твоей воли), не лишённый своих знаменательных «мест» (как физических, так и мета-), по которым Курская и проводит читателя, снабжая оные, места то есть, не только историческими, но и автобиографическими комментариями и лирическими отступлениями, которые и составляют внутреннюю – всё-таки, пожалуй, главную – канву текста (именно поэтому это, скорее, авто-, чем нон-фикшен). Одновременно (и, надо отдать должное, довольно убедительно) и как бы походя (то есть не акцентируя на этом внимание, что дополнительный плюс автору) утверждая свой статус «путешественника» (как минимум в том смысле, что данный «Путеводитель» написан на основе личных *путешествий* автора), тем самым расширяя контекст «Путеводителя» до полноценного автофикшена (мистического). То есть соответствия того, что было (прожитое автором), тому, что описано и зафиксировано на страницах книги.

В этом плане ключевым моментом становится фактор убедительности/достоверности.

Что придаёт тексту искомое? Тут следует отметить несколько моментов. Во-первых, то, что Курская очень тонко чувствует меру, не перегибая со своим положением в магической иерархии (раньше бы сказали «не гнёт пальцы»). Её мистический опыт сугубо индивидуален (в том смысле, что доступен не всем), но при этом не уникален, то есть это не тот опыт, который доступен лишь некоторым избранным (ангелы к ней не являлись, черти – тоже). Его, в принципе, можно примерить на себя в повседневности без каких-то бы то ни было когнитивных диссонансов (мол, это всё сказки, рассказы для особо впечатлительных натур или проблемы с головой). Иначе говоря – пережить, что отвечает критерию доступности (потенциально).

Во-вторых, это совершенно потрясающая ирония автора по отношению к себе (тут Курская строго следует учению дона Хуана сего постулатом о борьбе с чувством собственной важности как главным врагом воина на пути к познанию и совершенству), которое усиливает – расширяя область переживаемого читателем – предыдущий момент. Курская не боится показаться смешной. Вот эпизод из литинститутских времён (сдача экзамена по старославянскому языку): «Положив зачетку на стол, я читала текст вслух по слогам и кося лиловым глазом на Горшкова, который то и дело морщился от моих фонетических неточностей. Наконец дело дошло до фразы рабыни: “Спі, Господи, мы тонем!” – что означало вообще-то резонную мольбу о помощи, но поскольку мне не могло прийти в голову, что “спі” – это сокращение от “спаси”, я радостно прочитала: “Спи, Господи, мы тонем!” Вся аудитория буквально сползла под парты от смеха, а сам Горшков от моей беспросветной тупости и наглости слегка приоткрыл рот». Но и это ещё не всё: ведь ещё до сдачи экзамена, ощутив свои пробелы по предмету, бравая студентка решила идти обходным путём и выяснила, что преподаватель – футбольный фанат и вроде бы болеет за «Спартак». Читаем дальше: «Потом он пришёл в себя, поправил

очки и спросил: “Вам не стыдно вообще?” Тогда я, словно та утопающая рабыня, схватилась за последнюю соломинку и сказала шёпотом: “Стыдно, но... понимаете... я всю ночь смотрела футбол. Я... эм... болею за “Спартак”... “Вы болеете за “Спартак?” – отчего-то угрожающе спросил Александр Иванович. Я отчаянно закивала головой, мысленно крича: “Да-да, за “Спартак”, за родимый, за кого же ещё, поставьте мне “уд”, Господи, мы тонем!” “Поздравляю, – зловеще молвил Горшков, – а я болею за “Динамо””». Но для самой студентки всё закончилось вполне благоприятно: желанную «тройку» она всё же получила (ну кто не сталкивался в свои студенческие времена с чем-то подобным?). (Небольшое лирическое отступление: «Спи, Господи, мы тонем!» – фраза совершенно гениальная. Как отмечал Гандельсман в уже упоминаемом «От фонаря», «первая строка – это безошибочная обмолвка. Сказал не то, что хотел, а что сказало. А дальше – держи обмолвку в непогрешимости на всей дистанции стихотворения». Использовала ли Курская где-то эту находку?)

Более того: автор не просто смеётся над собой, но залихватски хохочет даже там, где любой другой что-то бы смягчил, а то и вовсе упустил (но при этом оставаясь в гибких, но от этого не менее жёстких рамках комического, не переходя их, не перепрыгивая в откровенный эксгибиционизм в духе Мишеля Лейриса). Что касается, например, поездки в Сочи, для которой протагонистка/alter-ego самой Курской подготовилась тщательно, купив купальник, представляющий «собой верх совершенства индустрии одежды для толстых: черный кружевной, с шортиками и юбочкой, интригующе прикрывающей целлюлитные бедра, и рукавичками, закрывающими пухлые ручонки аж до локтя. Для покорения мужских сердец предназначался именно он». «Я даже несколько раз порепетировала перед зеркалом, небрежно теребя кружавчики и томно говоря: “Привеет... А водичка холодная?..”», – уточняет она. И тут уже очевидно, что дальше произошёл конфуз: «И вот сорок минут назад я в черном кружевном танкини окунулась в воды бассейна и сразу поняла, что что-то пошло не так. А именно – подлый купальник

был рассчитан на что угодно, кроме плавания. Помните знаменитую сцену, где Мэрилин Монро стоит на вентиляционной решетке, а её юбку раздувает ветер? Нечто подобное теперь происходило под водой, только я, конечно, нифига не была как Мэрилин Монро. Иными словами, то, что должно было игриво колыхаться, теперь надулось, как парашют, а в центре этого парашюта в ужасе колыхалась я сама, потому что оно при этом еще и задралось по самое не балуйся». А далее не менее юмористично: писательница описывает, как все бросились её спасать, и как она с трудом отбилась от неожиданно появившихся благодетелей.

И, в-третьих, это обилие реальных людей на страницах её книги (причём Курская, видимо, для усиления эффекта реалистичности даже не меняет имена и фамилии второстепенных «персонажей», среди которых попадаются и весьма именитые поэты), и следование жизненной канве (правда, во фрагментарной и с пробелами форме, как бы говорящей, что реализм реализмом, а от постмодернизма ты уже никуда не скроешься) самой писательницы (Челябинск, переезд в Москву, учёба в Литинституте и так далее). И, что важно, с упором на личную драму: смерть родителей, которую она переживает мучительно и напряжённо, но, в конечном счёте, справляется с этой утратой (и такое чувство, что с этим ей как раз ей помогает писание книги, позволяя осмыслить и проговорить, точно на сессии у психолога). И это – ибо мало кто, пересекши рубеж 35–40 лет, смог избежать такого скорбного опыта – делает книгу и саму писательницу буквально ошутимой, как – подруга(-наставница?) (книга, думается, в большей степени всё-таки рассчитана на женскую аудиторию).

То есть через биографию Курская как бы очень прозрачно намекает на то, что и та часть, которая выходит за сферу обыденного и повседневного, для самой Курской является её неотъемлемой частью (в частности, мистические переживания), подтверждая её статус «ведьмы» (принадлежность к коим, впрочем, заявляется уже в первом предложении книги: «...Когда меня спрашивают, как всё началось и откуда

берутся такие, как я...»). А вот это, в свою очередь, уже даёт возможность посмотреть на непосредственно поэтическое творчество автора (а Курская – не будем забывать – прежде всего поэт) с другого ракурса – мистического или, если угодно – метафизического, при взгляде с которого ее поэтический корпус можно интерпретировать уже как фиксацию трансцендентного опыта (как, вероятно, и сам акт писания) – в духе «Озарений» и «Сезона в аду» незабвенного Рэмбо или стихов Бориса Поплавского (на этот счёт в «Путеводителе» имеется подсказка: Курская подробно излагает предысторию стихотворения «Здесь ничего не останется. Только камни», имеющую мистическую подоплёку).

Но при этом Курская не замахивается на образ «проклятого поэта», не мимикрирует под оный абсолютно никак (что снова отсылает к подлинности: не представляться тем, кем не являешься), но реализует совершенно иной тип. Тип ведьмы – не в готическом понимании (служение Дьяволу и проч.), и не в его перевёрнутой версии, когда ведьма представляется некой доброй феей, отвергнутой обществом (допустим, из-за страха перед её силой), но тип ведьмы современной, сложившийся или, точнее говоря, складывающийся из поздних переосмыслений этого образа (например, у Булгакова, который, кстати, упоминается в «Путеводителе») и трансформации образа женщины как таковой, диктуемой логикой позднего капитализма (несостоятельностью патриархальной структуры в эпоху постиндустриального общества, процессами эмансипации и т.д.). Но самая соль в том, что до этого данный тип современной ведьмы не реализовывался, как правило, применительно к женщине-творцу (то есть сферой её творчества была сугубо область мистического или того, что так или иначе можно было классифицировать как ведьмовское: соблазн, манипуляция и т.п.). Творчество всегда было мужской прерогативой (вспомним того же «Мастера и Маргариту» или новую версию «фаустовского мифа» – «Льва и Корицу» Юрия Буйды). Здесь же наблюдается совершенно иная картина, в которой – условно – Маргарита и является Мастером, остава-

ясь при этом Маргаритой. Что можно считать крайне важной – в культурологическом плане, прежде всего – приметой (ещё только ждущей своего осмысления) современности. И «Путеводитель» – в этом смысле (и помимо всего прочего) – выступает уже в роли документа/литературного факта, в котором эта примета находит своё первое (ну либо одно из первых) выражение.

Кирилл ЯМЩИКОВ

ПОДБИРАЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Елена Долгопят. Черты лица. – М.: Городец, 2026. – 197 с.

*I used to be on an endless run
Believe in miracles 'cause I'm one
I have been blessed with the power to survive
After all these years I'm still alive*
Ramones

Киногеничность прозы Елены Долгопят можно объяснять по-разному, но хочется – самым простым и неприязнительным способом: профессией. Сценарный факультет ВГИКа, опыт прямого взаимодействия с индустрией – всё это не может не сказаться на густоте почерка, наклоне письма. Предупреждая дебютную книгу писательницы, Олег Аронсон находчиво привечал «особую интонацию, строгость, скромность и странность этой литературы»¹. Желая согласиться, объясню: первое – художественным методом, второе – природой этого метода, и третье – ловкостью синтеза, жанровой трансгрессией.

Между «Тонкими стёклами» и «Чертами лица» четверть века, и тяжкое это расстояние не прошло у Долгопят незамеченным. От грациозной игры с формулами масскульта (пишем – «вино, сигары», и просыпается мафия) писательница довольно быстро перешла к сомнамбулическому поиску

¹ Долгопят Е. О. Тонкие стёкла: Повести и рассказы / Предисл. О. Аронсона. – Екатеринбург: У-Фактория, 2001. – 368 с. (С. 3).

Настоящего Времени, которое может быть и спально-кондоминиумным, и лиминально-простудным, и, наконец, карнавальным, богемным. Пища сопредельное разное (хоть судьбу гардеробщика, хоть тихие «рассказы об одиночестве»), Долгопят всегда оставалась человеком с киноаппаратом.

О новейшем её сборнике, тех самых «Чертах лицах», поговорить стоит. Впервую очередь потому, что он странным образом дополняет авангардную палитру «Хроники забытых сновидений» (2022), делая урбан-тоску Долгопят сложнее и в то же время приближенной к читателю. Монтажные вольности на высоте – рассказы перебрасываются друг на друга, как бы не завершённые, гремят, расчлениваясь, по самым разным углам и проулкам. Тон, безусловно, задан эпиграфом к открывающей повести «Лёд»: «Это читать невозможно». Онлайн-отзыв на бессмертную драму Гёте сразу опрошает порог вхождения, выдирает из него ржавые гвозди.

Совсем рядом один из героев «Льда», проговаривающийся мимоходом, что «и дети, и взрослые предпочитают юмор, а не пафос». Авторская, стало быть, ремарка. Долгопят вбрасывает нас в действие эскизными, намеренно сценарными угловатостями: заходят, садятся, пьют, говорят. Лишнее сточено. Поздний Беккет, опалённый небывало холодным закатом, не остаётся на постоянку, а, наоборот, приводит нас к бытописанию плюс-минус привычному, у Долгопят как бы уравновешенному. Знакомые детали. Полутона. Речевая гибкость. Любовное настроение. Одиночество, которое и Сволочь, и Сука, и Мука. Композиционная частность в лице отматываемого (к сердцу, ужасу сердца) времени, хотя вершиной его становится Новый год, пора стойких магических lamentаций (вспомним ещё один пример народного стиля, одинаково близкий и кино, и литературе – «Страну ОЗ» (2015) Василия Сигарева).

«Поезд приближается, сбавляет скорость и останавливается перед Катей. Она смотрит снизу вверх на светящиеся в вагоне окна. Поезд стоит, и Катя стоит. Смотрит. Дверь вагона открывается. Проводница поднимает железную крышку, открываются ступени. Катя взбирается по ним, хватаясь за поручень.

Она проходит мимо толстой, уютной, сонной проводницы в купейный вагон. Ковровая дорожка под ногами. На окнах белейшие занавески (хочется сказать “белоснежные”, но уж больно холодное слово). Тепло. Так тепло, что хочется плакать».

О чём эта повесть? Да вообще-то о чём угодно. Витя пишет книгу, наблюдает подлинного Деда Мороза, фантазирует о возмездии (в каждом доме и подъезде), готовится к празднеству. Болтает, уговаривает, супится, любит. Препирается с тещей. Аля, Оксана, Маша. Женщины. Он без них и с ними. Сутолока большого города. Бывший Макдональдс. Руины и каверны. Кружевная, салфеткой на телепузике, метафизика, свет далёкий, космический («Витя шагнул мимо закрытых дверей. Был ли кто-то за ними? Тихо, тихо»). Настойчивое сценарное тпру-тпру.

А вот, например, следующий рассказ, «Место действия». Дмитроданиловская блажь пространства, описания его, наблюдения («Ночь. Скучный свет фонарей. Ход удаляющегося или приближающегося поезда»). Авторский голос, преподнесённый ретардацией. Вкрадчивые такие соседские постукивания (поздно, мол, имейте совесть). Обязательный кинематографический врыв – на этот раз тореадорским духом Бунюэля. Трудности перевода. Встречи случайные, непреднамеренные. Un homme et une femme. Лично мне рисуется любой фильм Хон Сансу.

Вещь, пожалуй, очень для Долгопят характерная. Строгость, скромность, странность тасуются в ней податливой анаграммой. Случай из жизни, бытовой эскиз обрастает жанровым мясом, шипит бобиной. Нам становится интересно без фантдопущений и перекрёстных ссылок. Олег Петрович встречает незнакомку, что завладевает его вниманием. Вот и весь пересказ. Характерный, практически шаблонный конфликт. Отсюда – горечь, тьма, наплывающие ассоциации. Незнакомка оказывается самоубийцей. Не спасти. И дальше – разъяснения, смены повествовательных оптик, рубрика «Выберите персонажа».

Заканчивается всё авторской иронией: «Олег Петрович даже пытался продать этот сюжет знакомому режиссеру (бывшему

своему студенту); деньги были нужны позарез, преподавательской зарплаты едва хватало на самую скудную жизнь. Но режиссёр не заинтересовался, сказал, что слишком дорогой проект». Такая, вот, правда. Если и брать прозу Долгопят как подспорье для большого кинематографа – не кассового эрзаца, а честолюбивой, достойной себя и зрителя манеры Нового Голливуда, – то скромных бюджетов явно не хватит. «Черты лица», как и все поздние книги Долгопят, играют на тех уловках зрительного восприятия, что не особо-то и принадлежат зрению.

Так умел Дэвид Линч образца семнадцатого года. Чтобы и по-своему, и для зрителя, и вообще никак.

Подходя к третьему рассказу сборника, «Почерку», я держал в голове сравнение довольно очевидное, просящееся на зуб: Долгопят работает примерно в той же системе распознаваний, в которой работает Юрий Буйда. Всякий его роман можно разбить на автономный цикл новелл, рассказов, миниатюр и прибауток; и наоборот, всякий его рассказ запросто расширяется до внушительного эпического нарратива. По этой же логике визитная карточка Буйды, «Прусская невеста» (1998), сделавшая ему, собственно, имя, с каждым переизданием становится всё больше, дописывается и углубляется.

Рассказы Долгопят, при всём их разнообразии, послушно складываются в хроникю. Забытые сновидения здесь как раз исключение из правила (слишком туманны, самовиты, обрывисты), а вот основной корпус текстов, выходявших и выходящих, как правило, в толстожурнальной периодике, воспринимаются очередной главой из Книги, той самой, что не требует окончательного названия. Выходные данные теряются, форзац размыт, корешок изгрызен сомнениями. Это ли урбан-тоска? Определённо. Но и формула познания действительности. Настоящего Времени, которое я упомянул выше.

«Восторг рисунки ни у кого не вызывали, мне говорили, что все изображённые мной лица какие-то мрачные. Или грустные. Или печальные. А мой сосед по парте Гриша сказал: они у тебя все больные. Я не обиделась, да он и не хотел меня обижать, сказал прямо,

что думает. Мы с Гришкой пять лет просидели за одной партой и прекрасно ладили. После восьмого класса он ушёл в ПТУ, я проучилась ещё два года и уехала в далёкую Москву».

Заглавный рассказ, «Черты лица», дивен ровно этой дикостью: не держась за жанр, какую-либо надуманную конструкцию, Долгопят пишет себя и остальных. С заскоками в кинематограф, разъезды, мгновенно узнаваемые (и подтверждаемые) детали абсолюта, что не теряет в цене даже спустя несколько очевидно разномастных эпох. Станный баланс: это очень интимные и вместе с тем общие тексты, истории, которые могла написать только Долгопят и которые при этом мог написать кто угодно. Так пейзаж, знакомый до зевоты, мгновенно остранивается игрой света и тени, преломляется одним единственным ненужным прохожим.

Мистика.

Рассказ-заглавие вплотную подходит к «Хронике забытых сновидений», об ассоциативных достоинствах которой не хочется замолкать. Снова погружаемся в мифопоэтику, клички и кавычки, берясь за «Царя-льва», «Брата» (почти «маленькая повесть»!), листаем, как сказал некогда Бруно Шульц, огромную книгу каникул, и верим нечаянным исповедям. Малые пространства Долгопят удачны, даже если растянуты или взболтаны до сюрреальной ветрянки. Идём дальше, спотыкаясь, и встречаем удачнейшие, а потому итоговые тексты: сперва «Несентиментальный рождественский рассказ», затем – «Слова».

Сюжет о скучающем празднующем мечтающем русском мужчине Лёше, что неожиданно-негаданно обретает у себя под носом крошечную (буквально) женщину, тут же засыпает сусальным золотом Леонида Андреева, трогательных «Кусяки» и «Ангелочка». В лесах рождественские ёлки, а ещё игрушечные волки, и глазами, обязательно, страшными глядят. Считываемые тропы. Долгопят виртуозно оперирует механизмами рождественского, святочного, чудесного, а потому её текст не удивляет. Слишком уж хорошо сделан. Чересчур гладок.

Другое дело – «Рассказы на ладони». Вот там Долгопят безоговорочно лиха. Вспышки фотоаппарата: раз милость, два презрение, три

экзистенция, и всё рифмуется, движется, плывёт, глотая пузыри, выплавляя иллюминацию. Этакий примордиальный стихийный расклад. Литературой становится всё, что интересно – в данную секунду – писательнице, человеку над буквами, человеку с киноаппаратом, по-прежнему и навсегда. От того, что «Илья измучился в общежитии», мы сдвигаемся к ещё более простому зачину, перистой конкретике документа: «двадцать второго июня 2024 года мы поехали в Муром». Дальше идут перечисления. Дальше идут буквы.

«Черты лица» Елены Долгопят определимы; это не ложный Одиссей и не чёрная метка на сердце беглеца. Рассказы стоической вежливости, античной зимы побеждают инерцию, преодолевают робость сюжетных, типологических формуляров. Этим довольно промежуточным сборником хочется насыщаться повторно, благо силы внутри достаточно. Последние три года живого, пламенного и всё подмечающего стиля – который, как и у Дмитрия Данилова, умеет в поэтическую безыскусность, спокойно живёт себе и определяет фронт, уголок, окраину, с которой видны повторяющиеся неписи и зыбкий Город-на-Горхоне.

Само себе развлечение.

«Постоял, посмотрел на мост. Он не представлял, куда идти. Налево, направо, на мост? Куда ни пойдёшь, себя не найдёшь».

Леонид ОЖИГОВ

СТАТЬ ПТИЦЕЙ, СНЕГОМ ИЛИ ДЕРЕВОМ

Надя Делаланд. Фигуры и тропы. Стихи – М.: Делаландия; Литература, 2025. – 104 с.

Стихи Нади Делаланд, как часто отмечают критики, отличаются суггестивностью, ассоциативностью: образы, едва ли ставшие бы в один ряд вне поэтического текста, образуют здесь неожиданную гармонию дополнительных смыслов. Так передаётся непокорное логике движение самой поэтической мысли, поток сознания лирического субъекта.

Важно, что эта суггестивность выражается не только в странном соседстве художественных образов, которое после целого ряда суггестивных текстов русской поэзии не кажется чем-то принципиально новым, но и в уникальном грамматическом строе стихов, выраженном эллиптической неполнотой и недосказанностью или интересными окказиональными оборотами. Мы видим это уже в одном из первых стихотворений сборника «Со скоростью тьмы, пульсирующей в деревьях...», которое встречает нас намеренной речевой ошибкой: «сад засыпает в обморок голосов». Эти «ошибки» дальше только множатся («Чашка моя прозрачная из отсюда / там почему-то» или «Это все объясняет, а та – / та атама») и задают настроение детской игры, в которой лирический субъект, примеряя маску ребёнка, всё время обрывает, казалось бы, ключевую мысль.

Отражение этой недосказанности мы находим и в других текстах, например, в стихотворении «в свете старости и смерти», которое, в отличие от предыдущего нашего примера, обрывается даже без игривой развязки:

если вдруг остановиться
сесть на землю или лечь
в вышине зависнет птица
и прервётся эта

Конечно, все эти «ошибки» совершенно не случайны. В частности, в этом стихотворении иронично обыгрывается остановка речи, зависание на полуслове – это композиционная черта приёма. Но содержание этого приёма гораздо глубже: на самом деле наше внимание привлекает даже не ирония, а смысловая законченность при этой недосказанности. Текст обрывается не для того, чтобы сбить читателя с выверенного ритма, а потому, что бежит избыточности. Уже сказано всё, что нужно, поэтому нам вместе с лирическим субъектом хочется остановиться и насладиться молчанием в отсутствие завершающего слова, насладиться прекрасным мгновением тишины.

Эти окказиональности составляют композиционную основу сборника Делаланд.

Разбирать их можно долго – примеры найдутся. Однако воспринимать эти стихи, как нам кажется, следует не логически, а скорее на чувственном уровне, поэтому мы остановимся только на нескольких примерах для того, чтобы уловить игривое настроение её стихов. Наш основной вопрос: откуда берётся эта детская игривость?

Обратимся к одному из ключевых, по нашему мнению, текстов сборника:

всё никак не потеряю девственность
все простые способы не действуют
замуж вышла нарожала мальчиков
но осталась почему-то маленькой
девочкой голубоглазой дурочкой
всё иду иду иду за дудочкой
крысолов смеющийся и плачущий
тоже оказался просто мальчиком
старым мальчиком со старой девочкой
мы идем и ничего не делаем
отличаем только в этой музыке
свой восторг от собственного ужаса

Этот текст кажется нам ключевым, потому что лирический субъект говорит здесь не только о себе. Мы видим здесь мир без взрослых, мир *«старых мальчиков»* и *«старых девочек»*, в котором нет никакого понятного ориентира, кроме музыки гамельнского крысолова (как известно, ведущего детей на смерть). Примечательно, что понятный ориентир отсутствует и для самого проводника, *«смеющегося и плачущего»*, в состоянии между восторгом и ужасом, который *«тоже оказался просто мальчиком»*, так что описанная картина становится похожа на шествие слепых.

Тема человеческой «маленькости», оставленности, нереализованного взросления становится центральной в этом сборнике Делаланд. Она раскрывается дальше в стихотворениях *«Я приняла решение стареть...»*, *«мама все хорошо я отлично ем...»*, *«когда я стану старенькой старушечкой...»* (с продолжением: *«не как сейчас старушкой молодой»*) и многих других. В них лирический субъект представляется либо маленькой девочкой, либо маленькой старушкой (два полярных состояния) для отображения собственной беспомощности в мире.

Однако катастрофы нет. Маленький, беззащитный голос, рассказывая об ужасе человеческого бытия, продолжает с нами играть в лексических повторях (*«всё иду иду иду»*), в словах с уменьшительно-ласкательными суффиксами (*«дурочка»*, *«дудочка»*), в оксюморонах (*«старушка молодая»*), в забавных перечислениях (*«ползать еле-еле, носить платочек, прикупить рейтуз, еще такую сумку на колесах, солить капусту и мочить арбуз»*), в шутках над своей физиологией (*«всё никак не потеряю девственность»*, *«ты ввергни меня в страшную деменцию»*, *«и сделала себе гиалуронку»*) – и нам уже не так страшно. Говорил бы об одиночестве человека во вселенной лирический субъект, ставящий себя в позицию взрослого, конечно, читатель ужаснулся бы. Вспомним хотя бы апокалиптические, «ледяные» стихи Георгия Иванова:

Счастья нет, и мы не дети.
Вот и надо выбирать –
Или жить, как все на свете,
Или умирать.

Но лирический субъект Делаланд на это стоически отвечает: *«я умираю я знаю и в порядке»*.

Именно поэтому тема «маленькости» человека может иметь и гармоничное развитие, как, например, в стихотворении *«он пахнет одиночеством и снегом...»*:

мы старые нам где-то сто пятнадцать
а здесь нам может быть лет десять на двоих
нам ничего не нужно друг от друга
прикосновения и неприкосновенность

Совершенно неважно, насколько мал человек, когда он может играть, шутить и любить. И эта гармония в детской непосредственности, в отрешённости, в *«прикосновениях и неприкосновенности»* становится принципиально важным человеческим чувством, сохраняющим любовь к самой жизни.

Приведем еще одно программное стихотворение Делаланд:

я человек я женщина я птица
 я не умею взять и прекратиться
 я буду длиться
 сквозь меня идет
 столб световой в сияющих пылинках
 он вьется поднимается поет
 как дышит как не дышит как болит как
 он из земли как дерево растет
 нет я как дерево а он он как костер
 так ярко он пока не догорит
 смотри в меня всем телом говорю
 я человек я дерево я пламя
 я все что происходит между нами
 я выйди вон в считалочке дурной
 я мир иной глазок в него дверной
 я мир иной

Произведение невероятно гармонично. Лирический субъект, казалось бы, уже привыкший к своей телесной беспомощности (детской или старческой), преодолагает её и возносится до метафизических категорий. Перебирая слова, он представляется женщиной, птицей, деревом, пламенем – целым *«миром иным»*. Это растворение в мире, который на самом деле не знает различий в больших и малых величинах, дарует лирическому субъекту бесконечность.

Конечно, мы можем соотнести такое растворение в мире с предназначением поэта: при такой интерпретации мы обратили бы пристальное внимание на название сборника, *«Фигуры и тропы»* (а также на одноимённый венок сонетов, развивающий процесс растворения лирического субъекта в метафизическом), и назвали бы *«столб световой в сияющих пылинках»* пушкинским *«жалом мудрья змеи»*, печатью божественного дара. Но делать мы этого крайне не хотим, ведь это преступно упростило бы понимание произведения. Как нам кажется, оно не о поэтическом даре и не об искусстве в целом, а скорее, как и все стихи Делаланд, о тонкой природе человеческой души, ведь неумение *«взять и прекратиться»* доступно каждому, кто способен на высокое чувство.

Можно сказать, стихи Делаланд не ограничиваются привычными размышлениями о жизни и смерти, но выходят за эти темы и стараются открыть их читателю рецепт бессмертия. Мы читаем их, и нам открывается какой-то простой секрет: когда человек перерастает мысль о том, что он ничто, песчинка во Вселенной, он становится сразу всем; когда человек преодолагает свою *«маленькость»*, преодолагает саму смерть, он может стать птицей, снегом или деревом и наконец оторваться от земли.

Контакты:

Анна Сафронова (*гл. редактор, проза*): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (*зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru

Олег Рогов (*архивные публикации, критика*): rgy@mail.ru

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 6 апреля 2026 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.